

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNTENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

...до меня дошел, наконец, чудовищ-
ный смысл механизма социалисти-
ческой системы и ее партийной влас-
ти. Я поняла, до ка-
кого совершенства
доведена у нас ма-
шина идеологичес-
кой пропаганды,
как искусно обма-
ывают наш народ
и что я этому об-
ману... преданно
содействовала.



*Анастасия
Поверенная*

Россия кормила всю Европу хлебом,
а теперь покупает в Канаде. При кре-
постном праве крестьянам легче жи-
лось, чем сейчас.
Сейчас деревни
стоят пустые. Ста-
рухи и пьяные ста-
рики. Только жен-
щины, замуж не за-
кого выйти... Рабо-
тают студенты. Во-
сколько это обо-
дится фунт хлеба...



*Надежда
Мандельштам*

...Два опыта сомкнулись
в полноте.
И, кажется, слова
сейчас нашарим
вернейшие,
насущнейшие, те...

Да не сочтется эта речь
за наглость:
— Не «Городу и Миру»
— ей о ней,
стране моей, сказал я
с глазу на глаз
ей-ей же правду...



Издали видней.
И ежели я не увижу
боле,
как говорится, до
скончания дней
картофельное в мокрых
комьях поле,
сарай, платформу
в лужах и вокзал —
ну, что ж, пускай.
Предпочитаю волю.
Умру зато —
свободным. Я сказал.
Дмитрий Бобышев

Я иду сквозь парижские толпы.
Я в стеклянном расплаве июньской
жары.



А за мною —
тяжелый и желтый,
Серый, бурый,
коричневый
Консьержери —
Этот каменный
призрак, осколок
столетий,
Мертвый, хмурый,
таинственный
Консьержери.
Юрий Иофе

С тех пор неожиданный сладкий
штиль в жизни Курочкина был нару-
шен; потные, чужие человеческие ру-
ки взялись за его
судьбу и, оторвав
ее с мясом от
Предназначеннос-
ти, стали загонять,
ломаю кости, в чу-
жое, серое, бетон-
ное ложе.
Но Курочкин еще
ничего об этом не
знал...
Михаил Моргулис



Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Наталья Горбаневская
Заведующая редакцией: Виолетта Иверни

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Энцо Беттица
Иосиф Бродский · Владимир Буковский · Ежи Гедройц
Александр Гинзбург · Пауль Гома
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Петр Григоренко · Милован Джилас · Эжен Ионеско
Артур Кестлер · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц
Михайло Михайлов · Эрнст Неизвестный · Амос Оз
Андрей Сахаров · Виктор Спарре · Странник
Юзеф Чапский · Карл-Густав Штрём
Пьер Эмманюэль

Корреспонденты «Континента»

Англия Владимир Тельников
Wladimir Telnikov, 50 The Drive Mansions,
Fulham Rd., London S.W. 6

Израиль Михаил Агурский
Michael Agoursky, P.O.B. 7433,
Jerusalem, Israel

Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
20131 Milano, Italia

США Юрий Ольховский
Yuri Olkhovsky, 3319 Ardley Court
Falls Church, Va. 22041, USA

Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

31

Издательство «Континент»
1982

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Журжин — Сон. Рассказ	7
Дмитрий Бобышев — Русские терцины	19
Евгений Козловский — Красная площадь. Повесть из цикла «Москвабургские повести». Окончание	57
СТИХИ	
Инна Лиснянская, Александр Радашкевич, Михаил Сухотин	157
Михаил Моргулис — Смерть вора. Рассказ	177
СТИХИ	
Кирилл Померанцев, Юрий Иофе, Михаил Волин	183
РОССИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ	
Анастасия Поверенная — Сойдя с трибуны. (Очерки о работе советского пропагандиста)	189
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Александр Смоляр — Парадоксы либерализации и революция в Польше	209
ЗАПАД — ВОСТОК	
Д. В. ФОККЕМА — Китайская литература после Мао. («Оттепель» в Китае и в СССР)	239
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Виктор Тростников — Увольнение	261
ИСТОКИ	
Кястутис Йокубинас — Непобежденные	295
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Василь Барка — По ту сторону бездны. (Трагическая лирика Павло Тычины)	313
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ	
Листки из альбома. Неизвестные автографы русских поэтов. Публикация Л. Черткова	335
НАША ПОЧТА	341
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	345

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Михаил Агурский — Будет ли всемирная катастрофа?	349
Василий Бетак — Апология автологии	353
Майя Муравник — Кричащая память	358
Юрий Мальцев — Загадочный курьез	361
Виолетта Иверни — Островная утопия	365
В. Богатырев — Через шестьсот лет	370
Герман Андреев — Симптомы «бурбонизма»	374

КОРОТКО О КНИГАХ	382

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	390

НАША АНКЕТА

Интервью с Надеждой Яковлевной Мандельштам. (Посмертная публикация)	393

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ» ЗА 1977—1981 гг. (№№ 11 — 30)	405

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

СОН

Серой, ватной пеленой низких облаков затягивает, заносит небо. Ее кромка — знак очередного холодного фронта — продвигается беззвучно, пожирая на своем пути полярную зарю. Только на самом севере остался нетронутым фантастически расцвеченный кусок неба с кровавым пятном, растекающимся по нежной зелени небосвода в кайме прозрачной голубизны, высвечивающей немигающими звездами.

На пирсе ХКМТС работает вторая смена стропальщиков, вернее, ее лучшая половина, ее совесть. Остальные заняты кто чем: хант Мишка, забитый и по причине неспособности держать зло против белого человека часто используемый захмелевшими стропальщиками как боксерская груша, сопит в балкэ пьяный, натужно пробулькивая перегар сквозь сопли в горле, двое предпочли работе рыбалку, браконьерство, как более доходное занятие, а четвертый, ушлый, — бабу на Бамовском поселке, который плесенью облепил северо-восточный склон холма, где на вершине, как на акрополе, вздымались высоченные заборы жилой зоны. Грузят баржу. Битый кирпич и слежавшийся, подмокший цемент в пакетах, которые трехъярусными рядами покрывают почти все пространство прилегающей к головке пирса рабочей площадки. Сегодня клиент был неважный, поэтому в ход пошли остатки спецзапаса: грузы с прошлогодней навигации, которые после восьми месяцев под снегом стыдно было называть строительными материалами. По бортам баржи уже наставили поддоны с болезненно покосившимися пакетами кирпича и бумажными мешками с цементом — словно склеенные из слипшихся, спрессованных

пельменей, они выделялись грязной белизной среди медно-бурой клетчатости штабелей кирпича. Бывший зек Коля, молодой парень с морщинистым лицом, лукавыми глазами под огромной, будто только что снятой с грузина на Преображенском рынке в Москве кепке и с золотым проблеском меж губ, привычно сказался немошным для черной, тяжелой работы, улизнул на баржу и, принимая там груз, следил за тем, чтобы ее осадка была равномерной. Сложная часть погрузки была закончена, и в промежутки меж стройными рядами поддонов (Колину гордость) осталось навалить около тысячи рулонов рубероида. Никто не знал, что случится с этими стройматериалами, годными только на свалку. Как любил повторять один местный остряк, то ли коммунизм в лагере будут строить, то ли еще один лагерь для коммунизма, да никто и не волновался об их судьбе. 800 километров, что разделяют Лабытнанги и место их назначения — поселок на реке Таз с пролетарским названием Красноселькупский на Большой Земле, сойдут за 8000, что вполне может быть и за границей, а о заграничье, как известно, думать даже и не велено. Скорее всего свалят в кучу на зиму, а в следующую навигацию, списав пришедшее в негодность, запросят вдвое — для расширения фронта работ, конечно.

Экс-зек лениво поплеывал в черноту протоки, отражавшую прожекторы на другом берегу — там под визг пилорамы работала третья лагерная смена, а остальные, взобравшись на пятиметровый конус из стаявших и слипшихся под солнцем рулонов рубероида, высившегося в углу рабочей площадки, как огромная куча окаменевшего дерьма, угрюмо копошились там, отдирая рулоны от кучи, поблескивая оттертыми добела концами ломов, глухо матерясь и хакая, наваливаясь всем телом на железо, когда проклятый кусок не поддавался. Один из них, бригадир, одетый в ржаво-зеленую выцветшую робу, был прибалтиец — лупо-

глазый, голова в белокурых слипшихся кудрях, и два года как с «химии». Другой был спившийся преподаватель строительного техникума из Саратова, прозванный за внешность и характер Цыганом своей женой — дочерью немца-военнопленного, взятого в плен в Поволжье (их много было осажено на Ямале во время и после войны), а третий — студент, что довольно точно представляло распределение жителей города Лабытнанги (семь лиственниц — по-русски) по классам в летние месяцы. Если, конечно, исключить ту половину населения города, что, временно лишенная права свободного передвижения, почти не покидала отведенного ей почетного места на акрополе, за высоким, в три человеческих роста, дощатым забором в клубах колючей проволоки по верху, исключающих всякую возможность для зевак и бездельников проводить там ленивые послеполуденные часы, лузгая семечки, болтая ногами и обсуждая последние новости с дипломатического фронта. Волнистое полотно забора прервано было лишь в одном месте на всем его протяжении — для могучих железных ворот с веселящим душу лозунгом, выписанным над его зелеными створками белыми буквами на фоне цвета крови трудящихся всего мира: «НАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫ». Всякий (тайно) недовольный мог вздохнуть (про себя) с облегчением — ПАРТИЯ сюда еще не добралась. И это было отчасти истиной. До середины пятидесятых годов, до начала освоения полуострова газовиками о Советской Власти почти никто не слышал (лагеря и военные базы, конечно, не в счет). Разве что по Голосу. И среди местного населения, живущего разведением оленей и потреблением огненной воды и все еще обсуждающего побег Керенского в Гатчину, 1 мая и 7 ноября не праздновались, не говоря уж о демонстрациях трудящихся, приветственных письмах покорителям космоса, телеграммах о перевыполнении и месте в Совете Старейшин.

Было полпервого ночи, и до конца смены оставалось полтора часа. А потому, когда кран встал — он подавал поддоны с площадки на баржу — по таинственной причине, из которых народная мудрость смогла найти рациональное объяснение только для двух: полочки и аванса; когда крановой, еще один Коля, загремел чечеткой по железным ступенькам лестницы, ведущей из прилепленной ласточкиным гнездом под стрелой кабины, вниз, никто особенно не обеспокоился. Да и крановому нужно отдохнуть, он работал по шестнадцать часов в сутки (писали двадцать, чтобы уломать Колю отработать еще одну смену, так как сменщика не было). А баржа́, баржа никуда не денется, баржу можно и завтра догрузить, больше их в навигацию все равно не будет, кроме той, уже причаленной у пирса, что для первой смены. Конечно, можно очистить железнодорожные пути от грязи, да рабочая гордость, как всегда, не позволила тратить силы на пустяки, за которые не платят. К тому же, на это есть другая смена.

Так что вся бригада присоединилась к хитроглазому кубанцу, развалившемуся в желтизне прожекторного света на пустой барже, на тюках с паклей, которые кто-то забыл убрать с заржавленной, покрытой слоем щебня, перемешанного с битым стеклом, палубы. И потянуло Беломором и Дымком, дружно засопели, захаркали работяги, заговорили о бабах, о том, где можно урвать свободный балок, о том, что рыба пошла, о том, кто кого и как от...л, о том, что мастера жена опять отп...ла, когда тот был пьяный, сказав ему наутро, как обычно, что упал с кровати, что опять на...ут с зарплатой, урежут наряды, что картошку еще не завезли, а давно бы пора. Картошка была больным местом каждого честного лабытнангца в августе, и все замолчали. Вздыхнув, студент подытожил на свой ученый лад: «Сколько поле ни квантуй, все равно получишь ...». Наболевшее выговорено, и,

как всегда после удовлетворения демократического зуда в России, нахлынуло извечное, родное для славянской души со времен татарского нашествия облегчение: домой идти вроде бы и нельзя, смена еще не закончена, а значит, находясь официально на работе, можно о завтрашних заботах не думать, но и делать нечего. Да и не хочется. В общем, хорошо: ночь без ветра, Беломор сухой. Сладкая дрема затяжелила веки, стала путать раздираемые зевками мысли, высказываемые с дремотной натугой в бархатную черноту ночи, за пределы высвеченного прожекторами круга.

Вдруг хитрогубый кореш вскинул руку и, указывая в темноту, маслянисто поблескивающую отражением фонарей, ощерив золотой набор зубов, выдохнул своим мягким кубанским говором:

— Гля, голова, никак плывет хто на зону?!

Остальные, привыкшие к лагерным розыгрышам краснодарца, молчат. Только лупоглазый прибалт, смачно сплюнув меж ног после серьезного отхаркивания, произнес в укутанное облаками небо:

— Не пи...и, кто полезет в эту холодину. Да и пристреляют.

— Не, бл...ь, правду говорю, гля, голова, — ничуть не обидевшись, обиженным голосом загундосил завязавший Коля.

— Волосатый, знать не зек, — он сделал глубокомысленное умозаключение и, мечтательно затянувшись Дымком, выдохнул удовлетворенно:

— И чего его туда, му...ка, потянуло?

— Может пос...ть захотел да бумаги не нашел, — неожиданно пошутил Цыган и зашелся хихиканьем, закашлял немочно, закачался всем телом, согнувшись вдвое на тюках, блестя глазами и шамкая губами. Он был как-то постоянно небрит, что делало его похожим на лидера ООП, словно борода перестала расти, проклюнувшись щетиной, и, вдруг обнаружив испитое

лицо с толстыми губами, покрывающими подгнившие зубы, зачихла в тоске.

Вдруг воздух, набухший сонным повизгиванием пилорамы, словно распоролось. Справа, а через секунду слева, со стороны сторожевых вышек, облепивших мухоморными будками свободный берег протоки, поднялась стрельба. Раз, два..., три..., четыре-пять-шесть прозвучало дробью и отдалось глухим эхом. От неожиданности бригаду подбросило на тюках, и, забыв про Беломор, про сладость дремы, стропала высыпали по борту, выискивая глазами мистическую голову. И впрямь, среди лениво набегающих волн, пошевеливающих плавающими у берегов бревнами, не далее чем в двадцати-тридцати метрах от *того* берега прыгала забытым мячиком чья-то голова. Не в силах сдержать нахлынувшие эмоции, каждый облегчил себя нецензурно, коротко и ясно. Даже студент сумел построить трехэтажный шедевр — два месяца хождения в народ существенно помогли его красноречию.

— А ты мене не верил, мене, Кольке, да я пятерик мотал от звонка до звонка, — завелся Коля, экс-зек, глядя, впрочем, из-под кепки на волны с прыгающей меж них головой.

— Коля, кончай пи...ж, — коротко проговорил русоволосый бригадир, так же вглядываясь в переливающуюся бликами черноту. Он два дня как вышел победителем из отчаянной драки с поножовщиной и поэтому, завоевав уважение шпаны, вел себя соответственно новому положению — солидно. Его стали слушаться.

Что-то назревало. По железу палубы загрохотало топотом множество ног. Откуда ни возьмись, на нос по трапу, на коричневую ржавь баржи выбежало человек пять, одетых необычно, а за ними, застегивая на ходу ватные штаны, поднялся на нее только что оправившийся крановой Коля с худым остроносым ли-

цом, излучающим благодать, всепрощение и острое любопытство.

— Что, р-р-ребята, за шум, а драки нету, — фальшиво бодрым голосом проблеял он, энергично потирая руки. Стрופаля его терпели. Так, полмужика.

Сердито стучавшие сапогами оказались «особистами»: гладкие двадцатипятилетние лица, строгие и суровые, закаленные тяжестью опыта десятков лиц, битых их крепкими кулаками. Одеты они были одинаково и странно. Поверх рубашек с галстуками, заправленных в ржаво-зеленые галифе, а те в сапоги, как знак высшего положения в лабытнангском обществе — темно-синие нейлоновые куртки. Сочетание галстуков и сапог в их наряде создавало впечатление почти мифическое — словно сами кентавры сошли на землю... откуда-то. Все пятеро, сопровождаемые неторопливым Колей-крановщиком, еще не осознавшим суть дела, прохрустели по щебню и выстроились по борту в желтом свечении ХКМТСовских прожекторов, оттеснив бригаду на корму должностными взглядами. С двух соседних вышек вдруг обдало ярким светом по черноте переливающейся глади воды, и, после секунды нерешительного поиска, два круга скрестились на темном, едва различимом пятне, все так же беззаботно прыгающем среди волн.

Слева, из-за штабелей деревянных конструкций, забытых на пирсе лет пять назад, после того как, гласит молва, приехавший получать их представитель ухнул с перепою вниз, в Обь, со всеми накладными (их так и не нашли почему-то в портфеле бедняги-утопленника), показались двое. Охранники. Оба в выцветших ржаво-песочных бушлатах, с карабинами в руках прыгают меж штабелей, напоминая резкими движениями двух марионеток, ведомых нервной рукой. Узколицы, горбоносые и сосредоточенные, их физиономии выражают чувство долга и, полускрытую азиатской непроницаемостью, радость. Справа, оче-

видно, с соседней вышки, на пирс выбежало еще двое — европейцы, — и все четверо, хрумкая щебнем и разъезжаясь сапогами по битому стеклу, вышли на край вдруг мерно закачавшейся баржи, присоединяясь к нейлоновым курткам. На минуту все замерло в неопределенности, и казалось, что высвеченные неестественным желтым лучом прожектора на пирсе фигуры с так хорошо знакомыми по театру на Таганке силуэтами задвигаются, заговорят речитативом, начнут представлять что-нибудь революционное, что-нибудь из эпохи покорения Магнитной горы, что взвоется красное знамя в руках актера и умирающий (по субботам) на руках бойцов комиссар скажет хорошо поставленным голосом что-нибудь о победном конце и мировой революции пролетариата. Застыли охранники и «особисты», широко, по-хозяйски расставив ноги.

Еще через минуту сгрудившейся на баке бригаде стало ясно, чего представители власти ждут с такой уверенностью. Темный поплавок, сопровождаемый бережно прожекторными пятнами, сверкнул белизной лица и стал медленно, словно ведомый тяжелой неповоротливой рыбиной, продвигаться к берегу. Вскоре пятно в ясно видимом венчике слипшихся волос стало обрастать деталями, приобретая черты человеческого лица.

— Может, поплавок с бухалом на зону потянул, — задумчиво выговорил Коля-краснодарец.

— Явно его там ждали, — заключил он с совершенной неожиданностью для остальных. Помолчали. Периодически взвизгивает пилорама на другом берегу, и последний кровавый клочок на севере исчез, закрытый наглухо облачной пеленой. Лихорадочная, болезненная желтизна прожекторного света на барже погустела. Где-то слева, вдали, там, где в протоку впадает другая, глухо застучал мотор, и через минуту под шум изрыгаемой водометом воды из темноты стал выпол-

зять нос низко сидящего патрульного катера. В бурунах, разбухающий в размерах с каждой секундой, с раздувающимися пятнами неясных фигур на палубе, проступая из неопределенности мрака подробностями: несколько солдат охраны в бушлатах, с карабинами за плечами и перетянутый ремнями начальник караула.

Голова медленно подплыла к берегу и в десятке метров от бревенчатого пирса остановилась — белая, в синеющих разводах татуировки рука взметнулась из воды и уцепилась за плавающее меж бензиновых клякс бревно. Казалось, она устроилась там надолго. Неторопливо, угрюмо глубоко посаженные глаза на толстогубом лице поводили по нависающему причалу, сопровождаемые взглядами «особистов» и охранников на барже. На секунду, на едва заметное мгновение, глаза остановились оцепеневшим взглядом на проеме между кормой баржи и дальним, неосвещенным концом причала, спускавшимся полого к самой воде в этом месте, и тут же трое «особистов» сорвались с места, перепрыгнули полосу воды, отделяющую баржу от причала, и в секунду оказались там, опять застыв и чуть наклонившись вперед в напряжении ожидания. Неторопливость, сосредоточенность, с которой голова оценивала обстановку, очевидно, расстроила азиата-охранника с левой вышки.

— Вылаз, вылаз, ... твою мать, — захрипел он, наливаясь кровью и выпучивая глаза.

— Вылаз, пристрелу суку, — он вздернул карабин и выстрелил один, два, три раза в воздух, завершив таким образом требуемый предупредительный ритуал в применении оружия против нарушителя. Голова меланхолически покачивалась на волнах вместе с блестящим под прожектором бревном, не обращая внимание на выстрелы. Все молчали, замороженные яростью охранника, а тот с каждой секундой все больше впадал в припадок, выкатывая глаза на перекошенном лице.

— Убью блэдину, вылаз, — захрипел азиат почти с пеной на губах и, исчерпав русскую ругань и перейдя на родную, вдруг вскинул карабин и выстрелил — два раза вспороло ткань застывшей тишины, и белые фонтанчики весело проклюнулись около лица. Охранник вынул обойму из карабина и, засунув ее в карман, вставил новую из подсумка. В промежутке меж завываниями пилорамы отчетливо клацнуло металлом о металл — нервная рука задвинула обойму в магазин — и еще два выстрела отдались эхом с того берега.

— Мимо, — выдохнул студент забывшись.

Голова зашевелилась, и, отпустив бревно, рука опять нырнула в воду. Человек стал подплывать к причалу, а там уже сбились в кучу особы — невидимые хвосты отхлестывают по раздуваемым горячим дыханием бокам. Он уже было достиг свай, на которые был насажен бревенчатый настил головки пирса, как к барже подошел сторожевой катер. Его корму окутали клубы сизого солярочного дыма от двигателя, переведенного на реверс, сквозь стекло затемненной кабины мутно маячил рулевой. Полуобернувшись и не сводя глаз с головы, утянутый ремнями начальник караула проговорил что-то стоящему по правую сторону от него охраннику, а затем наклонился и неслышно для остальных сказал несколько слов за борт — катер заслонил пятно головы своим носом, и, казалось, лейтенант в ремнях прошевелил губами на застывшем скукой лице, чтобы сплюнуть шелуху от семечек: спокойно и неторопливо. Из-за низко сидящего борта катера взметнулась та же татуированная рука и тут же была ухвачена лейтенантской. Подтянутое с палубы белое тело в русалочных узорах выскочило из воды как пробка, и верхняя половина туловища тяжело улеглась на железо палубы. Волосатого бил озноб. После окрика лейтенанта: — Цепляй его, Костюченко! — один из охранников, стоящих рядом с ним, рез-

во наклонившись, обеими руками обхватил запястье другой руки, оторвав ее от леерной стойки, в которую та вцепилась. Лейтенант и охранник внезапно, с подвздохом разогнулись и, выдернув тело из воды, как огромную белую рыбину, выбросили его на палубу катера. Человек, одетый только в длинные, до колен совдеповские трусы, прилипшие к бледным, незагорелым ногам, упал на палубу с хлюпающим звуком, припечатался к ней животом и заскользил грудью, лицом и бедрами по выкрашенному в тускло-стальной цвет железу. Все молчали. У Цыгана, обнажая ряд подгнивших зубов, полуотвисла челюсть, студент, никогда не видевший, как стреляют в людей, мелко дрожал от возбуждения, а азиат-охранник засунул обоим еще глубже в карман. Глухо, почти неслышно затахтел двигатель, зашумела струя водомета, и лейтенант, обернувшись, пролаял со сжимающегося в темноту катера с добычей:

— Ибрагимов, сколько выстрелов сделал?

— Не знаю, товариш начальник, нэ считаэл, — охранник, успокаиваясь, приобретал прежнюю непроницаемость.

Помолчали на баке.

— Явно бывший зек. Ну ему сейчас е...ло намылят, — блеснул золотом зубов бывалый Коля, не выдержав первым.

— Заработал два года как два пальца обо...ть, — неторопливо выговорил бригадир.

На секунду был слышен только скрип сапог по битому стеклу от расхोдившихся по местам охранников и «особистов».

— Да-а-а, — протянул наконец из-под кепки экзек Коля. — А косоглазому увольнительную. — И помолчав: — Заработал.

Пропали в темноту, словно и не были, утянутые в бушлаты и куртки фигуры, протока нехотя поблески-

вала чернотой набегающих волн под вой пилорамы с зоны. И стало так пусто на душе.

Ежась в предутренней сырости, наплывающей с Оби, бригада разошлась по балка́м. Было 10 августа 1978 года.

ЖУРЖИН Александр родился в Москве в 1953 году. Окончил физический факультет Московского Университета. С 1980 г. проживает в США, учится в аспирантуре Массачусетского Технологического Института. Публикуется впервые.

РУССКИЕ ТЕРЦИНЫ

0.

Мала терцина. Смысл — наоборот.
Чем он крупнее (и — русей) — тем лучше.
На первой рифме гнешь дугою вход,

впрягая тезу — женское трезвучье.
За нею — ТРОЙКУ отзвуков мужских,
и — с тезой антитеза неразлучна.

Но, чтобы смастерился ёмкий стих,
пора готовить выход, как у Данта.
Есть девять строк. Всё высказано в них.

А на десятой — поворот: КУДА-ТО...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1.

«Димитрий! Родину — и там любите!» —
с платформы выкрикнул один дурак.
Ответ зажалю дверью при отбытии.

Какая гвоздеватая дыра
под таким понятием разумелась? —
Из коей вышел, в кую на-ура

уложат с побрякушкою за смелость?
Спасибо, нет. Клубок моих обид
снесу на незасиженное место —

распутывать, высвобождать, любить.

2.

Да все — изгнанники, еще с Адама...
Кто Рай покинул, кто изжил Содом
в сознании. А мы так и подавно —

где нам похлебка варится, там — дом.
И все-таки живем и не плошаем,
и думается крепче о родном,

но не одним, как прежде, полушарьем.
Два опыта сомкнулись в полноте.
И, кажется, слова сейчас нашарим

вернейшие, насущнейшие, те...

3.

Во-первых, стыд. Лишь по тому резону,
КАК ОБОБРАЛИ НАС В РОДНОЙ ДЫРЕ!
Вкусноты разные — до горизонта,

черешня и арбузы в январе.
И больше, чем людей — автомобилей,
а воздух чист, что роза на заре.

Приветливые лица... Но — обидно:
ведь и у нас **ТАКАЯ ЖЕ** страна, —
с землей, с культурой... А живем — как было!

Всё — Партия? Да только ли она?

4.

Любезнейший, Вы — помните едва ли,
я — как вчера — столицу над Невой.
Довольство. Государыню на бале,

всю в белом, с бриллиантами рекой.
И государя на борту эсминца
«Сообразительный»... Нет — «Огневой»!

И вдовствующую императрицу...
И всей красы державной — торжество,
какое демократам и не снится, —

не правда ли, почтеннейший?.. — Чяво?!!

5.

«Мы Православье вывезли на Запад,
и Бога чтим ПО РУССКОМ ЯЗЫКЕ».
— Взгляд пулеметчика-белоказака,

и Чаша Евхаристии в руке.
«Мы против батьки-Сталина бороться
ПОЧАЛИ ФАЙНО, с пальцем на курке».

— За батьку-Гитлера твое болотце...
Но кто же — за — культуру и язык? —
«ДВУХБЕДРУМНЫЙ АПАРТАМЕНТ ЗДАЁТЦА».

И — подпись... — Диссидентствуй, Бенья Крик.

6.

Девиз: «МЫ НЕ В ИЗГНАНИИ, МЫ В ПОСЛАНИИ».
Не всякий сможет. Мережковский смог.
За что и был кем только не ославлен.

Да, мыслями двоился мистагог.
Антихрист у него смыкался где-то
с Самим Христом. Лукавый завиток,

но в том и сущность! И она — задета.
И если что-то миру мы дадим,
так это — церковь Третьего Завета,

которая выгреживалась им.

7.

Поэзия была, как волшебство.
Поэты слыли чем-то вроде солнце,
слепительно влюблялись, кто в кого:

в прекрасных незнакомок, в тьму поклонниц,
в Любашу Менделееву, увы...
При том — глядели в Слово, как в колодец.

Живой водою брызгались, волхвы.
Злом любовались — всласть. И все ж неплохо
посеребрили век. А мы? А вы?

По нам ли будет названа эпоха?

8.

«Ну, что они увидят здесь у нас
из окон интуристовских отелей?»
Да будь на всех единственнейший глаз,

увидели бы, если б захотели.
Но: хорошо — в уродливой толпе —
с добротною одеждою на теле

чужие взгляды привлекать к себе.
Вещать: «Пожалуй, темпами развития
вы — впереди, но техника слабей...»

«Позвольте сигаретку?...» «Шюр, возьмите!»

9.

Утопли в ораториях, балетах
и юбилеях. Снова юбилей.
Идет страна семидесятилетних

к семидесятилетию. — Да, налей!
Той, что мозги прочистит, нашей горькой, —
уже не лезет никакой елей.

— Так что же мы? Давно скользим под горку,
а с «Похвалою глупости» Эразм
за столько лет не устарел нисколько?

Склероз, бахвальство и маразм, маразм...

10.

— Мы Запад. — Нет, еще какой Восток!
— Смотря с какого края горизонта...
Мы сами по себе — таков итог.

Меж двух сторон распаханная зона
(нет паспорта — и сразу виден след).
И эта жизнь в колхозо-гарнизоне

всех единит и делит: да и нет.
Все — против нас или за нас... Да полно! —
Хвала Создателю, есть Новый Свет,

где можно век прожить, о «нас» не вспомя.

11.

Когда бы Волга в Балтику текла,
тогда предположительно иначе
сложились бы все русские дела.

Наверное, заполонили б наши
Европу. Но и немец бы успел
Россию взять — до Октября, чуть раньше...

А то и — католический удел,
на радость Чаадаеву, навеки...
Тогда бы турок не задарданел.

Да и варяг не закатился в греки.

12.

Всё из-за слов полуторех — «И СЫНА»...
От тех отбавить или нам придать —
и кафолическая — в Духе — сила

в какую изошла бы благодать!
Равновселенски обе главных Церкви;
не можно так: и чтить, и разделять.

Но — в кесаревых целях — мы не цельны,
в небратстве живы, вот и мир — жесток.
И только Крест соединяет в центре

Мгновенье, Вечность, ЗАПАД И ВОСТОК!

13.

Программа «Время»: в Таллине плюс 5
и минус 50 под Верхоянском.
— Как разность эту вместе удержать?

Ведь мы физически на части хряснем.
— Да. Только силой... Прочее — не в счет.
Публично каются Якир и Красин,

а телевизионщик ловит, чёрт,
нарочно, микрофон — на фоне носа.
Смешно? Здесь даже время не течет,

погрязшее в пространстве високосно.

14.

Еще?! Нет, православные, не надо, —
и так уж на полсвета расползлись.
Но щит Олегов на воротах Царьграда

все тешит неотесанную мысль.
Культ силы есть. Но нет былой культуры —
империя при том теряет смысл.

Зато и подданные злы и хмуры:
за всё, про всё — в карманах ни шиша.
И лишь орут, поддавши политуры:

Мы всех сильнее! И — гуляй душа!

15.

Вся жизнь — противоборство с этим танком.
Он прет, а я (казалось мне) храню
ключ — развинтить чудовище! Да так ли?

Как тянет нас на теплую броню!
Мальчишество? А что! Вскочить на панцирь,
и — дать по мировому авеню...

Приятно сознавать, как мы опасны.
И горько говорить: «Я ж говорил!...»
А если не успеешь окопаться —

«Вы — Божий бич!» — приветствовать атилл.

16.

Оставленный средь белобурых пург
гранитоносец, золотые шпицы, —
почти не оскверненный Ленинбург

(Москва-сарай пригодней для столицы)
с тяжелою осадкою бортов
серосуровым крейсером глядится.

Подобны крабам пятна от орлов,
подъаты якоря во тьму и зиму:
«К ПОБЕДНОМУ ОТПЛЫТИЮ ГОТОВ!»

— Куда ж нам плыть? Вестимо, на Цусиму!

17.

Бесстыден, и любезен, и свиреп, —
ни дать, ни взять, как Цезарь у Катулла, —
тяжелой государственности вепрь

в гнезде орла воссел короткотуло.
Ты скажешь: — У Истории в хлеву
свинья согнала курицу со стула...

— Но я-то на земле впервой живу!
Не наблюдал я, как летели перья,
но, кажется, увижу наяву

кровавый жир последней из империй.

18.

Солдаты, кони, девы — все крылаты.
Орлы двуглавы. Всюду буква Ять,
скрещённые мечи, эмблемы, латы...

Поэзии одическая рать...
Конечно, безобразничали в Польше.
И дома — тоже. Но, по правде взять,

сравнительно с теперешним — не больше.
Гаремы заводили? — Так, Ахмет,
и звались христианами... О, Боже:

скорбеть об этом — да. Вернуться — нет.

19.

А что, когда «в минуты роковые»
и вправду призовут? Сказать, что нет,
мол, нездоров, простите, всеблагие?

Почтительнейше возвратить билет?
Да что гадать! Давно уже призвали,
куда вставляют клизму, — так поэт

(не тот, конечно, что стоит в начале)
изволил выразиться, Ваша честь.
Все пьяны. Экономика в развале.

Какое там блаженство! Хлеб-то есть?

20.

Послушал — как помоями умылся:
мать-перемать; совсем уже дошли...
Отец Булгаков знал: в глубинном смысле

здесь — гибель Богородицы-земли.
Она от осквернителей приметно
уходит из-под ног, и — ай люли!

— Все балуешь оральным экскрементом,
а вместо Родины — давно дыра.
И что? — ухватисто да искрометно:

— Так перетак ее, et cetera...

21.

Не потому «Свобода или смерть»,
что, мол, на эшафот идут герои,
а потому, что стыдно разуметь

большой народ в короткоштанной роли.
«Хвали начальство, а не то: бо-бо!»
Молчать, мыча? Доиться по-коровьи?

Выслуживаться: пиль или тубо?
Когда бы камнем, как бы от — вращения,
не вылететь — то было б не слабо,

а сладко умереть от... отвращения!

22.

Бывало, едешь, вскинешься от дремы,
на лица глянешь — оторопь берет:
в какие всё же рыла «из дярёвни».

повыродился Муромец-народ!
В картофель человеческий... Породу
давно уже повывели в расход.

Теперь и к генетическому коду
полезли — «бормотухой» травить...
А встретишь личность — так летит к Исходу
в Мордовию. Или в ОВИР — фьюить!

23.

Жилось, признаться, именно что жутко:
размазан был какой-то ровный страх.
И сверх бывало, в виде промежутка,

навалится, и чуешь: дело швах.
И думаешь: вот в Доме на Литейном
твой следователь роется в делах.

Очередной донос подколет с теми,
и папку — между папок, в тот же строй...
А та — полна. Не лезет. Значит, время

брать субчика. — Нет, ворон, я — не твой!

24.

Срок отмотал, судьбу благодаря:
«Я в будущем России поселился!»
— Как? Неужели — снова лагеря...

«Скажу лишь: изолирует солистов,
но хором пользуется дирижер.
Вот: демократы, националисты,

религиозники — влезают в спор.
А власть всегда ролями управляет
наличными — так было до сих пор.

В Мордовии, меж тем, готов парламент...»

25.

«Увижу ли народ освобождённый?...»
— Не Пушкину, так Блоку довелось.
Антихрист ли, Христос краснознаменный

гульнул, и снова в рабство впал колосс.
— Увидим ли его в духовной силе?
Ведь это все, что нам хлебнуть пришлось,

по вкусу лишь КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ.
Кого винить? Не ясно ль дураку:
мы сами проворонили, разини,

какую Родину!.. Россиюшка — куку!

26.

Нет частной собственности — есть продукт,
но трогать не велел хозяин-барин.
А как не взять: другие украдут!

И тянут всё и вся в худом амбаре
(да с гаерством: «да я вас попросю...»):
тотально — толь и тюль, на стройке, в бане,

котам песок, объедки поросю
(«Ну, мыслимо ли жить с одной зарплатой?»),
пока страну не разворуют всю.

Зато покорно-пьяно виноваты.

27.

Туды — «шекснинска стерлядь золотая»,
куда и «щука с голубым пером»...
ПОРТКИ БЫ МЫ ПЕРВЕЕ ЗАЛАТАЛИ!

(Зато, видать, и лезем напролом,
что стыдно отвернуть...) А ведь когда-то,
как нас, кормили Землю мы зерном:

чего-чего, пахали мы богато!
Теперь вопрос: **ЧЕМ ДЫРЫ ЗАЛАТАТЬ?**
— Смекалкой полупьяного солдата?

И — кто есть русский? — Нищий? Или тать?

28.

Нас — не было. А были чужь, да меря,
да, так сказать, насельники полей,
себя еще никем не разумея.

Но с печки слезли пошукать людей.
— Что за река? — Дунай!.. Сады и пади.
Богато. Хоть садись и володей.

Как бы не так! Себе потеряли сзади:
— Мы, стало быть, славяне, примечай...
Отсюда в песнях: садо-виноградье,

а в реках и ручьях: Дунай, Дунай.

29.

Спасибо Геродоту — просветил,
откуда суть пошли слабинки наши.
А вышло так, что из днепровских вил

Зевес русалку взял. Ея появши,
он (в сущности — Перун и Богогром)
ДВУОСТРУЮ СЕКИРУ, ПЛУГ И ЧАШУ

трем сыновьям — дал, золотые, в дом.
И вот с тех пор — мы, их потомки, вечно
СЕЧЕМ ДРУГ ДРУГА; ВКАЛЫВАЕМ; ПЬЕМ,

надсаживаясь под эмблемой вёшей.

30.

Как труд умеет очернить субботу,
так вот и мы — что толку, что сильны?
Злоравенство, небратство, лжесвободу

мы взяли сдуру лозунгом страны.
А как его сменить — не понимаем,
когда и в стаде все разобщены.

И мучится родимая, немая...
И душно, брат, — дышать и не проси,
покудова земля не принимает

Главного покойника Всея Руси.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

31.

Когда бы я по-прежнему жил там,
сказав «УЖО», как пушкинский Евгений, —
за мной не Медный Всадник по пятам,

а на броневике чугунный гений:
«Та-та-та-та», — татарский злой прищур
плевал бы пулеметною геенной.

И жест — знакомый, даже чересчур:
«Он — там...» Петляю, в горле бьется рвота.
«Молчаньем уничтожу! Запрещу!»

Попал. Вот это — хуже пулемета.

32.

Для тех, кто больше к символам привык,
она медлительно кожей-рожей
не конь и уж никак не броневи́к.

Россия на коровушку похожей,
что негда так Платонову далась:
не только молоком, но шкурой тоже,

и телом, и теленком поделаясь,
к тому и защитит ни за спасибо:
такая уж судьба — такая власть.

— Хозяева! Воздайте кроткой, либо...

33.

«Не дай нам Бог увидеть русский бунт,
бессмысленный и беспощадный». Пушкин.
...Тебя же первого и загребут.

И — по соплям. И — гирькой по макушке.
Звереем пьяными. Зато потом
такие паинькие сим-пам-пушки —

самим не верится, что был погром.
Ярмо пожестче — и порядок вроде...
Сначала справься там, в себе самом:

— А ну, как на духу — готов к свободе?

34.

Легко загадить мальчику мозги:
«Труд. Деньги. Деньги-штрих»... В лесу абстракций
ни сущности порядочной, ни зги.

И кое-как, и как-то по-дурацки,
но раскумекал кое-что простец,
и — поражен: «Мы у Хрущева в рабстве!»

И вот накоплен, выношен протест
(все, что ни хочешь, вытерпит бумага),
сочится, прямо капает подтекст:

«За Родину, за Сталина!» — Бедняга!

35.

Мы — по бесправью — равноправны все.
Но нам и тут намного жалче женщин:
они же — словно белки в колесе...

И как-то удастся ведь зажечь им
в крови пожар и в доме ореол.
Воздать бы нашим любушкам, да нечем.

— Но почему: работаешь, как вол,
а ни тебе порядочной зарплаты,
ни отдохнуть, когда к себе пришел?

Поел — и спать. Всё бабы виноваты.

36.

Цыгане нашу душу вы-пе-вали,
она буквально таяла, как снег,
и струнные страдания всех повально

тянули в степь. Алеко. Скрип телег.
И там-то мы в татарстве наторели
и растрепали дух. Но интеллект

точили нам и немцы, и евреи.
И наточили пуще палаша,
хоть правду режь. В куски ее — острее!

Заг-а-дочная русская душа!

37.

Хотели взять всю истину зараз.
Но сыворотка той сырой идеи,
привитая, створаживалась в нас.

«За справедливость» вроде... А на деле —
мы выжили-то чудом и тайком,
на мессианстве собственном балдея.

Весь опыт был преступным тупиком.
И все же он — по миссии — единствен:
теперь, кто соблазнится о таком —

знай дегустатора «заразных» истин.

38.

Не верят — пусть действительно проверят
на нежных шкурках ино-вариант.
Когда с походной кухней по Ривьере

он сам прикатит к ним — поговорят...
Кой-кто надеется, что по идее
ТАКОЕ — утвердится тут навряд.

Но мы-то знаем: цепкое на деле,
крутое по вытягиванью жил...
Лишь те помогут в общем обалдены,

кто БУДУЩЕЕ ПРОЖИЛ и — изжил.

39.

«За Родину, за Сталина — за мной!»
И все ж не политрук, а студебеккер,
нагруженный тушёнкою свиной,

спас малолетних нас — хвала навеки!
И — вы: но не стратег «любой ценой» —
бесценные солдато-человеки,

которых тот угрожал в Шар Земной.
И вспоминает, низойдя на отдых:
«Как шли они за Сталина, за мной!»

— Не трогайте. Отдайте наших мертвых.

40.

Развернутая как-то ОТ ВРАГА
(с мечом Венера иль без крыльев Ника),
бетонной тучей застит облака.

Мать Родина — по замыслу. Гляди-ка,
сынов на смерть зовет кошмарный рот.
За имя, да еще ТАКОЕ — дико!

За землю? Ни былинки ни растет.
За — в пятнах нефтяных — реку бурлачью?
А Дон и Днепр — что, были не в расчет?

— Отдать, и приплатить еще впридачу.

41.

Подпасок уступил, а я и рад:
забавно — порадеть о поголовьи...
Увлёкся. И все лето пас телят

в послевоенный год полуголодный.
Причем у стада был туберкулез.
(Упали показатели коровьи,

план недоперевыполнил колхоз,
и вот больных по окончании года
сдавал он государству.) Нет, всерьез?!

А — полупоголовие народа?

42.

Да, это мы толпою шли в народ.
Учили: «Человек — от обезьяны.
Все люди братья. Значит, бей господ».

Увы, из нас повыбили изьяны
вот этой самой «будущей зари».
Теперь учить и некого — все пьяны, —

и некому... А что ни говори,
ведь мы и есть — народ. Да, тот, который...
И вот идем толпой в золотари!

В — наладчики, кондуктора, вахтеры...

43.

Ученый слой чинил верхам помехи
и зависть размедвеживал низам.
О бедствии предупреждали «ВЕХИ».

Переиграть Истории нельзя,
но и за то спасибо вам, витии:
хотя бы кто-то зрячим был не зря.

Кто были виноваты — заплатили...
Кто дальше долженствует? — Мы должны
растить растребушённые святыни

и покаянно звать «ИЗ ГЛУБИНЫ».

44.

Считается пока, что это — мода:
раскрытый ворот и нательный крест.
Из тех же, безобиднейшего рода,

что были при Тиверии, — протест.
НО КРОТКИЕ НАСЛЕДОВАЛИ ЗЕМЛЮ...
Пускай с фальшивой кепочкой протез

на место Бога влез без угрызений —
рассыплется... А Ты, Живый, гряди!
Избави нас от пасти Колизея.

Зато и крестик носим на груди.

45.

«Ты без бумажки — нуль», — закон знакомый.
Недаром из бумаги произвел
китаец — страхолюдного дракона.

Доставил это чудище — монгол.
Но чем русей, тем чино-монструозней
чинит оно стозевно произвол.

Зубцами обнесло себя от козней
и — лайяй... Как заметил де-Кюстин:
Горыныча хоромы — Кремль московский.

Ему за меткость многое скостим.

46.

Нам указал покойный Белинков,
что Чичиков — седок на Птице-тройке.
Возможно. Пал Иваныч — он таков.

И некрофил, и скупщик. Но не только.
По подозреньям (самым диким, пусть)
в **СОЖЖЕННОЙ ЧАСТИ** он бы взялся с толком

покойных Селифанов и Марусь
превоскрешать у прялки и орала.
Так — не куда несешься, тройка-Русь,

а: Господи, да где ты там застряла?

47.

Мы «красоту, спасающую мир»
(нисколько не желавший быть спасенным),
пытались вызвать дребезгами лир;

полу-Орфеем, в пай с Анакреоном,
а то и полным Блоком был поэт.
Но пел «униженным и оскорблённым».

И если влёт поэта бил дуплет,
то публика тем самым признавала
его куплеты — делом — разве нет? —

«О злостном утверждении Идеала».

48.

Наш Федоров — прохладных мудрецов
совсем отверг: все — путаники, дескать...
И — силой — воскрешение отцов

готовил; по продуманности — дерзко.
Во братстве об Отце — божествен труд.
Наука с Церковью — в совместном действе

с Искусством и Войсками — обретут
рабочий принцип сотворенья чуда.
Расселим по мирам воскресший люд...

— Попробуем? Кто первенец ОТТУДА?

49.

Казалось бы... Но нет! За новой модой
бечь, фалдами развеивая фрак,
и ради Музы рассобачить модуль

церковного сознания — а никак!
Иначе ж мы в несовременном свойстве:
без вольностей, без европейских благ.

А если бы и не было их вовсе?
Их тут и быть не может! Чем же плох
единственный из нас в небесном войске?

Всего один. Державин. Ода «Бог».

50.

Что лицеистам так, культуре — драма.
Силен Шишков, а вышло-то по их:
закляв себя от СЕМО И ОВАМО,

два шалуна сменили русский стих.
«Онегин» — да, и здорово, и ново,
и «Соловей мой» до сих пор не стих.

И все ж — *какая* выпала основа!
Не против Пушкина я — «ох и ах».
Но — вдруг — замолкло Игорево СЛОВО
у Серафима в Саровских лесах.

51.

«А в Оптиной мне больше не бывать»...
Леонтьева-то нет; не та и пустынь:
кресты посшиблены — прошелся тать,

тотален, безнаказан, необуздан.
И глушит Божью нивушку — лопух.
Знать, на Святой Руси и вправду пусто!

Порастравил нам душу (или дух?)
и дальше растравляет — Достоевский:
— А старец-то его того, протух...

Что тут? Намек? — Так и Россия, дескать?

52.

Изыдет бес «молитвой и постом». —
Страна давно постится поневоле,
да вот молитву прочит на потом...

А был у нас рачитель над Невоею,
боец ледово-лавровый за всех.
Но те, о ком предстательствовал воин,

кошунственно сгребли его доспех —
из серебра намоленную раку.
Он спит разоруженный, не успев

ни отразить и ни простить атаку.

53.

По медному грошу, по пятаку,
алтыну да семишнику — богато
воздвигся Храм на радость мужику,

избавившему Русь от супостата.
Явился новый: «К чёрту — срыть совсем!
Поставить здесь — до неба — Герострата!!

И — чтобы в голове сидел генсек!!!»
Пустырь и котлован. Проект распался.
Налили воду. Все-таки бассейн.

И — физкультура. И грибок на пальцах.

54.

Мольбу возносят «темные» бабуся
о благораствореньи воздухов,
и — благорастворяются воздушы.

И плавающий — на плаву, сухой.
И путешествующий сел под кленом.
И за недугующим стал уход.

И — реабилитирован плененный.
Земля родит, хотя и не сполна,
и власть уже не душит миллионы

народу... Странно, а — стоит страна.

55.

Да. «Не стоит ни город, ни страна
без праведника». Здесь творец Матрёны
прав полностью. Молельщица — она,

в платочке бабка, коих миллионы.
Покрошит хлеб, и — паре у ворот:
— Входите, двери храма отворены.

Помянет мертвый и живой народ,
и — в очередь, зятюку на опохмелье...
Ко шам еще и внуков обошьет.

Те: — Бога нет!.. Она: — Мели, Емеля!

56.

Не только «Я — ТЕБЕ, А ТЫ — МЕНЕ»,
но связи в целом — крепче на морозе,
а при советских трудностях — вдвойне.

Целуются чины, как мафиози.
У них единство, а у нас? — Держись?!
Э — нет, и при начальственной угрозе,

тем более при ней, нужны, как жизнь,
те, перед кем откроюсь без боязни.
«ТАК — СО СВИДАНИЦЕМ!»

Стаканы — дрызнь!

И — волны дружелюбья и приязни.

57.

Народ жалеет армию свою.
К примеру, едет рота в электричке:
«В ученьи тяжело — легко в бою», —

одобрит некто, подавая спички.
«Кури, сынок!» У каждого по две
гранаты, да патронами напичкан

Калашников. Да пот на голове.
«Кури, солдат, гляди повеселее.
Легко в бою...» Погон. На нем — ВВ.

— Воюем, батя, против населенья.

58.

Почтовый ящик. Нет, не на стене,
а многостенный, тысячеколонный,
с охраной — от обычного втройне.

Какие там гнивают миллионы!
Пустить бы на «портянки для ребят»,
но нет. Запрет. И лозунг намалеван:

«ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ!» Секретно все подряд —
журнал из-за границы; марка стали.
Успехи техники. Партаппарат.

А самый-то секрет — КАК МЫ ОТСТАЛИ.

59.

Залейся молоком, заешь мясом,
и, на желудок руку положая,
выбрасывай костюм, когда измялся.

(Незанятость? — Пособьем хороша!)
...Да сколько бы ни выплавили стали
на ту же душу (бедная душа!),

нормальный Запад нас кругом обставил.
Признаём ли когда-нибудь? — Ну, да...
Скорей — навесим на решетку ставень, —

морить народ, и — врать: во всем, всегда...

60.

Какая крепь лесов! Какие реки!
Громаднейшие избы. Старина.
Селились тут, на Севере, навеки.

А — ни души. Вся жизнь умерщвлена.
Кто этот враг, и откуда взялся?
— А коллективизация? Война?

А весь подъем аграрного хозяйства
с оттоком сил в промышленную сеть,
с подснежной кукурузой — не сказался?

Тишайшая, умильнейшая смерть

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

61.

«Любите Родину!» — Смешной приказ.
Мы родины себе не выбирали —
какая есть, изрядно въелась в нас.

Правителей любить? А не пора ли
страну с ее несчастьем не мешать.
Но на каком-то там витке спирали

мы на хмельную голову ушат
как выкатим! Трезвеющие люди
хотя бы себялюбьем не грешат —

сам испытал. Россия — буди! Буди!

62.

Разрыв-траву найдя, ее затырь;
иди за третьим облаком — увидишь
бело-горючий камень Алатырь;

сверни налево; а на берег выйдешь —
молись вовсю угодникам святым.
Тогда-то потаенный ГОРОД КИТЕЖ

всплывет из вод сквозь легкий полудым
в колоколах, и куполах, и силе;
в красе и славе... А за Градом сим —

намечтанная прадедом РОССИЯ!

63.

Так и бывает: подпоят старушек
филологи в поморских деревнях;
те — в мыслях отойдут от постирушек,

и причепурятся, и: ох-да, ах-
да как заколыхают звоны-стоны...
Многоголосье! Глоссопальный Бах!

Свежо и дико, древне и достойно.
И где-то там, где ты — уже не ты,
запустишь диск... И — вот они, устои,

от коих дал ты, лапоть, лататы.

64.

... Но не поет! Идет на крик крещендо.
Тысячелетье — разве это срок
для отрока-народа от Крещенья?

До — отреченья... Видно, не глубок
днепровский омут, где топили «прелесть»:
Перун уплыл, Велес и не промок...

Ну, а в подростке силушки прозрелись,
застыла кость неясного лица,—
и, кажется, вот-вот наступит зрелость...

Нашед себя, ищи, сынок, Отца!

65.

Здесь — наше сокровенное... Опора.
Толпа-Мария входит за теплом
в вертеп золотопостного собора.

Все так тебе утробно-близко в нем,
что, кажется (да не поймите всуе),
Христа родишь молитвенным трудом.

Евангелъе грозит, благовествуя.
Раздайся, Адов коммунал-сарай, —
мы Истину рожаем: Аллилуйя!

Ликуй, Исая, и — литургисай!

66.

Из двери деревянного острога
главу просунул Государствозавр:
глядит, а там Европа-недотрога.

Скумекал все. И деву-Польшу взял.
Чу! Звон меча о камень на пригорке,
и глас: «Направо? А налево — лъзя?»

— Никак драконобой идет — Георгий?..
Гора времен. Пространства. Облака.
По степи — ветерок солоногорький.

Сон. Пастернак. И веки. И века.

67.

И «баю-бай», и туго пеленами
заматываем по рукам-ногам,
(потом — иные меры применяем).

И — сказочку, как баивали нам:
— Заметил колобок, что прутья редки, —
дал дёру, а лиса его ням-ням.

Не убегай, катыш, от бабки-дедки,
не соблазняйся золотым яйцом.
И — волк заглянет в глазки малолетке
нестрашным человеческим лицом.

68.

Аршином не измерить. Но — безменом:
противовес — исконнейшая Русь;
чека — Урал; а на плече безмерном

висит пространства лесопустный груз,
морозной беспредельностью укутан...
— Боишься ли Сибири-то? — Боюсь.

В мешок таежный сунь любую смуту,
и — нет говорунов. И — тишина,
понятная в оттенках лишь якуту:

— Однако, молчаливая страна.

69.

Жевали хлеб, земелюшку пахали...
Да сдернули кормильцев с борозды —
а то у них сознательность плохая.

Поехало хозяйство не туды...
— Селу придут на помощь горожане! —
велят руководящие бразды:

Но — пальчикам картофель угрожает;
внаклонку разболелась голова;
изгваздались... А что до урожая —

кому какое дело? — Трын-трава.

70.

— Скажи одно, а действуй по-иному,
и вовсе третье вычисляй в уме.
Сынок, запомни эту аксиому...

Ну, как тут разобраться (а — сумей!),
когда отцепредательство в почете
и тут же — укрепление семей?..

За что: кто почестней — тот перечеркнут?
А кто подлей — руководить пролез?
И — вывихнутый мир сидит в печенках...

Шизофрения — жизнь, а не болезнь.

71.

Варяги, да татары, да поляки
по нашим землям погуляли всласть.
А за голландцем ряженым — и всякий...

Спасибо скажем, если примет власть.
Есть, видно, зло в самой верховной силе,
и взять ее — рука не поднялась.

Зато и Грозные не зря грозили,
и латыши строчили в решето,
и вырезали нацию грузины,

и спаивали вдрызг... А нынче что?

72.

Все заодно — новопородной массой...
 Штаны мешком, щетина бритых щек —
 обозначали с Родиной согласие,

энтузиазм, лояльность... Что еще?
 ...А патлы — от прозападных влияний —
 с юнцов тогда срезались горячо.

Но моды непокорные виляли...
 Теперь в толпе на бороды взглянуть —
 наружу лезут вятичи, древляне,

поляне, меря, кривичи и жмудь.

73.

Другие люди русским — не чета...
 Незаурядно все же: взять Культуру,
 и — нос отбить. Три буквы начертать

и укатать ее до Акатуя.
 И затужить: где Та, что я люблю?
 Авось, уже вошла в волну крутую?

Поддать бы баргузина «кораблю» —
 той самой бочке в слизи омулевой...
 И ждать... И — пить. И кланяться Нулю,

что в пиджаке повсюду намалеван.

74.

Покончить с этим пьяным окаянством!
 Закрыть Неву мостом бетонных плит;
 поверх — песком засыпать океанским

на толщу в километр. И пусть он спит.
 Забудется и место, хоть не сразу...
 Песок законсервирует, как спирт,

решетку в Летнем, пики, вязы, вазы,
века... А заскребется Город-краб,
и мальчик закричит стрекозоглазый:

— Глядите, эка! Ангел и корабль!

75.

Уже в какой-то мере ТРЕТИЙ РИМ
(Четвертого нам не видать вовеки)
мы на семи холмах московских зрим.

Наводят трепет кесари-генсеки;
за шайбу — гладиаторов арен
обожествляют ликторы и эки.

...Народы нефть подносят нам с колен.
Роль Греции к лицу играть Европе.
Америка — известно, Карфаген.

ГАЛАКТИКА — СЕРЕБРЯНЫЕ КОПИ.

76.

СОБОРНОСТЬ — это наш духовный верх.
Но чуть не так — своих же атакуем:
отмежеваться — главное — от всех.

Сидит в любом из нас по Аввакуму
и кукиш мастерит из двух перстов.
А то и разом — Разин и Бакунин...

И — проглядели трюк весьма простой:
СОБОР ПОДЛОЖНЫЙ выбрав по контрасту,
мы до сих пор межуемся пестро...

Старинный лозунг: «Разделяй и властвуй».

77.

Ослепли от общественного глянца...
И «Колокол» из Лондона звонил:
— Нужна, как воздух, полная огласка!

Спустя столетье следовать за ним
рискнули звонари из Техноложки
(марксизм их полудетский извиним) —

но в Потьму привели сии дорожки.
Безмолвствуют народы на Руси...
И слушают, от тишины оглохши:

ревут глушилки. Лондон. *BBC*.

78.

Земля на Красной площади круглей,
а если смел, то и поступок выше.
Треть миллиарда все-таки людей,

но только семь из них сумели, вышли.
Все в этот день по виду были «за»;
я тоже был хорош, арбуз купивши...

Лишь офицеры прятали глаза.
Ждалось дисциплинированным чехам,
что в мире разыграется гроза.

— Коль семеро пошли, губить ли всех нам?

79.

Сначала долго сеном да навозом,
да крепким потом пахло: русский дух!
Да порохом. А после — паровозом.

Вдруг шибануло бочкой — дух протух.
И страхом потянуло — гадко, липко
из коммунальных кухонь-комнатух.

Чуть форточку открыли по ошибке,
и — снова топору не нужен крюк.
Надышано у нас настолько шибко —

висит и так, зацепленный за фук.

80.

Навертишься, — чем не антисоветчик:
убогость жизни, лай очередей...
А, скажем, выдается тихий вечер

и примиряет с миром, чародей.
И кажется, что впереди, как море, —
наполненные переплески дней.

Не век сидеть в прокуренной каморе,
еще увидишь всё, чего лишен.
И сколько можно числиться в крамоле?..

Всё... Законный ангел сеет сон.

81.

Здесь, парень, ты не ходишь, а паришь...
Ногам — беда, а глазу — пир и отдых.
Поехали? — Шалишь! Пускают лишь

от нас ругателей международных.
— Да как же так? Вся музыка души
воспитывалась на парижских нотах,

а с Пушкина мы все — нехороши,
невыездной народец третьесортный...?
И только Чехов кашляет в глуши.

— В Москву, в Москву! — кликушествуют сестры.

82.

В Констанце уголь взяв, надраив бронзу,
ступил морской уютю на полотно.
Прогаркнуть предстояло броненосцу

отходную империи. Кино.

А в жизни он бы скормлен был торпедам:
— «Сторожевой» восстал? Пустить на дно!

«Потемкину» в кильватер, тем же следом
ракетоносный крейсер лег на галс...
Столбы огня с неделю снились шведам.

Никто не выплыл. Режиссер солгал.

83.

А может быть, твердить еще больней:
— Да, мы — рабы, рабыни и рабёнки,
достойные правителей, ей-ей..?

Не цепи нас неволят, а пеленки.
Мы колокол отлили вечевой,
но где же к вольности призывы звонки?

И — тянем государство бичевой,
ракетный флагман — лямкой — прочь из кожи...
Да, мы — рабы, а что? — А ничего:

не раб, но соработник нужен Божий.

84.

Тайга — закон, а в ней медведь — хозяин.
— Возьмут за копчик — и окоротят,
отнюдь не пустолайки, — в наказанье...

— Ну, этих-то страхнет он, как котят.
Вот ежели дракон из бывших братьев
пойдет на братьев-медвежат... Хотя

еще увидим, так ли нас попрасть им:
до тошноты отвратно, аж трясет, —
под новую Орду подпасть, обратно,

среди народов слыть за третий сорт.

85.

Со сроком жизни что-то не тое,
не повезло: недолго время длится;
мы — из небытия в небытие —

на дереве народном только листья.
Лишь бы успеть напочковать ребят,
напечатлеть, как вести, наши лица.

А у народа выдох — листопад.
Империю крошатся — что там личность!
Но жилки в нас трепещут невпопад:

— Из времени ни одного не вычесть.

86.

Юнейший, он сказал о несказанном
и Демона постиг пареньем строк.
Твердил одну молитву. Но Казанской

не шел его облитый желчью слог.
И, мучась от красы невыразимой,
он выразить ее так и не смог.

И вот: «Прощай, немая Россия!»
Она его простила в смертный миг.
Соборуя, грозю оросила...

...Нельзя такое, как ты ни велик.

87.

Приписываю вешему Бояну:
по русской степи ехал Святогор,
пресытись богатырскими боями.

Вдруг — сумка, гордой силушке в укор.
Поднять ее натужился бедняга.
И — в землю по колено... По сих пор...

(А в сумке той была земная тяга.)
По горло... По макушку... Весь исчез!
Но сила от его перенапряга

до океана тянется, и — чрез...

88.

С крыла летят корпускулы и кванты,
и — в облачно-молочный океан,
и в Атлантический, и звездно-ватный...

В наушниках — Бах, Гендель, Мессиан.
Препоны разрывает азробус
прозрачные — прозрачных марсиан,

с натугой разворачивая глобус
за Солнцем (тенью Бога) по пятам.
— Россия? Слышал. Есть такая область.

Верней, была. Когда-то, где-то там...

89.

Ползут по сердцу слезные расплывы,
и облачные тени — тут и там,
где так Христовы старицы красивы

со звездами по синим куполам.
Холмы. Белоберезовые рощи.
Поляны и дубравы пополам.

И соразмерно все, и что-то прочит,
и прошлое с грядущим заодно...
Вот здесь и лечь — нет сладостнее почвы —
и натянуть на голову дерно.

90.

Да не сочтется эта речь за наглость:
— Не «Городу и Миру» — ей о ней,
стране моей, сказал я с глазу на глаз

ей-ей же правду... Издали видней.
И ежели я не увижу боле,
как говорится, до скончания дней

картофельное в мокрых комьях поле,
сарай, платформу в лужах и вокзал —
ну, что ж, пускай. Предпочитаю волю.

Умру зато — свободным. Я сказал.

Ленинград 1977 — Милуоки 1981

В ЗАЩИТУ ПИСАТЕЛЯ

На днях в Москве арестован 35-летний писатель Евгений Козловский. Чекисты пришли рано утром, предъявили так называемый ордер на арест, кинулись на рукописи, на «вредные» книжки, забрали человека и бумагу (боясь, как черти лапана, такой комбинации) и свалили со своей добычей.

Перепуганной жене актрисе Лизе Никишихиной было объявлено, что ее муж обвиняется по статье 192 (или какая там у них) в распространении антисоветской пропаганды (или как там у них) и что следствие будет вести некий Попов. Позорит человек хорошую русскую фамилию, даже на изобретателя беспроволочного телеграфа бросает тень.

Козловский никогда не занимался тем, что сейчас называется диссидентской деятельностью, схватили его только за его прозу, за публикации в «Континенте», за участие в «Каталоге Клуба Беллетристов». Экая тупая непробиваемая и свирепая дичь. Должно быть, хотят всех писателей подровнять к своим любимым «деревенщикам», а тем, кто не подравнивается, для устрашения — арест Козловского.

Евгений Козловский, безусловно — восходящая звезда нового поколения русской прозы. Об этом можно судить по его публикациям в «Континенте» — рассказ «Чиновница и диссидент», повесть «Красная площадь», — об этом с огромной убедительностью говорит пока еще не напечатанное главное произведение, панорамный и телескопический роман «Мы встретились в Раю», свидетельствующий о жизни советской интеллигенции в курной избе Семидесятых годов.

Кто отдает приказы об арестах и преследованиях писателей? Ведь не весь же Советский Союз, не весь ЦК, не весь, в конце концов, КГБ — кто-то ведь первый открывает рот или рукой «накладывает резолюцию». Любопытно взглянуть на это лицо, стоящее, разумеется, вне человеческих понятий о позоре. Увы, позор-то ложится на тех, кто эти приказы осуществляет.

Василий Аксенов

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Повесть

из цикла «Москвобургские повести»

3. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ДИВЕРСИЯ

В рационалистическом миропонимании Долгомостьева, воспитанном с раннего детства и позже, в зрелости, не смененном, потому что ничего легче и удобнее рационализма Долгомостьев за жизнь свою не узнал и не придумал, существовали необъяснимые прорехи, столь, впрочем, незначительные, что их, возможно, не стоило труда и объяснять.

Например, верил Долгомостьев в мистическую связь человека со своим именем. То есть не вполне, конечно, серьезно верил, но кой-какие, даже и важные, решения принимал, чуть ли не одной этой верою руководствуясь. То есть всегда бывали на всё действительно серьезные причины, но, оглянувшись порою назад, ничего другого не оставалось, как признать, что на самом-то деле вовсе не по ним решилось, а по совершеннейшей ерунде. Взять хотя бы случай с женитьбой.

Если б немолодую монтажершу звали не Ледою, Долгомостьев наверняка на ней не женился бы. Не так, разумеется, примитивно, что, скажем, будь она Тамарой или Галею, так не пошел бы с ней в загс, а просто изначально не притянула бы она долгомостьевского взгляда, за который сама с готовностью зацепилась, а уж дальше окрутить Долгомостьева было делом технологии: по возможности тонко похваливать *гениальный* его материал (который, действительно, был очень недурен), восхищаться неожиданными мон-

тажными решениями да проявлять полное понимание, *чья*, собственно, эта картина «Поцелуй» — Дулова или Долгомостьева. Тут то еще, что Долгомостьев непременно поверил бы устойчивым студийным слухам о какой-то неприятной, нечистой связи между Ледою и завом производства, если бы заву фамилия была не Лебедь, а так уж слишком очевидно соблазнительно любому сочинить историю про Леду и Лебедя, и даже невозможно не сочинить. Но это так, к слову.

Когда, неделю позже группы подготовки выехавший из Москвы, прибыл Долгомостьев ранней весной в Таллин, Витюша Ответов и оператор Иван Васильевич первым же делом повезли его по местам ими самими довыбранной натуры и начали прямо с Рок-аль-маре, где Иван Васильевич приискал объект «эстонский хутор», в зимнюю экспедицию не найденный, и очень им гордился. Вообще-то Долгомостьев не любил этнографических музеев под открытыми небесами — дешевка всё это и фальшиво, — но и «хутор» был ничего себе, и обижать Ивана Васильевича не хотелось, да и удобно, что в черте Таллина — всё же сто четырнадцать полезных сценарных метров, дней пять снимать, если не неделю, — так что застолбили и совсем было собрались ехать дальше, как Витюша-мефистофель предложил зайти заодно в запасники, посмотреть, как тут с обстановочным реквизитом.

Встретила их в запасниках хранительница — румянощекая эстонка лет тридцати (взгляд чуть более пристальный по мелким морщинкам на шее и у глаз с легкостью обнаружил бы, что старше тридцати) в синем, под джинсовый пошитом, недорогом костюмчике. Принципиальную свою антипатию к гостям (и тут самим оставалось выбирать, к чему — к киносьемкам ли в серьезном научном учреждении или к национальности гостей — антипатия относилась) продемонстрировала подчеркнутой вежливостью, настолько подчеркнутой, что на Витюшин явно легкомысленный

вопрос об имени ответила без запинки и тенью не жеманясь: Рээт.

Долгомостьева как током ударило. Он слегка покраснел и во все следующие полчаса ни мисок, ни прялок, ни ходиков не увидел, хоть вроде и смотрел, и даже с Витюшей замечаниями обменивался. Собственно, как раз имя произвело на Долгомостьева такое сильное впечатление, вовсе не сама хранительница: обычная женщина, в которой несколько низкая талия ощущалась заметным изъяном. Потому, когда при выходе Витюша прицокнул языком и произнес: «А? Ну как? Ничего себе, а?» — имея в виду, разумеется, не обстановочный реквизит, Долгомостьев удивился, однако Витюшину точку зрения к сведенью принял даже очень, потому что, что он из себя ни изображал бы в роли режиссера-постановщика, в последней глубине души во вкусе своем был сильно неуверен и считал его провинциальным.

Значит, и в этом случае получалось, что сыграло имя, потому что даже Витюшиной аттестации и собственной режиссерской наглости вместе взятых не хватило бы Долгомостьеву, чтобы месяц спустя пригласить Рээт в ресторан (она дежурила на «хуторе» во время съемок: их, хамов, без присмотра в Рок-альмаре не оставляли), — просто запала бы не хватило, желания. Даже если бы и безусловно, не с чужих слов понравилась Рээт Долгомостьеву — все равно не хватило бы: с определенного возраста мужчины весьма расчетливо расходуют время и социальную энергию, а Долгомостьев в этот возраст вступил давным-давно. Правда, Витюша, знаток всего на свете, сказал Долгомостьеву, что здесь ни времени лишнего, ни энергии не истратится, ибо эстонки женщины культурные и порядочные, и если уж соглашаются в ресторан, то вслед за этим пунктуально и расплачиваются. Короче, обольщал и соблазнял, и Долгомостьев сдуру так поверил Витюшиной мудрости, что после ресторана чуть

не с требованиями приступил к Рээт — слава Богу, достало в последний момент ума и такта удержаться.

Витюша и позже делился афоризмами об эстонках: когда совсем запустивший съемки, задыхающийся от счастья Долгомостьев окончательно уверился, что Рээт любит его сильнее себя, Витюша заметил, что у эстонской женщины сорок нижних юбок и она снимает, даже в самом последнем случае, никак не больше тридцати девяти. Долгомостьев уже знал цену Витюшиным пророчествам, однако всё приглядывался к Рээт, выпрашивал, пытался, — нет, получалось, что неправ Ответов, в данном случае — неправ! То есть *тогда* получалось, что неправ.

Разумеется, чтобы и как током ударило, и покраснеть — такого сильного воздействия ни одна общекультурная ассоциация произвести на Долгомостьева не могла. Тут была очень старая, двадцатитрехлетней давности, то есть с *другим* Долгомостьевым: с Долгомостьевым, роль еще не сыгравшим, случившаяся история, о которой Долгомостьев и нынешний никогда не забывал, однако, что совсем уж не по его характеру, — никому о ней не рассказывал. Не рассказывать, впрочем, причина существовала вполне веская: в жизни не чувствовал он себя в такой, как в тот раз, мере *мразью* (ее словечко — это ж надо, едва зная по-русски, именно такое выкопать!). А в Рок-аль-маре словно знак был дан Долгомостьеву этим именем — не просто же так хранительницу в синем костюмчике звали Рээт, не случайно, не совпадение же, вот уж точно, что *Рок-аль-маре*, — словом, знак был дан, что вот-де есть у него шанс *переиграть* наново, второй дубль снять и от той грязи душу свою навсегда очистить, вернее, не наново, а *продолжить*, доказать (кому доказать?), что *то* — ошибка, случайность, что не мразь он, и вот сейчас, во втором дубле, всё будет отлично. Таким образом, двадцать три года объединятся одним смыслом, словно не было внутри них

пустых или позорных дней, недель, месяцев, словно не было Алевтины и Леды, Вероники Андреевны и Дулова: в корзину всё это, в корзину! — и дадут направление и оправдание на всю остальную жизнь.

Потом, позже, нынешняя Рээт объяснила, что значит ее имя: Маргрээт, Маргарита, Грээтхен, другими словами — Рита, Риточка, то есть имя одно из самых нелюбимых, самых на слух Долгомостьева пошлых («по-грузински я Вано, = А по-русски Ва-а-ня»), но тут уж ничего нельзя было поделаться: слишком долго слово *рээт* было для него терпким, бархатистым, темно-красным, похожим на начало «Прощания славянки», когда поют баритоны.

А с той Рээт Долгомостьев познакомился еще в самый свой первый приезд в Таллин, семнадцатилетним мальчиком, девственником, первокурсником у-ского педа, *салагой*. Она и сама вся была Таллин: чужой и манкий, *заграничный*, гостеприимный и прекрасный, с сильным, непередаваемого обаяния, акцентом. Сказка Андерсена. Долгомостьев просто диву давался старой подруге матери, у которой остановился в тот раз, как ей, кому выпало редкое счастье жить не в задрипанном У., а в волшебном этом городе с булыжными улочками и узкоколейными трамвайчиками, могут не нравиться и сам город, и населяющие его люди: она всё рассказывала про убийства, про драки, про «лесных братьев» да про то, что ждут *кураты* из Америки белый пароход и тогда перережут всех русских. «Вот попомнишь мое слово!» Подруга матери была замужем за каперангом и жила в Таллине с сорок пятого.

Долгомостьев и сегодня отчетливо помнил подробности недельного своего знакомства — не первой любви ли? — и первую встречу в вестибюле театра «Эстония»: Рээт курила с подружкой, и уже это было странно и притягательно до невозможности, потому что в У. в те поры девушки не курили, во всяком слу-

чае, не курили публично, и как хватило ему смелости подойти, заговорить? — о чем, он не помнил напрочь, но ведь говорил же о чем-то, находил же слова: смешной, немодный, семнадцатилетний, а потом, после антракта, подсел к ним, на пустовавшее в четвертом ряду местечко, и еще, помнит, переживал (дурак!), что рядом с Рээт оказался, а не с подружкой (подружка больше понравилась: полнокровная, белокурая — настоящая *эстоночка*, не то что Рээт, которую, не акцент и неуловимый шарм бы — за кого угодно можно принять — хоть и за русскую), но времени упускать было нельзя — на тряпичном берегу Нила уже вовсю гневался измазанный под эфиопа Георг Отс — тот самый знаменитый мистер Икс, — и Долгомостьев решился коснуться руки, так, впрочем, осторожно, чтобы во всякий момент можно было сделать вид, что случайно коснулся, но Рээт касание приняла и столь бесстыдно ответила, что забыл Долгомостьев и думать о подруге: бесстыдство принимается в семнадцать лет не за бесстыдство, а за исключительность расположения к тебе — не так ли оно и есть на самом деле? — а потом смешные (это из сегодня смешные) проблемы, что в кармане — один-единственный талончик на трамвай и ни копейки денег: как провожать домой неожиданно свалившееся на голову счастье? — хоть беги, и робкая хитрость: далеко ли живет? не прогуляться ли? — вон, мол, какая погода замечательная (а на улице ветер и мокрый снег), — ну, а ответит, что далеко, — как тогда? — но если везет, так уж и до конца везет, и подруга исчезает незаметно, и шесть остановок пешком до Кадриорга, до дома Рээт — шестьдесят минут абсолютного, полного счастья, такого полного, что поверить в него пока невозможно, и бессонная ночь с воспоминаниями о влажных поцелуях (до сих пор Долгомостьев принимал за поцелуй касание, давление друг на друга сухих губ), которые вправду были ли? — и снова проходишься языком по губам: вспухли, пом-

нят! — и тревога: придет ли завтра? и все дни, замешанные на сказочном Таллине, а потом, когда до поезда полтора часа и деньги, даже самые резервные, до копейки потрачены в полутемных, свечами освещенных кофках, прощание в подъезде двухэтажного деревянного домика, тут же, в двух шагах от вокзала, и уже разрешается расстегивать *все* пуговицы на распашном платье, и пряжку на спине, и, сдвинув лифчик к горлу, доставать из-за пазухи кружевной сорочки маленькую грудь, и целовать сосочек, который прямо во рту у тебя становится большим и твердым, а потом, годы спустя, сыграв роль и поднаторев в любовных историях, понимать, что и *далее* можно было, зря робел, зря боялся неизвестно чего (да не умел же, просто не умел тогда!), понимать и жалеть, жалеть, жалеть об упущенном, — помнил и маленькую фотографию, оставленную где-то в У. при переезде, помнил несколько десятков латинских букв, складывавшихся в такие, вероятно, нежные слова, что сама она постеснялась перевести их Долгомостьеву, — на обороте этой фотографии, и нижнее, последнее словечко, понятное и без перевода: Reet — только память не светла и печальна, как надо бы ей быть, а горька, словно хинный порошок из детства, из болезни — никаким медом не заешь! — горька следующей встречей, от которой ах как хорошо было бы Долгомостьеву удержаться! Тут Бог с ним, что незаметно, сама собою, исчезла, рассосалась в первый же месяц в У. твердая уверенность, что любовь навсегда, и что письма будут ежедневные, и междугородние звонки, и что летом, когда исполнится ему восемнадцать и будут каникулы, он вернется, она разведется, они поженятся и проживут счастливою жизнью в прекрасном городе Рээт, — может, и естественно было исчезнуть, рассосаться слишком уж романтическому, дурным даже вкусом отдающему чувству, может, так и надо было, — только зачем он, оказавшись случайно в Таллине

три года спустя, в первое же утро набрал услужливо сохраненный памятью четырехзначный номер ее телефона? *Дополучить*, что недодадено было в прошлый раз?..

Ответил мужской голос. «Вы приезжайте, — сказал с несильным эстонским акцентом. — Приезжайте. Рээт скоро будет».

Долгомостьев сразу понял, что это вернувшийся из армии муж Рээт. Он вспомнил, как однажды гуляли они с Рээт по Тоомпеа, и она завела погреться в Домский собор. «Вот здесь, — показала на стертую плиту у входа, — здесь могила эстонского Дон Жуана. Он завещал похоронить себя под этим камнем, чтобы все, кто входит в собор, попирали прах... Он думал, что отмолит так что-нибудь у Господа за земные свои грехи...» — «Ты веришь в Бога?» — удивился Долгомостьев. Рээт длинным взглядом посмотрела на него и ничего не ответила.

К огромному каменному столбу прилепилась сбоку люлочка резного дерева («кафедра», — пояснила Рээт, не сразу найдя, как сказать по-русски), и на торце ее вырезана была узкая раскрытая книга с римскими цифрами столбиком: от I до V на левой странице, от VI до X — на правой. Рээт зацепилась взглядом за книгу и заплакала. «Что с тобою? — всполошился Долгомостьев. — Что случилось? Я тебя обидел чем-нибудь?» — «Нет, — покачала головою Рээт и ткнула пальчиком, едва до нее доставшим, в семерку. — Ты слышал когда-нибудь про десять заповедей? Седьмая — не прелюбодействуй. Я ведь замужем...»

Понял, чей голос, сразу, а не сообразил, что следовало бы спросить у голоса адресочек, потому что если перед мужем ни в чем не виноват (а Долгомостьев точно виноват не был!), то и адреса знать не может. Но не перезванивать же!

Умнее-то всего было вообще туда не ехать, но такая простая мысль в голову Долгомостьеву не при-

шла (да пришла же, конечно, пришла, но последовать ей значило признать себя трусом, да и покуда не погибла надежда *дополучить*, — вдруг не муж — брат, отец, да мало ли?), — но с каждым метром пути все вернее ждал Долгомостьев быть побитым (хоть, честно говоря, не за что, да там разве объяснишь?), однако, немалый страх свой пересилив, позвонил в дверь.

Мужа звали Мишею, эстонца — Мишею; почему? Большой и сильный, сидел он, совершенно потерянный, в двух пустых комнатах, насквозь простреленных косым утренним солнцем, и жаловался Долгомостьеву на Рээт: с кем-де только в Таллине она не переспала и что ему сейчас делать? Ну уж теперь-то, когда совершенно ясно стало и что муж, и что бить не будут, зачем суетился Долгомостьев, зачем вставлял в разговор, сторонкою так, не в лоб, что чист перед Мишею, — так, прогулка по Тоомпеа, экскурсия, чуть ли не интернациональная дружба? «Да я верю тебе, старик, — кивал Миша в ответ. — Но другие-то, другие!.. Я вот десять дней дома, и десять дней звонят разные мужчины и всё ее спрашивают. А если женщины — так непременно с рассказами. С подробностями... А какие она мне письма в армию писала!»

А Миша чего распинался перед Долгомостьевым? Чего десять дней у телефона сидел? Когда он решил показать гостю пиритский монастырь (да был там Долгомостьев, был! С Рээт был!) — тут Долгомостьеву совсем не по себе стало, и всё сразу вспомнилось про *куратов*, что материна подруга рассказывала, но тут не пойти, отказаться — все равно, что признаться в собственной неискренности, в вине перед Мишею, и пошел Долгомостьев, словно на эшафот пошел, а Миша как нарочно наверх его потащил, на тридцатиметровую высоту, на узенький, в метр шириною, торец стены. «Вот здесь, — сказал, — мы мальчишками на велосипедах гоняли... Можешь представить?

Я — не могу», — и с опаскою скосил глаза вниз, на острые каменные обломки.

Когда *всё обошлось* и познавательная (в том смысле познавательная, что многое узнал он о себе) экскурсия подошла к концу — тут бы Долгомостьеву поблагодарить Мишу, откланяться и бежать со всех ног — переживать свой позор (а позор точно был!) и нехорошую смелость в одиночестве и уж ни в коем случае не принимать приглашения снова вернуться домой, потому что «Рээт, наверное, уже пришла», но как же тут не принимать, коли не виноват, коли *интернациональная дружба* и ничего больше, — чем тогда мотивировать? — и поперся Долгомостьев за понурым Мишею, справедливо предчувствуя, что *основной-то* позор — впереди.

Рээт вернулась сразу за ними, минут через десять, что ли. Посмотрела на мужа. Посмотрела на Долгомостьева. В дверях еще оставаясь, не проходя в комнату, мужу два эстонских слова, очень по интонации презрительных, через губу пробросила, а к Долгомостьеву подошла и ручкою, которой три года назад, в Домском соборе, до семерки дотягивалась, хлопнула по щеке, русское слово «мразь» произнесла и входную дверь приоткрыла: вон!

И вот сегодня, пережив встречу на Белорусском, обидно и неожиданно холодную встречу, а после — протоптавшись без толку добрые полтора часа по Красной площади, ощутил Долгомостьев, именно не понял, а где-то под желудком холодком ощутил, что не объединяется его жизнь общим смыслом, что слишком просто, слишком хорошо это было бы, д а р о м, а если связь между той и этою Рээт действительно существует («Существует!» — нашептывал чей-то голос в мистическую брешку), то отнюдь не в пользу Долгомостьева, что вовсе не растворяются, согласно второму началу термодинамики, старые скверности в мировом пространстве, а, присовокупив к себе новые,

неприкосновенно переходят в настоящее, и беспричинно вроде бы рушащаяся сейчас любовь Долгомостьева рушится на деле очень даже причинно. Что автобус знает, кого ему цеплять.

Но это холодок. А мысль работала успокаивающе, подыскивая поведению Рээт самые убедительные основания.

До поезда оставалось порядочно времени, и не хотелось его торопить, потому что страшно было предстоящего свидания. Домой идти — невозможно: Леда знала, что он вылетел в Таллин утренним рейсом; в мастерскую Ответова, где так обидно не состоялось сегодня свидание с Рээт, — уж и вовсе нелепо.

Долгомостьев помнил близкий проход к дуловскому дому — мимо гаражей и спортплощадки, — в узкую щель забора, но на площадке старики играли в городки и предложили и ему, а он согласился, потому что можно было не думать о Рээт и об автобусе. Потом Вероника Андреевна позвала из окна обедать, и они все вместе, впятером, поднялись наверх.

«Чуланчиком разрешите попользоваться? — едва обслужив ручку хозяйке, обратился Молотов. — У вас тут, помнится, темный чуланчик был, рядом с уборной, тещина комнатка... — и, обернувшись к Жемчужиной: — Ну, чего стоишь?! Вертухайся! Занимай карцер!» — «Откуда жаргону-то набрался? — подумал Долгомостьев. — Не «Архипелаг» ли почитывает?» Дулов с генералом исчезли в недрах квартиры. Долгомостьев остался с Вероникой Андреевной с глазу на глаз. «Ты знаешь, я нес тебе цветы, но их взяла поддержать сумасшедшая старуха, а потом не захотела отдавать, уверяла, будто я подарил их ей...» — «Лысая? Это Фани Исаковна...» — «Кто?» — «Фани Исаковна... Каплан...» Долгомостьев аж отдернулся от Вероники Андреевны: «Та самая?» — «Ну, разумеется, нет, — подтянула Долгомостьева к себе недоволь-

ная Вероника Андреевна. — Хотя можно сказать, что и та самая. А Семен Ильич тебе разве о ней не рассказывал? — и тут же о последнем вопросе пожалела: — Впрочем, история это долгая...

Молотов, побренчав щеколдой и пробормотав под нос: «Тоже мне, слово выдумали: *пермь*», проскользнул мимо них в длинный коридор — снова отдернулись, — и из глубин квартиры послышался дуловский «каздалевский».

«Всё города своего забыть не может. Пойдем, можешь накрыть стол...»

«Старуху-то выпусти», — сказал Долгомостьев, когда они проходили мимо чуланчика. «Зачем? — грустно взглянула на Долгомостьева Вероника Андреевна. — Она привыкла. Ей там совсем неплохо. Лучше, может быть, чем мне здесь...»

Если бы кто сказал Веронике Андреевне, что у них с Долгомостьевым самые банальные, какие тысячи лет уже бывали и будут всегда, отношения стареющей, последние деньки бабьего лета доживающей женщины с относительно молодым и в меру любезным любовником, она оскорбилась бы самым искренним, самым натуральным образом и ответила бы, что да, были такие отношения, не совсем, впрочем, такие, потому что тогда она вовсе и не доживала последние женские денечки, а была в самом, наоборот, расцвете, да и сейчас еще очень надо разобраться, но если такие отношения и были, то было это слишком давно, когда только появился в их доме талантливый мальчик, и не такая она дура, чтобы десять лет сохранять к нему искреннее расположение и привязанность, а до сих пор не отпускать от себя Долгомостьева есть у нее самый прямой и корыстный расчет, к делам любовным никакого отношения не имеющий. Ее Семен Ильич, — сказала бы она по секрету, — давным-давно такой же режиссер, какой и мужчина, и даже паршивой короткометражки снять не способен, а она достаточно ценит

заграничные поездки и фестивали, ради них и замуж выходила, и вовсе не собирается быть женою старпера, а, между прочим, чеховский «Поцелуй», принесший им с Семеном Ильичом и каннский диплом, и еще десяток премий, снимал фактически не кто иной, как Долгомостьев, хоть и числился вторым, а сейчас, когда он получил собственную постановку, и особенно надо быть с ним любезной, потому что зачем ему работать за старого идиота, если он может снимать сам? Тут единственное только, что самому ему никогда не позволят снимать *так и то, как и что* старому идиоту, не задумываясь, позволяют, — одна надежда. Ну, и личные контакты в этом контексте приобретают определяющую роль. Так она ответила бы.

Долгомостьев тоже не согласился бы, что у них «банальные отношения», потому что в его случае, не в пример случаю Вероники Андреевны, признать «банальные отношения» как раз и значило бы признать именно свою выгоду, а Долгомостьев, человек почти бескорыстный, свою-то выгоду признавать и не хотел: он, скорее, навывдумывал бы всяких сложностей-тонкостей: например, деликатность, что, дескать, больно стало бы Веронике Андреевне, если бы оставил он ее, даже готов был бы открыться, что побаивается любовницу до сих пор, и рассказал бы побасенку про львенка, который, как привык в младенчестве бояться собачку-шавку, так, и в огромного льва вырастая, ничего уже с собою поделать не может. Смешнее всего, что, снова, не в пример Веронике Андреевне, выдумывая, говорил бы он правду и что на деле-то никакой выгоды у Долгомостьева от связи с Вероникой Андреевной давным-давно не было, да и прежде особенно не было, разве принять за выгоду освобождение от опаски, что наделает она ему неприятностей. Но не десять же лет опасаться, да и всегда можно найти такие дипломатичные повод и форму для разрыва, что комар носу не подточит, а искал ли их когда Долго-

мостьев?.. Еще и то правду сказать, что связь-то, в общем, была крайне необременительной.

Так или иначе, но, пока накрылся стол, Вероника Андреевна и сама распалилась, и Долгомостьева распалила до того, что невозможно было признать в нем человека, еще какой-нибудь час назад так искренне переживавшего по поводу совсем иной женщины и собственной не вполне удавшейся жизни. Дело двигалось к банальной развязке: тут же, на огромной дуловской кухне, на неширокой мягкой кушеточке в углу, за ширмой, — но резкий звук взрыва откуда-то из дальних недр квартиры, взрыва, потом треска, падения, разлетающегося вдребезги стекла, а потом и крики «Каздалевский! Каздалевский! Вероника, ты посмотри! ты посмотри, что они наделали! вон из моего дома! вон! сами террористы! диверсанты!», и частый переступ маленьких шажков, — откинули любовников друг от друга, и только невероятное возбуждение вбежавшего вслед за собственными шажками мужа избавило его заметить некоторый беспорядок в одежде супруги и относительно молодого гостя. Седая шерсть топорщилась в распахе пижамной куртки, на которую он успел переколоть с уличного пиджака золотую звездочку; лицо покраснело; неспособный произнести больше ничего членораздельного рот хватал воздух. Вероника Андреевна, несколько подчеркнута суетясь, чтобы скрыть смущение, побежала в коридор, Семен Ильич за нею, и Долгомостьев, воспользовавшись временным одиночеством, застегнул молнию на джинсах и нижние пуговицы рубахи. До него глухо доносились разворачивающаяся вдалеке баталия, крики Вероники Андреевны: «Вы мне всю квартиру изгадили! вы Семена Ильича (тут генеральский басок хрипло выкрикнул: «Израйлевича, понимаешь, Израйлевича!» — и Долгомостьеву представилось, как высовывает Иван Петрович дразнящий язык), — вы Семена *Ильича* до инфаркта довели! шпана! мерзав-

цы! государственные деятели! я на вас в районный суд подам! чтоб больше я вас здесь не видела!», глухое бубнение мужских голосов и прорывающийся поверх всего «каздалевский» Дулова. Потом тяжело хлопнула наружная дверь, и Вероника Андреевна громко и настойчиво позвала Долгомостьева.

Огромная двуоконная комната, наполненная синим вонючим дымом, была вовсе без мебели, а занята вся сложным переплетением проволочных рельсовых путей, сходящихся и расходящихся на стрелках, ныряющих одни под другие и уходящих в тоннели, пересекающих по игрушечным мостам игрушечные же речушки с проточной водопроводной водою, подведенной резиновым шлангом сквозь стену, уставленных разноцветно горящими светофорами и глаголами семафоров, проходящих по зеленым холмам и долинам мимо миниатюрных будок и вокзалов. На платформах, обсаженных полиэтиленовыми кустами и деревьями, стояли крохотные фигурки станционных начальников в красных фуражках и небольшие, в рост туфельки Вероники Андреевны, виртуозно выполненные памятники Иосифу Виссарионовичу (полувоенная фуражка, кавалерийская, наглухо застегнутая шинель, одна рука за бортом, другая — в кармане), гипсовые, покрашенные алюминиевой краской. Долгомостьев вспомнил, что точно такой же, только нормального, в полтора человеческих, роста стоял в его детстве перед вокзалом в У. Один из трех мостов был разворочен взрывом, рельсы-проволочки торчали в разные стороны, десятисантиметровый паровоз выглядел тендером из водопроводной реки, а по ватной, в одном месте вспоротой изумрудной траве берега было раскидано штук пять красных товарных вагончиков. Другой поезд, пассажирский, зеленый, уткнулся в поваленный столбик семафора и истерично крутил колесами, не в силах сдвинуться с места...

«Видишь, что наделали?! — плакался Дулов. — Каздалевские... Это всё Ванька... Он давно меня провоцировал на диверсию. Самое, — говорит, — милое дело. Себе завел бы дорогу и устраивал... А тут я на минуточку только и отлучился: звездочку переколоть, — и пожалуйста... Каздалевский... А и Вячеслав Михайлович хорош: дайте поуправлять, дайте поуправлять! Доуправлялся, маразматик! Пермь ему слово не нравится! У меня тут одних электрических стрелок восемнадцать штук! Тут голову иметь надо, а не задний проход! А он всё из себя управляющего корчит, Кагановича...» — «Ты успокойся, Семен Ильич, — говорила с корточек Вероника Андреевна. — Успокойся. — Она уже выдернула вилку из сети и перекрыла кран, а теперь собирала товарные вагончики, стряхивала воду с паровоза, продувала в нем какие-то отверстия, раскручивала наманикюренным пальчиком колеса. — Ничего страшного. У нас и запасные рельсы, кажется, есть... Вот пообедаем и всё поправим. И травку заклеим. А этих больше и на порог не пустим — я давно говорила, что такая дружба до добра не доведет. Тут тебе, кстати, со студии звонили, приглашали завтра картину принимать. А они что? — одним словом: пенсионеры...»

Несколько успокоенный, Семен Ильич ушел в соседнюю комнату за запасными рельсами, и Вероника Андреевна улучила минутку, кивнув вслед мужу, шепнуть Долгомостьеву: «Совершенно нормальный человек. А как сойдется с этими — в детство впадает». Насчет «совершенно нормального» Вероника Андреевна, конечно, преувеличивала — в Дулове и десять лет назад явственно проступали первые признаки маразма, он и тогда кричал «каздалевского», и тогда путал людей, но всё ж какая-то острота (на поведение собственной жены никогда, впрочем, не распространявшаяся) в нем была и даже до самого последнего времени сохранялась. Еще прошлой зимою Долгомость-

ев, по обыкновению присутствуя на занятиях его во ВГИКе, был свидетелем показательного эпизода: Семен Ильич, делясь со студентами событиями легендарной своей молодости (не прокурорской, кинематографической), рассказывал, что в творческой мастерской Кулешова вместе с другими китами и зубрами советского кино крутил кульбиты, а один из студентов, безо всякой, впрочем, видимо, задней мысли, а искренне, желая сделать комплимент, сказал, что, дескать, Семен Израйлевич (Семен Ильич втайне любил, когда его называли Семеном Израйлевичем) и теперь хоть куда, и теперь вполне способен на кульбиты, — Семен Ильич двусмысленность уловил, хоть и виду не подал, а на ближайшей же сессии студента того отчислил, — Долгомостьев и на экзамене присутствовал. А тут — и слезы в голосе, и игрушечные станционные начальники с ручками на шарнирах... Долгомостьева именно эти начальники почему-то особенно поразили. Да еще вот памятники! Дулов, как пострадавший космополит, вроде бы раньше не очень жаловал усатого, даже подчеркнуто, публично не жаловал — он и ленинские картины свои снимал вроде как усатому в упрек (хоть того уж и в живых не было): вот, дескать, *каким* следует быть вождю! — к чему бы это теперь такая перемена в симпатиях? Но тоже сказать и страдание: вывели в пятидесятом в отставку — пенсия по верхнему пределу — из прокуратуры, а спустя три года разрешили вернуться в кинематограф... Может, к концу жизни мелкие обиды забываются, и яснее становится, что обидчик твой не только обидчик, а еще и идеальный выразитель идеи, на которую положил ты всю свою жизнь? Символ имперского величия, просветления, соборности?..

Мало-помалу Семен Ильич успокоился вполне, и пошли обедать. Едва уселись, просвистал соловьем французский дверной звонок. «Я открою, не беспокойтесь», — на правах друга дома упредил Долгомостьев

привставшую было Веронику Андреевну. За дверями опасно стоял Молотов, из-за угла лифтовой шахты выглядывал мутный *ванькин* глаз. «Жену отдавайте, — буркнул Вячеслав Михайлович. — Не имеете права задерживать. Город отобрали, а жену — не имеете права...» Долгомостьев незаметно взял со стола пару кусков хлеба и сунул в руку Жемчужиной, когда выпускал ее из кладовки. Жемчужина благодарно посмотрела в ответ, и хлеб мгновенно исчез под куцей полою полосатой ее телогрейки. Заметившая манипуляцию Вероника Андреевна ехидно взглянула на Долгомостьева, и тот покраснел.

К икре, — ну, то есть, к тому, что ее много и *можно есть*, — Долгомостьев привыкнуть не мог никак, хоть и привыкал чуть не ежедневно вот уже лет семь (так, говорят, блокадные дети до старости не могут привыкнуть к хлебу), и сейчас, толсто намазывая ею поверх масла кусочек бородинского, поймал новый взгляд Вероники Андреевны, не ехидный уже, но влажный. Та, убедившись, что Долгомостьев видит ее глаза, легко повела ими направо, в сторону ширмочки, кушеточки, и этот поворот глаз, этот намек почему-то навел Долгомостьева на прерванный час назад вопрос: старуха... Каплан... «Что ж ты, Семен Ильич, не рассказал про Фани Исаковну? — в ответ Долгомостьеву сказала Вероника Андреевна, но, едва Семен Ильич, давясь, с полным ртом, начал: «Ну, каздалевский, значит...» — прервала его: — Ладно, молчи уж, ешь... Не рассказал вовремя, так теперь я сама...»

И Долгомостьев услышал невероятную историю, как сорок три года назад попала на стол свежеепеченного следователя прокуратуры, бывшего и будущего кинорежиссера Семена Дулова подметная бумажка, подписанная намеренно плохоразборчивым каракулем Ф. не то Каплун, не то Колун. Бумажка была доносом на некоего гр-на Сидорова А. Б., который был заме-

чен Ф. Колуном (Каплуном) в подозрительной трезвости по великим пролетарским праздникам седьмое ноября, первое мая, двадцать первое декабря и день парижской коммуны. Ординарный следователь, не обладающий нюхом и талантом Семена Израйлевича, не долго думая, засадил бы трезвенника Сидорова лет на восемь, но Семену Израйлевичу что-то в доносе показалось подозрительным, вспомнился кинематографический опыт сюжетосложения, и он начал разыскивать самого заявителя. Применив затверженное еще на студенческой скамье классическое «кому выгодно», он затребовал список жильцов квартиры Сидорова и сразу же нашел, кого нужно: Фани Исаковну Каплан. Разумеется, Каплан! Не Колун и не Каплун, а именно Каплан! Вот что подсказывала ему творческая интуиция!

Дулов, конечно, понимал, что это не могла быть *та самая*, уже хотя бы по возрасту не могла, но все же навел справки. Как и следовало ожидать, *ту самую* расстрелял в день покушения лично комендант Кремля, — туда ей и дорога! И тут ординарный следователь прекратил бы раскопки, тем более, что были они далеко не безопасными — за излишнее любопытство Дулов сам чуть не слетел (а тогда летали ой как далеко-о!), — но Семен Израйлевич гениально угадал, какую огромную выгоду может извлечь из этого дела государство. Во-первых, если гражданку Ф. Каплан посадить — не выйдет честным советским гражданам соблазна, распространяемого самой ее одиозной фамилией; во-вторых же и в-главных: попав в лагерь, станет она живой иллюстрацией великого гуманизма советских законов, которые уж если не карают расстрелянием самоё Фани Каплан, так можно себе вообразить, *каким* преступникам назначают лагерь. А ведь в лагере-то ей никто не поверит, что она *не та самая*. И слухи пойдут. А слухи, что Ленин *ту, свою*, простил — так и давно ходят.

Итак, Сидоров-трезвенник случайно остался на свободе и даже неожиданно улучшил жилищные условия (на что, сочиняя донос, рассчитывала недальновидная его соседка), а Семена Израйлевича за блестяще задуманную и проведенную операцию повысили в должности и наградили первым орденом — «Знаком почета». Еще бы — выловить и обезвредить самое Фани Каплан!

В пятьдесят шестом Фани Исаковна вернулась и разыскала Дулова. Тот сперва испугался, бегал от нее (он в те годы ото многих бегал), но она не мстить и не стыдить пришла, не в глаза смотреть, а *благодарить*. Если б не Дулов, — сказала она, — никогда бы не обрести ей сознания цельности, осмысленности жизни, которое есть у нее теперь: за минувшие девятнадцать лет она твердо уверилась, что она *та самая* Фани. «Вы были правы, Семен Израйлевич. Вы открыли мне глаза. Вы мой крестный...»

«Действительно, любопытная история. Несколько беллетризированной, но любопытная. А Семен-то Ильич! Хорош!» Семен Ильич и всегда, впрочем, был хорош! Долгомостьев помнил рассказы его о Крыме, о подполье, о том, как, просидев несколько недель в контрразведке у белых, разгулялся потом бывший студент-юрист Таврического университета, помнил и под огромным секретом рассказанную историю, как судил он — якобы по тайному приказу предсовнаркома — восьмерых священнослужителей (высшая мера социальной защиты) и сам приводил в исполнение, как после этого случая, полгода спустя, что ли, стало ему не по себе и с огромными сложностями *отпросился* он из Органов, сумев, впрочем, напирая на известное предсовнаркома высказывание, что «изо всех искусств для нас важнейшим является кино», вырвать у них напоследок направление на «Межрабфильм-Русь», как в тридцать седьмом, когда в кадрах ощутилась серьезная нехватка, в приказном порядке вернули его назад

— не в Органы, правда, — в прокуратуру (большая разница)! По поводу же высказывания Долгомостьев поделился тогда с Дуловым непроверенной версией, будто знаменитые эти слова были произнесены вождем в беседе с Луначарским и звучали первоначально несколько по-другому: «Изо всех *этих* *ваших* искусств...»

Вероника Андреевна тем временем разливала в тарелки с поздней клубникою сливки — домработница вытребовала отпуск, уехала к сестре, в Ставрополье, — но у Вероники Андреевны и у самой получалось хорошо: пока Дулов с Долгомостьевым набивали рты куриной лапшой и запеченными в духовке кусками полусырой вырезки, она успевала и переменять посуду, и рассказывать, и сама, как птичка, поклевывала с тарелки то одно, то другое. Сорокапятилетняя птичка.

«Ну и что? Какой же смысл обрела Фани Исаковна в жизни?» — осведомился не Долгомостьев, а тот, рожденный ролью, сидящий внутри Долгомостьева. Вероника Андреевна молча ела клубнику. Дулов тоже. Картавый чуть было не повторил свой вопрос, но Долгомостьев понял, что его слышали и с первого раза, и остановил картавого. Зависла пауза. Как шутили у них в институте культуры: входит Пауза. Девушка такая: Пауза по имени. Наконец, Дулов зловеще ответил: «Какой-какой? Ясно какой! Каздалевский!» — но, несмотря на любимое словечко, — словно как не Долгомостьев спрашивал, так не Дулов это отвечал. Долгомостьев сглотнул вязкую, нехорошую слюну.

«Иди, Семен Ильич, приляг после обеда, — сказала Вероника Андреевна, когда Дулов съел добавку и еще добавку. — Или лучше погуляй, подыши воздухом». — «Не пойду, — капризно ответил Семен Ильич. — Там меня *эти* поджидают. Бить будут...» — «Не будут, не будут!» — настаивала на своем Вероника

Андреевна, но тут очень неловко влез Долгомостьев с тем, что он, увы, уже убегает, потому что через час у него поезд, и получилось так, что он намекает Веронике Андреевне, что не стоит Семена Ильича гнать на улицу, потому что все равно незачем. Семен Ильич, впрочем, неловкости не понял, а поняли только Вероника Андреевна (и то не как неловкость, а как обиду, — и надула губки) да сам Долгомостьев (и покраснел). «У меня, знаете, поезд», — снова промямлил он и для доказательства, которого никто с него и не спрашивал, вытащил из кармашка два картонных билетика. «С кем это ты едешь? — ехидно удивилась Вероника Андреевна. — Не с оператором ли?» — «С оператором, — совсем уж шепотом соврал Долгомостьев. — С Иваном Васильевичем». — «Эсвэ?» — ехидство Вероники Андреевны, разглядывающей на свет картонные прямоугольнички, потеряло предел...

«Каздалевский! — услышал Долгомостьев, когда, пробежав в обход лифта по двадцатидвухпролетной лестнице — в надежде разогнать смущение, с которым покинул гостеприимную квартиру, — оказался на улице. — Каз-да-ле-е-е-е-е-евски-и-ий!..» Он задрал голову. Дулов, свесившись из окна, кричал: «Ты новость слышал? Наденька-то наша в дурдом загремела... Вот так вот: в сумасшедший до-о-о-о-о-о-ом... Хе-хе-хе-хе-хе...»

Долгомостьев выбежал из двора и пустился по желтому изогнутому переулку. Безумные глаза лысой старухи, улыбаясь, провожали его.

Поначалу переулок был безлюден, словно натура, подготовленная для съемок научно-фантастической картины о нейтронной войне. Но вот навстречу попался грузин, с ловкостью эквилибриста несущий на полувытянутых руках к желтым «жигулям»-универсалу четыре один на другой составленных ящика с финским черносмородиновым соком; потом два летчика-офицера, громко размахивая друг к другу руками, вы-

нырнули из-за угла; продавщица в синем халатике, с фирменным значком на правой груди, перебежала дорогу; вот переулок влился в другой переулок, пошире, а вдоль него, слева и справа, стояли блестящие, вымытые разноцветные автомобили; вот уже и улица Горького зашумела, показалась в вырезе высокой арки, и Долгомостьев вклинился в не слишком против обычной густую, но все-таки *толпу*. Люди навстречу попадались всё здоровые, молодые, веселые, а если и озабоченные, то чем-нибудь непременно приятным, вроде, например, покупки некой красивой вещи или выбора ресторана, где уютнее всего было бы сегодня поужинать. Нельзя сказать, чтобы они улыбались Долгомостьеву, но и ничего зловещего не было в их лицах, и даже милиционеры, которых много попадалось навстречу, казались вежливыми и добродушными, как в довоенных и первых послевоенных фильмах.

«А что? — подумал Долгомостьев. — С чего бы им хмуриться и злобиться? Ведь действительно — жить-то у нас стало хорошо. Вот хотя бы по сравнению с теми временами, о которых рассказывала за обедом Вероника Андреевна. Которые где-нибудь в Иране или, скажем, в Кампучии как раз в полном разгаре, а у нас — кончились. Ведь сколько уже лет можно спокойно засыпать в собственной постели, не прислушиваясь к шуму каждого проезжающего мимо автомобиля, не опасаясь ночного звонка в дверь! Да и голодающих я что-то тоже не встречал, хоть и в провинции. Даже если в магазинах пусто, в любом доме, куда ни зайдешь, — чего только нету на столе. Не говоря уже о деревне. И одеваются хорошо... И квартиры получают... Ну, может, не Бог весть какие, а всё ж отдельные, и уже не всякий миг твоей жизни проходит на глазах общественности. Да и общественность не очень лазит в чужие кастрюли, словно совсем ее, общественности, не стало. Рассосалась... А кому очень приспичит — тот и любой номер «Континента»

достанет, и собрание сочинений Солженицына. Оно ведь и во все времена серьезные книги немногие читали. Эстонцы вон финское телевидение смотрят, а кое-кто и шведское... И так вот, мало-помалу, не дергаясь, не кидаясь в крайности, и надо, наверное, жить, и с каждым годом будет все лучше и лучше, все спокойнее и богаче, а там, лет через двести, и все равно, вероятно, станет, как жизнь эту называть: коммунизмом или еще чем-нибудь. А чтобы не раздражаться на очереди и мелкие несправедливости от начальства, которые тоже есть жизнь, одного только и требуется: перестать обращать внимание на лозунги и прочую пропаганду, перестать злорадно ловить власть на слове, что вот-де вы говорите, что идеально, что лучше всех, а на самом деле не идеально и не лучше всех... Ну, пусть не лучше, пусть средне — это-то ведь тоже хорошо! А они — пускай себе говорят, что им нравится, в конце концов, это их дела... А жизнь воспринимать просто, как данность, как безвозмездный подарок судьбы, и с любовью и благодарностью строить в ней человеческие отношения с близкими, уютно обставлять дома и растить добрых и счастливых детей... А ведь большинство-то давно уже так и поступает. И на лозунги не то что внимания не обращает, а улыбается им, как улыбнешься порой щенку, самозабвенно гоняющему никому не нужную палку...»

В метро было совсем свободно, вежливый голос дублировал названия станций по-английски, и от этого знакомые слова остраннылись, заставляли вслушиваться в себя, проникать в смысл.

...И с Рээт надо будет повести себя, будто ничего особенного не случилось. Тогда так оно и окажется, что не случилось, а просто стечение обстоятельств. Ну, то есть, конечно, поинтересоваться, что ее задержало, и даже можно с некоторой обидой, но и непременно с полной уверенностью, что ничего не случилось и случиться не может.

А потом улыбнуться и спросить: «Ну, может, наконец, ты поцелуешь меня?..»

4. ДЕНЬ ДА НОЧЬ — СУТКИ ПРОЧЬ

«Нет, — ответила Рээт. — Я тебя не поцелую. Я тебя никогда больше не стану целовать...» — «Ну тогда дай я поцелую тебя, — еще шире, еще безмятежнее улыбнулся Долгомостьев. Он знал уже, что *всё*, он и утром, на вокзале, знал, что *всё*, и днем, на Красной площади, — но тут одна оставалась надежда, нет, какая, к чёрту, надежда! — один способ вести себя: не знать и не понимать. — Ладно-ладно, я пошутил. Но поговорить-то с тобой можно? Хоть спросить у тебя *почему* — можно?»

Рээт застегнула под простыней пуговку на юбке, подумала, что надо бы попросить Долгомостьева отвернуться, что нехорошо ей прыгать с верхней полки при нем, а потом подумала, что вот как раз для такого разговора нехорошо просить отвернуться — все равно, что кокетничать, наводить внимание Долгомостьева на собственное тело, — и тогда оперлась правой рукою на соседнюю полку, напрягла бицепсы и бросила тело в центральный провал купе, чуть не задев напедикюренными ногами Долгомостьева, и, едва коснувшись бордового коврика, — поезд мягко тронулся. Рээт села к окну, «ну, спрашивай, — сказала, — что б ты хотел услышать?» и кивнула Долгомостьеву на место напротив, через столик. «Тут в пятом вагоне у меня свободное эсвэ. Специально купил — для нас с тобою. Чтобы ехать вдвоем. Может, перейдем туда?» — «А кто тебе мешает разговаривать здесь?»

А ведь и действительно не мешал никто. Кроме нее и Долгомостьева, пришедшего *в гости*, в купе никого не было. Долгомостьеву и не подумалось, когда

заказывал он на студии два СВ, что в поезде, соединяющем заблокированные олимпийские города, может оказаться так просторно. Впрочем, если б и подумалось, все равно он заказал бы, чтобы наверняка провести ночь с Рээт, чтобы не рисковать, — не так-то часто подворачивалась такая возможность. Собственно, всего дважды. Да к тому же, все равно директор картины билет ему оплатит. Придумает как.

Пустота в купе и для Рээт была неожиданна, и в любом другом случае Рээт только бы радовалась, но тут... Лучше бы уж какие-нибудь соседи, какие угодно, хоть с младенцем. Конечно, при соседях она не стала бы объясняться с Долгомостьевым, вышла бы в коридор, в крайнем случае — в тамбур, но вот в этом-то всё и дело: мимо ходили бы время от времени люди, разрушая совершенно не нужный ей для сегодняшнего разговора интим. Честно сказать, она боялась Долгомостьева, боялась, что он снова ее *уговорит*... А пуще боялась себя, что и без уговоров бросится ему на шею, потому что любила его, потому что в ней был его ребенок, потому, наконец, что с горизонта исчез Велло, и Рээт на какое-то стыдное мгновение ощутила, что рада, что он исчез. Тем более, надо было держаться особенно твердо.

Долгомостьеву чуть не до слез стало обидно за свои хлопоты: за цветы, за ключи от ответовой мастерской, за СВ особенно, хоть как раз СВ-то ничего ему не стоил — ни в смысле денег, ни в смысле хлопот, — и он подумал: не уйти ли? В конце концов, он перед нею ничем не провинился, и она еще пожалеет, еще извиняться будет. Но это промелькнуло секундой, потому что тут же, тем же прежним холодком под желудком, понял он, что, если уйдет, Рээт, может, действительно и пожалеет, но извиняться не будет, а когда он, не выдержав, вернется (конечно, вернется — куда ж он денется!), она, как и в первом своем воплощении, просто произнесет то же самое

слово: *мразь* — и не станет ни слушать, ни разговаривать. И — самое смешное — будет права. А Долгомостьев очень боялся потерять Рээт. Боялся, быть может, из самолюбия, и, значит, другое самолюбие, теперешнее, мелкое, следовало спрятать в карман ради самолюбия главного и попробовать *уговорить*.

Долгомостьев знал и по наблюдениям, и с ее признаний, как действуют его слова на Рээт, да и понимал, что, кроме как языком, женщин ему покорять больше нечем: внешность, собственно, была у него весьма плюгавенькая. И отдалась-то ему Рээт в первый раз исключительно через разговоры.

Они уже Бог весть сколько встречались, и целовались часами под соснами Нымме, так что Рээт уже покачивало, пошатывало у Долгомостьева в руках, да и сам он, возвращаясь в два-три ночи в гостиницу, едва передвигал ноги от боли (такого с ним не случилось чуть ли не с семнадцати лет, с той, первой, Рээт), но *далее* она Долгомостьева не пускала. Прямотаки, если б не ее возраст, можно подумать было, что она еще *девочка*. Да Долгомостьев бы несмотря и на возраст так подумал, когда б не знал точно, что она была замужем.

Долгомостьев и так, и эдак пытался с нею заговаривать, Рээт отвечала, что да, конечно, и она любит, и она *хочет*, но никогда в жизни не ходила и не пойдет в гостиницу, а ее дом — это не ее дом, а дом ее матери и покойного отца, и там она тоже не посмеет *грешить*. Она говорила, что обязана уважать себя, что это единственная ее обязанность и, если угодно, прихоть. Долгомостьев не верил: что-то, казалось ему, Рээт скрывает.

В тот вечер, когда Долгомостьев зашел за нею — собирались на польское авто-родео, — матери дома не оказалось, а пока Рээт одевалась, полил такой дождь, что волей-неволей они вынуждены были остаться дома.

Рээт нервничала, не находила места, но, наконец, придумала, чем заняться: пошла варить кофе. Долгомостьев двинулся было за нею, но она не позволила ему переступить и порога: мужчинам на кухне делать нечего. Оттого что Рээт нервничала, оттого что в квартире они были одни, а за окном шумел дождь, оттого что в комнате стоял мягкий сумрак, в котором особенно отчетливо белела краями из-под пледа постель Рээт, оттого, наконец, что самое Рээт долго не было в комнате, но близкое ее присутствие улавливалось слухом и распространяло аромат прожаренного кофе, Долгомостьеву так захотелось ее, как не хотелось никогда, даже там, под соснами, и, едва она вошла и осторожно опустила на столик поднос с джезвой, сахарницей и чашками, Долгомостьев обнял ее сзади, крепко смял грудь, стал медленно разворачивать Рээт к себе, чтобы поцеловать и уже не выпускать из поцелуя, пока они не окажутся в белеющей рамке постели, пока он не *возьмет* ее и они не откинутся головами на подушку, обессиленные и счастливые. Тогда очень хорошо будет выпить кофе, и не беда, что он успеет остыть.

Но Рээт оказала неожиданное и сильное сопротивление, оттолкнула Долгомостьева от себя: «Ты хочешь, чтобы я тебя выгнала?» Долгомостьев сел в угол, в кресло, и стал молчать. «Я ж тебе всё объяснила», — сказала ему, извиняясь, Рээт и подала чашечку. Долгомостьев крупными глотками выпил кофе, поставил чашечку на ковер — ему не хотелось вставать — и начал говорить. Говорил он об их любви и об их возрасте, о сложности мира и относительности принципов, о пределе, до которого можно унижать мужчину и после которого нельзя, и еще о чем-то, о чем-то и о чем-то, чуть ли, кажется, не о третьей мировой войне: в голове его не было никакого плана, он сам не знал, куда понесет его в следующую минуту. Голос его был намеренно тих и ровен, речь плавна и внятна, и в ка-

кой-то момент Долгомостьев, увидев и услышав себя со стороны, чуть-чуть улыбнулся, потому что, конечно же, это был не он, а какая-то сцена из какого-то фильма. Из интеллектуального шлагера. Из Жан-Поль Сартра. Не картавый ли это? — усомнился Долгомостьев, — но нет, — подумал, — на картавого не похоже.

«Минуточку, — сказала Рээт. — Подожди меня минуточку». И вышла. Долгомостьев мог ожидать всего — только не того, что случилось дальше. Рээт вернулась в одном розовом прозрачном пеньюарчике, отвернула угол пледа на постели, легла, согнула ноги в коленях и расставила их. Всё это она проделала с такою уморительной серьезностью, что Долгомостьев еле удержался, чтобы не прыснуть. Порыв его страсти прошел давно, в первую же минуту монолога, и срочно следовало перестраивать себя, чтобы не обидеть Рээт и не упустить момента. Вот такие дела.

Но теперь, в купе, прежде чем начать уговаривать, следовало что-то сдвинуть, переменить в атмосфере. Следовало, очевидно, показать себя *хорошим и несчастным*. Нет, не то что бы Долгомостьев так точно и цинично обо всем этом подумал, но нечто подобное, вероятно, промелькнуло в нем, потому что он тут же полез в карман, достал небольшой пакет и протянул Рээт: «Вот. Это тебе». Рээт развернула бумагу и чуть-чуть (Долгомостьев, однако, заметил) покраснела: шесть спичечных коробков — японский, два американских, фээргэшный и два испаноязычных, точнее не разобрала, — таких в ее коллекции не было. Три коробка полные, ни одного штришка на терках, два — пустые, но в очень приличном состоянии, а от японской пачки оторвано всего три картонных спичинки. Рээт еще со школы собирала спичечные коробкí, но никому о своем увлечении не рассказывала: стеснялась. Даже Велло о нем не знал. А Долгомостьеву призналась однажды, в хороший, доверчивый миг.

Рээт взглянула на Долгомостьева — не смеется ли над нею? — нет, глаза его были нежны и серьезные.

Тогда Рээт полезла под сиденье, достала чемоданчик, нешироко, чтобы Долгомостьев не увидел содержимого, приоткрыла на коленях, порылась и вытащила блок «филипп-мориса». «Это тебе... Нет, ты не думай... Это я действительно покупала для тебя...» (Покупала-то она для Долгомостьева, но еще позавчера решила, что отдаст Велло, а сегодня решила, что отправит Велло с передачею.) Долгомостьев, впрочем, и не подумал бы, не скажи Рээт «ты и не думай». «Ну, а в чем же тогда дело? — начал он свой *уговор*. — Что такое произошло, что ты больше никогда меня не поцелуешь? Чем я сумел обидеть тебя?..»

Дверь отъехала в сторону, и в проеме остановилась проводница. Останкинская башня медленно плыла за ее спиною. Проводница произнесла по-эстонски короткую фразу, и только когда Рээт сказала в ответ «палун» (Долгомостьев знал, что это — «пожалуйста») и протянула прямоугольник билета, он задним числом разобрал во фразе проводницы слово «пилетт». Проводница вошла в купе, присела на край диванчика, раскрыла на коленях коричневый коленкорový складень и засунула картонку в соответствующий кармашек. С тою же фразою обратилась к Долгомостьеву. Рээт что-то по-эстонски ответила за него, и проводница ушла. «Нет, пожалуй, не помешала... Не разрушила атмосферы, — оценил Долгомостьев. — Скорее наоборот: заставила Рээт взять его под свое покровительство, как это бывало всегда, когда они в Таллине ходили в кафе или в театр».

«Видишь ли, — начала Рээт. — Ты скоро закончишь съемки и вернешься домой. У тебя жена. У тебя дом. Вот и все причины. Только не говори мне, что ты разведешься, — даже если это и правда, я никогда не соглашусь строить семью на несчастье другого человека...» — «Но ты любишь меня? — спросил

Долгомостьев. — Любишь или нет?..» — «В данном случае это не имеет значения...»

Долгомостьев замолчал. Паузой он набирал разбег для решающего монолога. Поезд прогрохотал по мосту — они въехали в Московскую область. Долгомостьев выхватил взглядом знакомую крышу за окном, показал Рээт: «Видишь? Во-он желтый дом, изогнутый. Это институт культуры. Я учился там лет десять назад, еще до ВГИКа...» Это пока тоже был не монолог. Интерлюдия. Своеобразное продление паузы. Еще одно средство уточнить атмосферу. Монолог начался где-то в районе Сходни.

Говорил Долгомостьев не хуже, чем всегда, даже, возможно, несколько лучше, это смотря с какой стороны смотреть, с позиций какой актерской школы оценивать: страсти в нем прибавилось против обычного, и страсти самой искренней, но исполнение от этого стало несколько менее филигранным. За окном промелькнуло Крюково, за ним — Подсолнечная, за нею — Покровка, а Долгомостьев всё говорил. Рээт неподвижно сидела, плотно сжав губы и сфокусировав глаза на бесконечность. Впрочем, Долгомостьев плохо ее видел: монолог отнимал все внимание, да и в купе начало темнеть — солнце ушло за лес, в низины под железнодорожным полотном натекло плотного тумана, — так она, во всяком случае, сидела минут сорок назад, и Долгомостьеву, всему поглощенному собственным монологом, казалось, что ничего не изменилось в ней. Тут бы Долгомостьеву побольше наблюдательности и объективности, в собственных же интересах побольше бы, — но откуда взяться замечательным этим качествам в столь увлеченном, заинтересованном собою человеке? — тогда б не пропустил он момента, когда Рээт *сломалась* и только одни губы ее, теперь уже вовсе не так плотно сжатые, как прежде, беззвучно складывались время от времени в автоматическое «эй» — «нет», — и не решил прежде вре-

мени, что пора остановиться, что дальше будет уже смешно, что надо либо уходить, либо менять что-то в способе воздействия на слушательницу.

Но он решил — а уйти не мог никак. Еще у Крюково мог, еще у Подсолнечной мог, а теперь — нет. И уже не из-за страха потерять Рээт (об этом чуть ли и не забылось): просто слишком много энергии вложил он в монолог — даже слезы просвечивали в голосе, — чтобы отступить без ущерба для самоуважения. И тут вдруг, непрошенно, пришел на подмогу картavyй и шепнул на ухо, что в определенные моменты женщина просто *ждет* от мужчины немножко насилия, — и тогда Долгомостьев встал, вылез из-за столика и двинулся на Рээт, чтобы обнять ее.

А она, совсем уже было *готовая*, снова схлопнулась, собралась, задервенела. Эпизод в Ваяну-Йыэсуу, красочное описание которого Долгомостьевым словомало ее несколько минут назад, в мгновение повернулся совсем другой стороной.

В Ваяну-Йыэсуу Рээт встретила шесть последних дней своего рождения. Двадцать девять — это был последний возраст, проводить который Рээт пригласила друзей. Потом, как раненый зверь, забивалась она в этот день в нору — в микроскопический фанерный садовый домик, который предоставляла ей коллежанка, — и там в одиночестве выпивала бутылочку «Вана Таллина», полола грядки, думала, слегка поплакивала, рано ложилась спать, а утром, искупавшись в море, в прозрачном устье Ваяну-Йыэсуу, отправлялась на автобус и являлась на службу как ни в чем не бывало — благо, по пути. Даже Велло на эти грустные одинокие праздники не был допущен ни разу.

А Долгомостьева она позвала.

На консольном столике, покрытом крахмальной салфеткою, стояла стограммовая бутылочка коньяку, миниатюрная рюмочка, круглый домашний пирог, так плотно утыканный желтыми свечечками, что сам был

едва за ними виден, и десяток ягод крупной клубники на тарелке. К пирогу прислонена была открытка. Рээт взяла ее, прочла, чуть пришевеливая губами, коллежанкино поздравление и не удержала подступивших к глазам слез: хоть в каждый из шести этих последних лет коллежанка устраивала ей одинаковые сюрпризы, Рээт привыкнуть всё не могла и сентиментально расстрагивалась. Она не знала, что Долгомостьеву при взгляде на неприхотливое убранство стола пришел на память намогильный холмик в сороковины или что-то в этом роде, особенно когда Рээт положила на салфетку подаренные Долгомостьевым час назад цветы.

Здесь, в Ваяну-Йыэсуу, Рээт не сопротивлялась: и сразу, едва выгрузили они из сумок привезенные с собою еду и выпивку, и потом, после именинного обеда, и еще раз, после прогулки с купаньем; ей было хорошо, но она чувствовала, что не вполне хорошо Долгомостьеву, и ее это неприятно беспокоило. Она толком не могла понять, в чем дело, и спросить стеснялась, а потом догадалась, кажется, что Долгомостьев ждет от нее каких-то особых реакций (ей рассказывали): крика, чуть ли не потери сознания, — и она попробовала издать что-то нечленораздельное, хотя прекрасно могла обойтись и обходилась всю жизнь, и сразу же заметила, как понравилось это Долгомостьеву, и тогда начала смелее, еще смелее... Дальше она стала пощипывать, покусывать Долгомостьева, однако всё боялась, что он разглядит подделку и обидится; но нет — Долгомостьев ликовал. Он больше не спрашивал: «Тебе что, разве плохо со мною?» Ну что ж — Рээт очень была рада, что сумела, наконец, доставить ему удовольствие, тем более, что оказалось это совсем несложно. «Ведь это с тобою было в первый раз? — напористо спросил Долгомостьев минуту спустя, — скажи, в первый?» — «В первый», — скромно ответила Рээт — чего ради было ей огорчать своего любовника? Да и действительно — в первый.

Долгомостьев весь как-то сразу переменялся: стал спокойнее, увереннее, нотки превосходства появились в его голосе, и Рээт, усталая, убаюканная, не зная, что это голос уже не Долгомостьева, а картавого, слушала с удовольствием, особенно не вдаваясь в смысл того, что он произносит. Но это до поры — до времени. Когда слова Эстония и Россия стали повторяться слишком часто, Рээт насторожилась, и уже не лень стало ей переводить, а картавый, оказывается, говорил чёрт-те что: про то, что да, конечно, право на независимость — право священное, но как все ж приятно сознавать, что принадлежишь к могучей державе, к империи, и что, на его взгляд, коль уж страна твоя не способна, не в силах стать великой, так, может, лучше и примкнуть ей к великому соседу? А что Эстония? Что она, сама по себе, дала когда-нибудь миру, цивилизации? «Калевипоэг»? Пусть Рээт сходит в симфонический концерт: эстонцы же *немузыкальны* (он так и выделил это слово, как обозначающее особое, стыдное какое-то преступление). А язык? Ты можешь назвать эстонского поэта, прозаика, драматурга с мировым именем? «Ну, вообрази себе, — говорил Долгомостьев, — вообрази, что вы снова независимы... Что вас тогда ждет? Ленивое, сытое, полусонное существование, при котором мечта каждого школьника — стать дантистом, потому что они зарабатывают больше других в стране, где все так заботятся о довольной улыбке?» Он бывал в частных районах Пирита, видел эти двухэтажные коттеджи с саунами, гаражами и катерами на крышах, с круглыми окнами и злыми собаками на цепях, с заборами, чуть ли не колючей проволокой обтянутыми. Что? Это — цель? Это — идеал? «Посмотри на шведов, на датчан! Я уж не говорю о финнах... А как же иначе? Пусть в империи голодно, пусть нету свободы, пусть полицейское давление, но ведь только под гнетом и выковывается истинно высокий дух...» Рээт привстала с

лежанки, натянула на себя одеяло: ей стыдно показалось быть сейчас голой. Глаза ее похолодели. «Ты что? — сказала она. — Ты думаешь, что ты говоришь? Ты понимаешь, с кем ты разговариваешь? Ты знаешь, за что погиб мой отец?..»

Долгомостьев словно очнулся из какого-то не то сна, не то бреда. Не слишком ли, действительно, дал он волю картавому? Тут не в том даже суть, что не стоило говорить всего этого *эстонке* — даже не не стоило, а недопустимо было, глупо, опрометчиво! — а в том, что сам Долгомостьев никогда так *не думал!* Мыслей таких в голове не держал! Начни подобное проповедовать кто-нибудь в его обществе — Долгомостьев пресёк бы, а если из собственного дома, так чуть бы и не выгнал! И вдруг на тебе, пожалуйста! Своими устами! Неужто коньяк разбудил картавого? Неужто ощущение власти над женщиной открыло картавому власть над ним самим, над Долгомостьевым? Нет, ничего ни на кого не собирался он сваливать, но одно дело, если бы он где-то там, в глубине души, скрывал подобные мысли... А ведь у него же их и *не было никогда!* Случалось ему, правда, раз другой пожалеть об упущенных царем Аляске и Аляске, о проигранных позже Польше и Финляндии — но эта жалость была какая-то такая, *теоретическая*, и если б всерьез спросили его мнения: не вернуть ли их назад? — он непременно ответил бы, что не вернуть и даже всех выпустить, кому хочется, хоть бы и туркменов.

Вот об этом и стал говорить Долгомостьев, и были в его голосе искренность и раскаянье, но, главное, Рээт так не хотелось ради своей — как в самой-самой глубине души она чувствовала — *надуманной* обиды разрушать интимно-праздничную атмосферу, так не хотелось покидать запах растопленного воска от сгоревших на пироге свечей, так, в сущности, жаль было терять Долгомостьева, что она поверила и

даже поклялась, что поверила, потому что он требовал этой клятвы.

И вот сейчас, в темном купе, когда картавый под мягкий перестук колес подговорил Долгомостьева двинуться на нее, Рээт, за секунду до того и сама готовая пойти навстречу, схлопнулась, собралась, задеревенела: на нее, *эстонку*, шел настоящий *русский*.

Долгомостьев взял ее за руки, попытался притянуть к себе, поцеловать, и руки эти были точь-в-точь, как в недавнем сне, когда не пускал ее Долгомостьев в колонну, под сине-черно-белые флаги, и Рээт стала вырываться, но было тесно, неудобно: столик, лавка, окно, незастегнутый чемодан, а Долгомостьев уже наваливался на нее всей своей нехорошей тяжестью, и вот она перестала сопротивляться, обмякла, и он торопливою рукою... Ну, словом, он *овладел* Рээт.

Она лежала, бесчувственная, а картавый пришепывал: «Ничего, мы расшевелим ее! Она еще кричать будет от восторга! Она еще губы прокусит насквозь!» — но почему-то так не получалось, а физиология, желание, обычно столь легко управляемые, не хотели сдерживаться, и Долгомостьев, чтобы отвлечься, чтобы обмануть их, стал механически, без выражения считать полувслух свои качкí или как это? — *фрикции*, — совершающиеся в такт покачиванию вагона. Он считал по-эстонски (Рээт выучила его): «юкс, какс, кольм... нет, кажется, не удастся ему сегодня сдержаться... нели, виис, куус... еще и Вероника Андреевна завела, сука!.. сейтца, кахекса, юхекса...

Всё! — выдохнул Долгомостьев. — Кюмме! Десять». Дальше по-эстонски он не знал.

Рээт как лежала безразличная, так и лежала, и глаза ее были закрыты, и дыхания не слышно. Долгомостьев почувствовал, что сломил ее сопротивление (он не это, не физическое сопротивление имел в виду — психологическое: возможно, они и поругаются сейчас, но больше Рээт никогда не станет его отталкивать, он

чувствовал, — никогда!), но было как-то неудобно, скверно, и, словно извиняясь, кивнул он на окно, мимо которого проносились неярко желтые фонари: «Это Клин... Тут Чайковский жил... Ты знаешь Чайковского?.. — И, как будто для доказательства, пропел из «Пиковой дамы»: — Что наша жи-и-изнь? — Игра...»

Рээт молчала. Долгомостьеву показалось что-то неладное: слишком как-то неподвижно лежала она, слишком тихо. Он бросился к ней: Рээт была без чувств... Он хотел было позвать проводницу, но вот... сейчас... сначала расстегнуть кофточку... лифчик... тот самый, что на Аэгне... польский... с пряжкой впереди... А где же сердце? Где сердце?!

Он еще не понял ничего как следует, но уже испугался: вскочил, задернул занавеску, щелкнул замочком купе и вдобавок металлическую пластинку на двери со шелком отложил, и тогда только зажег свет. Не верхний: маленький, боковой, над полкою... Сразу бросились в глаза смятые белые трусики на красном ковре. Висок Рээт вздулся огромным темно-синим желваком. Гематома. Вот, значит, почему перестала Рээт сопротивляться: виском об угол идиотского столика! Но Долгомостьев не хотел этого, не хотел! Это получилось *случайно*. Это картавый его попутал — применить силу, а сам Долгомостьев этого не-хотел!

В дверь постучали. «Занято! — крикнул он. — Занято». Стук повторился. Долгомостьев нагнулся, схватил трусики, механически сунул в карман. Огляделся кругом, всё ли нормально. Стук снова повторился. «Если ты не откроешь, будет еще хуже...» — шепнул картавый, и Долгомостьев opravил на Рээт юбку, погасил свет и, щелкнув замком, приоткрыл дверь на щелочку, на которую позволяла металлическая пластина. В щелочке увиделась проводница с чайным подносом. «Айтах! — сказал Долгомостьев. — Тянан! Спа-си-бо! Сегодня мы не будем пить чай...»

Он закрыл и запер дверь, включил свет. Теперь уже верхний. Но сначала перепутал выключатели, и загорелся синий. Бр-р-р...

Где-то когда-то Долгомостьев читал про зеркальце. Или видел в кино. Он раскрыл сумочку Рээт, и там, в маленьком, резинкою придержанном боковом кармашке сразу, безошибочно нашел его. Потерял рубашку — чтобы чище было, чтобы не вышло ошибки. Поднес ко рту Рээт. Не мутилось...

Это Долгомостьев *так* проверял, для порядка, на всякий случай...

А душа Рээт, не в силах покуда отлететь от еще теплого тела далеко, не привыкшая еще думать о себе этого тела *вне*, наблюдала сверху за суетой Долгомостьева и ни для кого в этом мире не слышно бормотала: «Что же я хотела ему сказать?.. Что я хотела?.. Ах, да... беременна... Что я — беременна...»

Теперь Долгомостьеву предстояло решить, что делать дальше. Ну, во-первых, можно было попытаться проскользнуть в свой вагон, в свое купе, в СВ. А Рээт оставить. Но тут то было дурно, что проводница видела его здесь, так что, обнаружив труп, сразу бы поняла, что к чему. Больше того, проскользнуть в свой вагон сейчас было и невозможно, то есть проскользнуть *незаметно*, потому что по коридору, вероятно, шатались пассажиры, курили, трепались черт-те о чем, проводница носила пустые стаканы и всё такое прочее. Но ждать тоже было опасно, потому что на первой же остановке, в Калинин, до которого оставалось каких-то минут двадцать-двадцать пять, могли войти новые пассажиры, с местами в то самое купе, где находился сейчас Долгомостьев: действительно — из четырех-то продан всего один билет... Таким образом, у Долгомостьева, в сущности, и выбора не оставалось, что делать.

Он погасил свет, чтобы, не дай Бог, не увидел кто снаружи, и ухватился за скобу оконной рамы. Слава

Богу — не заперто! Рама мягко пошла вниз и остановилась у упора. Сквозь образовавшуюся форточку в купе ворвался черный ночной воздух. Долгомостьев прикинул: пройдет Рээт или не пройдет, — тут ведь главное, чтобы прошла голова... Он тоже читал где-то. Мертвое тело вдруг оказалось слишком, несоразмерно тяжелым, но и об этом он где-то не то читал, не то видел в кино. Ужасно раздражало, что, когда он, опершись коленями на потрескивающий под тяжестью двух тел столик, подтягивал труп головою впритык к форточке и нужно было повернуть голову боком, чтобы ее как-нибудь там закусил, заклинило, и тогда уж, опустившись на пол, взять Рээт за ноги, приподнять их вровень с головою и начать пропихивать дальше, — в этот самый момент труп сползал вниз и надо было всё начинать сначала.

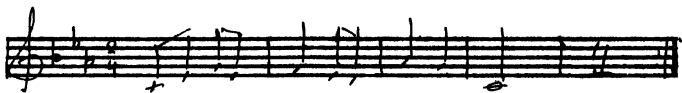
Словом, не для одного работа, для двоих.

Тем не менее, Долгомостьев не сомневался, что справится и один, но Калинин был чересчур близко, так что времени на попытки и упражнения практически не оставалось — от этого завладела Долгомостьевым какая-то дополнительная нервозность, которая только мешала.

И вот, когда с шестой попытки удалось ему кое-как закрепить голову в форточке, и он принялся пропихивать остальное тело, поезд резко замедлил ход и в окне засветились сквозь занавеску городские фонари и редкие неоновые рекламы. Долгомостьев потянул труп за ноги, чтобы вернуть его назад (пассажиры то ли войдут, то ли еще нет, а мертвая голова в окне — это гибель верная), но голова за что-то там зацепилась, подбородком, вероятно, за верхний срез приспущенной рамы, и никаких долгомостьевских сил, изрядно к тому же в последние полчаса поистраченных, не хватало, чтобы сдвинуть его хоть на три сантиметра.

Тогда Долгомостьев сел на лавку и стал ждать неизбежного.

Поезд протащился еще немного и стал. Стал удачно: к перрону другим боком, не тем, с которого торчала голова Рээт. В купе доносился едва слышный посадочный шум. Где-то заиграло радио:



«Не-слыш-ны-в-са-ду-у-да-же-шо-о-ра-а-хи, — мысленно подложил Долгомостьев текст. — Не-слыш-ны-в-са-ду-у-да-же-шо-о-ра-а-хи...»

Невидимое радио шестикратно пискнуло, и поезд тронулся. «Неужели пронесло?» — подумал Долгомостьев, и вот как раз в тот миг, как подумал, кто-то шумно пошел по коридору. Тяжелый, неудобный (по звуку) чемодан бился коваными углами о стены. Остановился чемодан у самой долгомостьевской двери. Чуть дернулась ручка купе, но, запертая на защелку, не поддавалась и не отперла. «Не-слыш-ны-в-са-ду-у-да-же-шо-о-ра-а-хи», — снова пропел про себя Долгомостьев, и только когда проводница на ломанном русском языке сказала за стенкою: «здиэсь, риадом, ест миэсто», и поехала по рельсам дверь следующего купе, пропустив тяжелый чемодан вслед за владельцем, и тот сразу забубнил что-то неразборчивое, заздоровался, — только тогда решил Долгомостьев окончательно: «Пронесло...»

Калининские огоньки отъехали назад, уменьшились, слились в общее марево, но вот и оно погасло не то за поворотом, не то по дальности, и Долгомостьев продолжил. Сейчас дело пошло на редкость споро, и через какие-то десять минут тело Рээт вывалилось вне, вниз, на соседний путь. Правда, в последние мгновения Долгомостьев всё побаивался стояка светофора или столба электропередачи, но и тут как-то обошлось, и почти сразу же прогрохотал мимо окна встречный товарняк...

«Ну вот, — подумал Долгомостьев. — Кончено. Всёз-десь-замер-ло-а-да-ут-ра-а...»

Теперь можно было снова зажечь свет. Нигде: ни на углу металлической полосой обведенного столика, об который ударилась Рээт, ни на полу под ним, ни на лавке, — не было ни капельки крови. Полуоткрытый чемодан лежал на коврик, и из него вывалились полиэтиленовые пакеты, тряпки, колготы, вата... Тут же, рядом, валялись сумка, чуть примятый блок сигарет, заграничные спичечные коробки. Долгомостьев собрал чемодан, сунул туда и сумку, закрыл молнию. Чемодан следовало взять с собою, чтобы не наводить проводницу на подозрение.

«Интересно, что сказала Рээт проводнице, что та решила оберегать мой покой? Думает, должно быть: они тут занимаются любовью. И наверняка ждёт чаевых. Что ж...» — и Долгомостьев оставил на столике червонец.

И в коридоре, и за боковыми стенками, у соседей, всё, кажется, стихло, всё, так сказать, замерло до утра. Долгомостьев снова погасил свет и осторожно щелкнул замочком, приоткрыл дверь. Взглянул направо, налево: никого. Взял чемодан, закрыл за собою купе и, чуть покачиваясь в такт поезду, двинулся быстрым деловым шагом в сторону, противоположную служебному отделению. Задержался на мгновение у расписания: до Бологого — более двух часов.

Эти часы провел он в тамбуре, через четыре вагона, и в Бологом с поезда сошел. Поставил чемодан в ячейку автоматической камеры хранения и чуть было не захлопнул ее, как вспомнил: кончились сигареты. Достал из чемодана блок, распахнул по карманам четыре пачки, захлопнул дверцу, даже не взглянув на цифирки внутренней стороны: какой шифр, и едва захлопнул — похолодел: следовало бы вытащить и документы Рээт, вытащить и уничтожить. Через три

дня ячейку вскрыют, и тогда — всё. Должны же быть у нее в сумочке какие-то документы.

Долгомостьев медленно повернулся к металлической дверце шкафчика и начал наугад крутить шифровальные колечки. «Нет, так дело не пойдет, — понял он через мгновение. — Надо попытаться припомнить, что там были за цифры», — но откуда ж припомнишь их, когда не смотрел, — вот если б сознательно запира-рал шкафчик, помнил бы всегда и наверняка, потому что вот уже двадцать с лишним лет один только шифр набирал: 34-84, старый таллинский номер телефона, номер телефона *той* Рээт, — а тут ведь бессознательно, и всё ж попробовал набрать четыре этих цифирки: вдруг — счастье, вдруг — повезет, но конечно же — нет, и снова, лихорадочно, наугад, — а из угла камеры хранения уже поглядывал на Долгомостьева подозри-тельный глаз грязной старухи, еще минуту назад бес-пробудно, казалось, спавшей на полу, на своих узлах и авоськах. Старуха вдруг показалась ему похожей на ту, лысую, из дуловского двора, и Долгомостьеву снова стало так страшно, что он, не думая уже ни о документах, ни о естественности собственного пове-дения, пошел, едва ли не побежал от нехорошего взгляда.

На улице было свежо. Вдалеке темнели деревья, под ними нашлась и скамейка с двумя выломанными брусьями. «Может, и не вскрыют через три дня, — подумал Долгомостьев. — Может, чемодан там и полную неделю пролежит, а то и две. Автоматики-то у них нету, а кто ж в нашей стране пунктуально отно-сится к служебным обязанностям?» Испуг от стару-хиного взгляда стал проходить, да и в самом деле: что за глупые, необоснованные истерики?! «А если даже и вскрыют — что ж с того? Ну, отправят по месту прописки. А скорее всего, просто заберут себе. Укратут... Словом, ничего страшного».

Долгомостьев сидел на неудобной скамье и невнимательно смотрел на слабо, кусками, освещенную станцию, похожую издаലെка на ту, дуловскую, возле которой произошло несколько часов назад игрушечное крушение, смотрел и на памятник перед нею, гипсовый, покрашенный под серебро алюминиевой краской. «Паровозы, вагончики у Дулова — всё точно такое, как в сороковые — начало пятидесятих, — подумал Долгомостьев. — Тоска по лучшей жизни». Вдалеке время от времени громыхали товарняки. Подполз, постоял немного и пополз дальше какой-то зеленый, пассажирский или почтово-багажный. Где-то над путями неразборчиво бубнила по радио ночная диспетчерша.

Предутреннее время натянуло холоду, и Долгомостьев обнял себя руками, надеясь согреться. Что-то тревожило Долгомостьева, какая-то мысль, и он никак не мог поймать ее, сколько ни силился. Он наморщил лоб, но мысль ускользала, и только тогда всплыла в памяти, когда Долгомостьев махнул на нее рукой: Наденька. Наденька загремела в сумасшедший дом... Вот уж действительно — странное событие: Наденька — в сумасшедший дом. Сумасшедший дом... Этого Долгомостьев не мог ожидать от нее никак. Зачем *ей* — в сумасшедший дом? Она, конечно, и вправду была нервная, впечатлительная — настоящая актриса, — но в первую очередь — дочка дипломата, *девочка из элиты*. А разве из элиты в сумасшедшие дома попадают?..

В той самой картине, с которой началась карьера Долгомостьева, в дуловской «Любви и свободе», Наденька играла *Наденьку*. Полгода сидели они с Долгомостьевым в примерках за соседними столиками, полгода выходили на одну съемочную площадку, и приходилось им по сценарию и целоваться (вырезано в монтаже редактурой), и даже где-то в Сибири, на берегу Енисея, в старой деревянной церковке обвенчал

их актер Елифанов, и обменялись они реквизитными кольцами. Но, обычно падкий на женщин, причем легким, ни к чему не обязывающим связям всегда предпочитавший *романтические* влюбленности, хоть и с самым банальным содержанием, — твердо постановил себе Долгомостьев к Наденьке даже и *не подступать*ся, и тем более твердо, что с первого же взгляда, с первого знакомства очень она ему понравилась. Постановил потому, что знал: как бы высоко ни занесла его судьба впоследствии (во что он верил всегда), какими бы лауреатскими дипломами и почетными званиями ни наградила — все равно, в *этот* круг элиты, в Наденькин, ему не попасть. А ведь как бы мы там к кому ни относились, как бы кого ни ненавидели, а сильные мира сего — каста загадочная, таинственная, *высшая*, и коль уж мы дорожим знакомством с ее представителями и не хотим получить по носу — всячески должны избегать фамильярности, должны держать соответствующую дистанцию.

А через некоторое время узналось еще обстоятельство, и Долгомостьеву особенно захотелось оберечь счастливое знакомство и по-видимому хорошее к себе отношение: оказалось, будто Наденька не кто иная, как внучка одновременно Горького и Берия, будто какая-то между этими последними существовала в свое время семейная связь. То есть, что бы там Долгомостьев ни думал про, например, Сталина, и думал бы искренне, с натуральнейшим, самым горячим презрением, а случись так, что была б у него фотография, где Сталин его, пионера, на руках держит (это для примера только, потому что на деле такой фотографии не было и быть не могло), — так уж наверняка хранил бы Долгомостьев ее, как зеницу глаза, не потерял бы при переезде и всем на свете показывал бы, даже Рээт, хоть и выставляя при этом *забавным* курьезом. То, что отец служил в свое (*в то самое*) время

в Органах, — скрывал, а фотографию показывал бы непременно. То же почти — и внука Берия.

И Долгомостьев дистанцию держал. Знакомство, правда, от этого не укрепилось и, едва картина закончилась, фактически прервалось. Но упоминать Наденьку в качестве своей приятельницы Долгомостьев мог теперь с совершенно чистой совестью, не опасаясь, что его схватят за руку. Что время от времени и делал.

То есть, разумеется, таких правильных воспоминаний и размышлений не было сейчас в голове Долгомостьева, но именно о Наденьке он думал и ни о ком другом, за это точно можно поручиться, и так Наденька завладела им, что он едва не пропустил «красную стрелу» на Ленинград, которой, как сейчас понял, собственно, и дожидался: не в Таллин же ему было ехать и не в Москву возвращаться. Когда Долгомостьев очнулся, «стрела» отстаивала у платформы последнюю свою минуточку. Он едва успел и впрыгнул в первый попавшийся тамбур: картавый, молчавший до самого этого мгновенья, снова выполз и подсказал, что, как ни рассчитывай, всегда рассчитаешь хуже, чем если случайно, — впрыгнул и сунул проводнице двадцать пять рублей.

Долгомостьев отдавал себе отчет, что мог бы доехать до Ленинграда и за десятку, но здесь была хитрая арифметика картавого: если проводница возьмет двадцать пять, она никому не расскажет про ночного пассажира, хоть бы и специально расспрашивали, потому что и у самой — рыльце в пушку, и если расстаться с червонцем — дело для нее неприятное, но все же возможное, то двадцати-то пяти рублей, которые, если рассказывать, придется, пожалуй, сдать, — двадцати-то пяти рублей жалко ей станет точно.

Проводница поместила его в свободное купе — вот что делает олимпиада с отечественными порядками. Долгомостьев полез в карман за сигаретами,

но пачка зацепилась за что-то, за носовой платок, что ли, и Долгомостьев раздраженно рванул ее из кармана: нет, не за носовой платок, — за трусики Рээт. Проводница, увидев их, хихикнула, «ладно, отдыхайте», — сказала и закрыла дверь.

Долгомостьев погасил свет, и окно из черного сразу стало серым: в купе стояли уже сумерки. Правда, совсем не такие, как несколько часов назад, когда они с Рээт проезжали Покровку: сырее, чище, — хоть, надо думать, если б Иван Васильевич, замерив и те, и другие своим сверхточным японским экспанометром, сравнил бы показания, они вполне могли бы совпасть. Долгомостьев думал, что едва ляжет — заснет: таким усталым чувствовал он себя на скамейке в Бологом, — но колеса вымерили первую сотню стыков, и третью, и пятую, а сон все не шел и не шел.

Тогда Долгомостьев повернулся на спину и стал смотреть в потолок. «Проводница, — подумал он. — Как мерзенько хихикнула она на трусики. Пальцем только пошевелить, — и осталась бы. И — всё что вам угодно. С этими трусиками в кармане я для нее — натуральный половой бандит или извращенец, а что может быть привлекательнее?.. Такие вот дела».

Ему было, кажется, лет семь... Ну да, именно семь, он только пошел в школу, и еще оценок не ставили и уроков не задавали, — словом, еще не начались заботы и неприятности, обычные заботы и неприятности человеческой жизни. Они должны были начаться вот-вот, через неделю-другую, но он тогда этого не знал и был безмятежен. А день выдался — невероятный: начало ноября, а небо безоблачное, солнце горячее, и листья пока облетели не все. И еще праздник завтра — общий, всенародный праздник, и радио с вечера играет красивые, серебряные и бархатистые марши, бодрые, но с какою-то грустью внутри, и пахнет горячим пирогом, который бабушка поставила в духовку, а мать достает из шкафа парадный отцов-

ский мундир с подшитыми ватными *плечиками*, с золотыми тяжелыми погонами, с красной звездочкой ордена и колодкой медалей. Отец мелом и суконкою чистит сквозь фанерку пуговицы и вешает китель в столовой на стул, и широкие погоны искорками блестят под абажуром. Долгомостьев спрашивает отца, можно ли? — и целых, наверное, полчаса стоит рядом со стулом и легонько дотрагивается пальцем, позванивая ими друг о друга, — до золотых этих, тяжелых и холодных кругляшков с портретами в профиль, — стоит, покуда мать не прогоняет его спать, а потом, раздев, шепчет по секрету («только не проговорись отцу, что я сказала!») — шепчет по секрету, что отец завтра берет его с собою. У Долгомостьева холодеет в груди, слезы подступают к глазам, и он закрывает их, чтобы мама ушла скорее и можно было переживать счастье одному.

В У. тоже была своя Красная площадь: улица Ленина, широкая и короткая, — наискосок от огромного, пятиэтажного, самого большого в городе дома, где работал отец. За несколько дней до демонстрации плотники построили трибуну, обтянули красной материей, а накануне — установили посередине цветной портрет дедушки Сталина: в погонах, таких, как у отца, — только без полосок посередине и с гербами вместо звездочек, и в золоченой, много красивее отцовской, фуражке. Вот туда, на эту трибуну, и взял отец с собою Долгомостьева. Повсюду попадались вычищенные, умытые к празднику солдатики и милиционеры, и все они расступались перед отцом, улыбались ему, лихо вскидывая руки к козырькам. На трибуне стояло много веселых дядей, украшенных красными ленточками и розетками, и отец знакомил их с Долгомостьевым. Невдалеке, на другой стороне площади, сиял трубами оркестр, и Долгомостьев всё ждал, когда он, наконец, заиграет.

И вот грянул марш, самый бодрый и самый грустный из тех, что слышал Долгомостьев накануне, и отец, наклонившись, шепнул ему: «Прощание славянки», а внизу, под ними, пошли люди. Их было очень-очень много, и все они были очень веселые и счастливые, кричали ура и махали руками Долгомостьеву, отцу и дядям на трибуне, и те тоже улыбались и махали в ответ. Люди несли по площади знамена, портреты и гигантские, каких не бывает, бумажные цветы, и дети сидели на плечах родителей, размахивая флажками, и никогда в жизни, ни до, ни после, не был Долгомостьев так глупо, так безоговорочно счастлив, — оттого, что все они *вместе*, и он — вместе со всеми, и что им так хорошо и радостно — и тем, кто внизу, и тем, кто на трибуне. А когда оркестр, переиграв десяток маршей, снова начал «Прощание славянки», Долгомостьев, кажется, тихо заплакал: так жаль ему стало, что нельзя, чтобы был этот миг всегда.

Долгомостьев все-таки заснул, неизвестно уж под какую тысячу стуков-стыков, и снились ему духовые марши, и когда из-за окна ударили первые звуки «Гимна великому городу» композитора Глиера, которым (в звукозаписи) встречал великий некогда город поезд, прибывающий из столицы, Долгомостьев не вдруг понял, где находится, не вдруг вспомнил, что с ним произошло, и даже как-то не очень поверил, что, действительно, *произошло*.

Навстречу косому утреннему солнцу шагал он по длинному перрону Московского вокзала, бессознательно попадая в такт музыке, шагал среди хлынувшей из «стрелы» деловитой толпы с «дипломатами» в руках.

Пройдя высоким залом, за которым с высокого, на сей раз черного столба зорко присматривал такой точно, как в Москве, бюст основателя государства, Долгомостьев вышел на площадь Восстания, а с нее — на Невский и, совершенно справедливо полагая, что

никому он тут и на фиг не нужен, открыто бросил белые трусики в уличную урну.

Вчерашнее утро Долгомостьев встретил на Белорусском вокзале, сегодняшнее — на Московском. Такие вот он прожил сутки.

«Интересно, — думал Долгомостьев, глядя вдоль Невского, — как повернулась бы мировая история, вот именно не одна русская, а вся мировая с ее сталинами, гитлерами и де голлями, если б те, бородатые, не убили сто лет назад царя? В сущности, и представить нельзя, как бы она повернулась: слишком многое могло измениться, пойти совсем по другим рельсам. То есть с сегодняшней колокольни кажется, что и не могли они царя не убить. Не могли не убить.

Во всяком случае, вообразить такое невозможно...»

5. КАПИТАН УРВО КУКК ПРОТИВ ДОЛГОМОСТЬЕВА

«Чем же это секретарь обкома так вдруг вам не угодил? С точки зрения живописца, лицо его дает столь же неисчерпаемые возможности для постижения, как и ваше, *одухотворенное*. Только на вашем не лежит отпечатка приобщенности к высшим, к сильным мира сего, так что ваше, пожалуй, еще и беднее». — «Ты полагаешь: не зная заранее, что секретарь обкома — секретарь обкома, — ты в лице его сумеешь уловить этот отпечаток? Что он существует объективно?» — «Полагаю. Вам секретарем обкома не стать никогда. Хоть бы вы с рождения стремились к этому». — «Как же мне тогда удалось в свое в'гемя сыг'гать сек'гета'гя обкома в ми'говом масштабе?» — «Картины вашей, признаться, я не смотрел, однако уверяю вас, что это фальшивка. Масс-культура. Если б *он* на самом деле был таким, каким изобразили его вы с Дуловым, — ему б не то что государство в руках не удержать — он бы и в сельсовет никогда не пролез.

Тут, смею вас уверить, особые качества нужны, и если б вы хотя отчасти ими обладали — не сидели б мы тут в «Ранне» и не выпивали бы, а писал бы я с вас портрет где-нибудь в Георгиевском зале Кремля». — «После таких слов я б тебе портрет с себя писать не доверил. Вот интересно: зачем ты при столь низком мнении о моих творческих потенциях пошел работать со мной? У тебя ж были разные предложения». — «*Работаю* я в мастерской, за мольбертом, а здесь зарабатываю деньги и положение. Но вы не делайте обиженного лица: в кино все одним миром мазаны, независимо от того, как там в глубине души они о себе понимают. В кино не может быть места искусству — это а priori. Сами посудите: сколько наша картина стоит? Иван Васильевич, не помнишь, сколько стоит наша картина? Тысяч четыреста, кажется? Ну, вот, триста восемьдесят. Допустимо ли, тратя такие деньги, позволять себе заниматься *искусством*? Совесть-то у вас где? Тут ведь семьсот шестьдесят тысяч человек по своему кровному, заработанному полтиннику скинулись в надежде, что вы их именно тем накормите, что им по вкусу. А вы этими деньгами, словно своими, пытаетесь распорядиться. Это все равно, как если б алкаши попросили вас на последнюю заначку в магазин сбегать, а вы б им вместо бутылки банку своего любимого черешенного компота принесли. Или, скажем, кусок осетрины горячего копчения». — «Совесть моя на месте. Во все времена искусство было элитарным, и во все же времена нация так или иначе содержала художника. А тот — подсознательно выражал ее дух». — «Ну да, правильно, теперь остается только выбрать, кто именно из нескольких сот нынешних режиссеров — не все же! вы ведь на всех и не согласитесь! — тот самый *художник* и есть. Вам-то, конечно, *совесть* ваша подсказывает, что как раз вы. Нет, знаете, пока не разбогатеете настолько, чтобы из собственного кармана картины оплачивать, вот как я

краски и холст покупаю, — выбросьте из головы эти иллюзии касательно *творческих потенций*. Впрочем, можете и не выбрасывать: развивать-то их, ваши потенции, все равно вам никто не позволит: у нас теперь, слава Богу, народными деньгами распоряжаются не разные там просвещенные герцоги, короли и прочие меценаты с элитарными взглядами на искусство, а сам народ. И он проследит, чтоб за свои деньги дух его выражался *сознательно*. Теперь у нас, извините, демократия. И здесь, и *там*». — «Ну, *там-то*, может, и в самом деле, а здесь...» — «Снова иллюзия! Там-то как раз и неизвестно, а вот где власть воистину *народная* — так это именно *здесь*. Такой народной власти история еще и не видывала. Двести пятьдесят миллионов абсолютно довольных людей! Ну, двести пятьдесят миллионов минус двадцать диссидентов и полторы тысячи вот вроде вас, либералов». — «Ты, может, потому и в партию вступил?» — «А моей живописи партия не мешает. Помогает даже: мастерскую дала. Да и что вы ко мне прикололись с этой партией?! Самому вам туда, что ли, хочется? Так опоздали, сорок лет уже. Теперь вряд ли возьмут. Раньше шевелиться надо было...»

Так и дерзил Витюша-мефистофель по вечерам в маленьком грязном номере третьеразрядной таллинской гостиницы, а Долгомостьев вместо того, чтобы обдумывать в люксе завтрашнюю съемку, чтобы репетировать с актерами, как это бывало и на дипломе, и на «Поцелуе», — словно по обязанности тащился к Ответову, прихватив в буфете ноль-восемь красного, и сидел, и слушал, и тоже говорил какие-то глупости, и хоть и чувствовал, что неправильно себя ведет, нехорошо, не по-режиссерски, и время впустую уходит, а картина и вовсе выскользнула из рук, и Долгомостьев давно ее не снимает, а только командует «мотор» да «начали», как Дулов на «Поцелуе» (а Долгомостьева своего рядом нету), — но ничего с собою поделать не

мог: теперь уж не догадка, как тогда, на Красной площади, — теперь уж абсолютно ясно стало, что тащит его автобус по мостовой Малой Садовой. Он только крепился, удерживался от последнего падения: сесть с Витюшей и Иваном Васильевичем за преферанс (а хотелось-то очень) — и, крепясь, и им мешал играть занудным своим присутствием. Долгомостьев чувствовал, что совсем уж тоненькая, шаткая перегородочка охраняет его, режиссера-постановщика, от окончательной презрительной фамильярности нижестоящих коллег, от элементарного «пшел вон». Он ощущал свою зависимость от Витюши, от его цинических высказываний, от его презрения и насмешки, и, если Долгомостьеву удавалось парировать одну Витюшину реплику из десяти, это уже была для него победа, и он немного распрямлялся. Раньше он никогда не замечал, что сорок лет — это уже не молодость, а теперь, под напором непонятных Витюшиных двадцати восьми, как-то вдруг сник и постарел. Он даже чуть было не проговорился, что они с картавым убили Рээт, причем и чуть не проговорился-то очень комично, не в приступе достоевского раскаянья, а задетый Витюшними подкусываниями, что, вот-де, видно, бросила его Рээт, что раньше — едва вечер — так к ней, а потом — к нему, к Витюше, с рассказами, — а теперь носу из гостиницы не кажет. Чуть не проговорился, но вовремя прикусил язык.

Несколько раз он пытался вырваться из плена грязного Витюшиного номера, но, разумеется, не в собственный люкс, который вымытостью и функциональностью напоминал ему купе «Эстоний», а на улицу, вон из гостиницы, бродить по этому полуиноземному (на сегодня, впрочем, едва ли уже и третьиноземному) городу, по этому Рок-аль-Таллину, с которым так навязчиво сводила его судьба; чуть не каждый переулок, каждое здание напоминали о Рээт, и если не об этой Рээт, так уж наверняка о той, давней,

первой, но боли почти не было, а только — легкая грусть, будто он, девяностолетний старец, приехал в город своей юности.

Забредя в порт, он вспомнил поездку на Аэгну — это Рээт сама предложила ему, отпросилась с работы, и он отменил съемку и полдня ездил по комендатурам, выпрашивая пропуск на этот, считающийся пограничным, островок, объясняя сидящим за канцелярскими столами офицерам что-то про искусство и специфику кинематографического пейзажа.

Наконец, вождеденный пропуск был получен (Рээт ехала просто по паспорту с таллинской пропиской), и они заняли места на кормовой полукруглой скамье морского трамвайчика. За кормою вились чайки, мерзкие попрошайки, пожирательницы отбросов и помоев, те самые, которые, копошась у мусорных баков в узких двориках старого города, производили на Долгомостьева такое неприятное, тяжелое впечатление. Долгомостьев точно помнил, что в те, прежние приезды, чайки по городу еще не летали.

Аэгну прорезала длинная просека, выходящая к пляжу, куда они и направлялись, но по пути Рээт свернула в лес и показала Долгомостьеву полуразрушенные бетонные фундаменты, поросшие травой: здесь был оборонительный пост, ДОТы — от немцев, от русских ли, Рээт уточнять не стала. На сам пляж они не пошли, пристроились чуть выше и левее. Рээт, скрытая от посторонних взглядов кустарником, задрала юбку — выставила под солнце молодые свои, тренированные ноги. К тому времени Рээт с Долгомостьевым еще не были любовниками, и он всё приставал к ней, тискал груди и никак не мог нащупать ни на спине, ни подмышкой застёжку лифчика. Рээт улыбнулась, расстегнула кофточку: пряжка оказалась впереди, между чашками. «Я никогда не видел таких лифчиков», — сказал Долгомостьев. «Да, — ответила Рээт.

— Это мой любимый. Я привезла его из Польши. Белье — единственная моя слабость».

После восьми на Аэгне оставаться было запрещено: пограничники, среднеазиатские ребята, прочесывали остров. Долгомостьев не знал об этом, когда собирался сюда, — он рассчитывал, что они с Рээт снимут на ночь комнатку у какого-нибудь островитянина, и теперь, когда Рээт потащила его назад, к причалу, — был чрезвычайно расстроен. «Пошли в лес», — сказал он ей почти умоляюще, что несколько нейтрализовало анекдотичность предложения, но не для Рээт: она ответила, что она не русская свинья, чтобы заниматься любовью прямо на земле, как, вероятно, он, Долгомостьев, привык.

Тут-то и пригодились захваченные Долгомостьевым в дорогу несколько номеров «Пиккера» — юмористического журнальчика, который он покупал обычно в киосках, развлекаясь рисунками «без слов», а на прогулку взял в расчете, что Рээт переведет и подпишет. Он подсунул ей эти «Пиккеры» на пристани, когда они, обиженные друг на друга, ждали возвратного трамвайчика, и она стала переводить, а потом трамвайчик подошел, и для палубы было слишком холодно — они спустились в салон. Странно: Рээт, так хорошо знающая по-русски, часто затруднялась, не находила точного слова, а иной раз не могла передать Долгомостьеву и общего смысла подписи.

Так гулял Долгомостьев по Таллину, а однажды позволил себе забрести даже и в Нымме, в район, где жила... где *раньше* жила Рээт, на улицу Тяхе, улицу Звезды. У ее начала стояла русская деревянная церковь, но туда Долгомостьев как не заходил никогда при жизни Рээт, так не зашел и сейчас.

Глядя на одно-, двухэтажные коттеджи Нымме, Долгомостьев вспомнил: Рээт рассказывала, что их строили, в основном, в начале пятидесятых, строил не город, а сами хозяева, и сейчас, по прошествии трид-

цати лет, то в одном, то в другом из этих коттеджей поселялась беда: инфаркт, инфаркт, инфаркт. Хозяева расплачивались за собственность, за комфорт — естественно: домики эти выстроили они собственными руками, в свободное от работы время. Надорвались. Тогда казалось: ничего, молодые, выдюжим, — и вот: кому пятьдесят, кому пятьдесят пять. Всего два месяца назад, когда Рээт говорила об этом Долгомостьеву, пятьдесят или пятьдесят пять казались ему несбыточно далеким возрастом, а сегодня...

Две странные встречи случились у него во время прогулки по Нымме: со старушкою, которая показала Долгомостьеву матерью Рээт, хотя мать Рээт до тех пор никогда он не видел, не видел и фотографий; и с милицейским капитаном, эстонцем, который как-то слишком пристально смотрел на Долгомостьева, а потом подошел и ломанным языком сказал: «Капитан Урво Кукк. Вы что-нибудь ищите? Вам помочь?» — «Спасибо, — ответил Долгомостьев. — Айтах. Тянан. Я просто так — гуляю. Спасибо», — и отправился домой, в «Ранну».

Ночами Долгомостьев спал плохо, а утром совершенно не было сил встать, ехать куда-то, проводить съемку. Он часто отдавал площадку второму, а то и Ивану Васильевичу, а если находился малейший повод, какой-нибудь пустяк, к которому можно придраться, — и отменял смену. Директор слал в Москву телеги, устраивал Долгомостьеву скандалы, и тогда тот встряхивался и отстреливал за день по полтораста полезных метров. А потом снова впадал в апатию.

Однажды выехали за город для простейшего кадра: общий план, герой выходит из леса и через картофельное поле удаляется от камеры. В режиссерском сценарии помечена была против этого кадра пара коз: от фонаря помечена, на всякий случай, для сметного отдела, как обычно вводятся в сценарий к месту и не к месту массовки, проезжающие по заднему плану эки-

пажи, какие-нибудь антикварные автомобили: чтобы больше отпустили денег на непредвиденные расходы. Долгомостьев забыл про коз напрочь и, если б не заглянул нечаянно в сценарий, преспокойно прошелся бы актер по полю, и директор пометил бы в ежедневном отчете очередные тридцать полезных метров. Но Долгомостьев заглянул...

Он кричал, петушился, не желал слушать никаких уговоров и оправданий. «Вы не смогли найти элементарной козы! Вы хотите, чтобы я снимал в таком бардаке! Вы профанируете искусство!» Витюша посмеивался в сторонке. «Я никогда не поверю, чтобы в Эстонии не водилось коз! А если и не водится — привезли бы из-под Москвы, у чёрта, у дьявола достали б! Когда я работал вторым, мне даже в голову не могло прийти отказать в чем-нибудь режиссеру-постановщику, даже если он требовал какую-нибудь, на мой взгляд, глупость!» Кончилось тем, что он отменил смену, впрыгнул в РАФик и на ходу уже, из окна, крикнул: «Я вам к вечеру же привезу десяток коз! Чтoб вы знали, как надо работать! К вечеру же!..»

Быстрая езда по хорошо асфальтированным, малонаселенным эстонским дорогам убаюкала, успокоила Долгомостьева. Отыскать козу — эта локальная задача была ему сейчас как раз по силам и по нервам. Они с водителем заезжали в деревни и поселки, расспрашивали людей, но коза — животное бедняцкое, и в относительно богатой Эстонии с ними, действительно, обстояло плохо. Наконец, километрах, пожалуй, в восьмидесяти от Таллина, они напали на след и, свернув с трассы на проселок и по нему уже пропилив верст пятнадцать, увидели посередине топкого, не зеленого, а какого-то сероватого луга то, что искали, то, что на кинематографическом языке называется *живым реквизитом*. Одинокaя коза паслась, привязанная длинной веревкою ко вбитому в землю колышку. Неподалеку стоял хуторок в один двор. Небо тем-

ное, почти вечернее от низких обложных туч, выседало неприятный мелкий дождичек.

Долгомостьев, чавкая полуботинками по грязи, пошел к хутору: водитель подъехать не осмелился, справедливо опасаясь забуксовать. Долгомостьев отворил калитку, вошел во двор. Полтора десятка кур клевали рассыпанные по мокрой земле зернышки, копошились в вольере кролики — тоже живой реквизит, убогая телега уныло мокла торчащей из-под навеса третью. «Тэрэ-тэрэ! — крикнул Долгомостьев, и голос его в этом безлюдьи и запустеньи прозвучал резко и неуместно. — Тэрэ-тэрэ! Есть кто-нибудь из хозяев?»

Выждав минутку и снова повторив свой призыв, Долгомостьев сделал несколько шагов по двору, чуть не наступил на свежую коровью лепешку, постучал. Снова никто не ответил ему, а дождик уже намочил кепку и плащ, и тонкие струйки холодной воды текли за ворот. Долгомостьев приоткрыл дверь в сени и крикнул в третий раз. Входить в пустой чужой дом было неудобно да и незачем, Долгомостьев повернул назад, но на полпути к блестящему под дождем зеленому РАФику почувствовал на спине взгляд. Он обернулся: в темноте, за стеклом выходящего в поле окна, угадывались глаза.

Долгомостьев вернулся. Молодое женское набеленное лицо, ярко накрашенные губы, широко раскрытые, густо подведенные веки. «Тэрэ-тэрэ», — сказал Долгомостьев и помахал рукою. Лицо приблизилось к стеклу, и Долгомостьев разобрал, что владелица его сидит в инвалидном кресле-коляске на велосипедном ходу. «Можно войти?» — жестикулируя, попытался объяснить Долгомостьев через двойную застекленную раму. Женщина не повела и глазом. «Я из Москвы, из кино. (Пауза). Нам хотелось снять вашу козу! — он показал рукою в сторону поля. — Ко-зу! Конечно, за деньги, — потер он друг о друга пальцы правой руки. — Можно?» Женщина сидела недвижно, словно

восковая, не слишком искусно выполненная кукла. Впрочем, восковых кукол Долгомостьев никогда в жизни не видел. Говорить в пустоту, не получая ответа, не имело смысла, и Долгомостьев, пожав плечами, пошел к РАФику. «Вы запомнили, Тыннис, это место? Сумеете отыскать?» — «Йа-йа», — ответил Тыннис.

Возвращались они другой дорогою, и стало очевидным, что километров на пятнадцать в округе никакого жилья, кроме этого пустынного хутора, нету. «Козу я вам нашел, — сказал Долгомостьев директору. — Кстати же — там прекрасная натура. Так что я думаю — там и будем снимать. Потрудитесь договориться с хозяевами».

«И это, по-вашему, прекрасная натура?» — удивился Ответов, когда они прибыли на место съемки.

Под солнцем хутор выглядел веселее. Все его население: глухая бабка, старик, женщина лет пятидесяти и давешняя девица — поджидали гостей на прибранном дворе. Девица была накрашена, как в прошлый раз, но на ярком свету это производило не гнетущее, а скорее комическое впечатление. Комическое, несмотря на то, что была она парализована.

Пока готовили кадр, Долгомостьев разговорился с нею: вовсе она оказалась не глухонемою, а испугалась Долгомостьева, потому что и он в свою очередь показался ей тогда, под дождем, каким-то восковым механическим человеком, Големом, хотя и она восковых людей не видела никогда, а о Големе даже и не слышала.

Удивительно: вся семья оказалась русской. Что занесло их в Эстонию, в эту глушь? Девушка, внучка старика и старухи, дочь пятидесятилетней хозяйки, раньше училась в Таллине, в финансово-экономическом техникуме. На выпускном вечере они с ребятами выпили как следует, пошли гулять на Тоомпеа, и там, над самым обрывом, у парапета, парень, эстонец, с которым она *встречалась* и которому через неделю

было в армию, попытался *овладеть* ею. Она сильно отбивалась, камень сорвался из-под ноги, и она полетела с обрыва вниз, к заполненному водою рву у основания крепости. Перелом позвоночника, пожизненный паралич. На парня она показывать не стала, и тот вскоре ушел в армию, уехал в Среднюю Азию, откуда первое время писал часто и трогательно, потом реже, а демобилизовавшись, в Таллин и не заглянул. Друзья поначалу навещали, потом начали забывать. Для кого она красится теперь, Долгомостьев спрашивать не стал, боясь ненароком обидеть. Недавно родные пообещали купить ей инвалидный «запорожец», чтобы она могла ездить в Таллин, и она снова оживилась надеждою. Надеждою на что — Долгомостьев тоже не понимал.

Тем временем всё подготовили, и Долгомостьев пошел говорить «мотор-начали». Коза в кадре была совершенно ни к чему, и — не история вокруг нее — распорядился бы Долгомостьев ее убрать.

После этой выездной далекой съемки им, в сущности, оставался в Эстонии последний кадр. Но — самый во всей картине сложный, дорогостоящий, важный. Кадр для финала.

В Москве специально изготовили трамвай: узкоколейный, полуоткрытый, какие ходили в начале века. Раненый герой, убегая от погони, вскакивал на подножку; перепуганный вагоновожатый выпрыгивал на ходу; и пустой вагон, набирая скорость, уносил навстречу жандармам, а метафорически — в бессмертие, умирающего за эстонский пролетариат русского большевика. Еще в подготовительном Долгомостьев прожужжал уши и директору, и Ответову, и Ивану Васильевичу, и тому, что вместо Высоцкого, главному своему исполнителю про этот длинный, на сто метров, кусок: непременно солнце контражуром, непременно желтый цвет вагона, а общее настроение — *ретро* (монолинзовый объектив). Так что сейчас от-

ступаться было совсем уж неудобно. А отступить было подмывало, потому что — несмотря на долгомостьевскую хандру — уже ни подсьемок не осталось почти, ни крупных планов, и вполне можно было мотать в Москву, а для этого пресловутого кадра никак не могло сойтись вместе всё необходимое: и антенны с фонарями дневного света поснимать, и разрешение от ГАИ получить, и каскадер чтоб свободный, и чистое небо — для контражурного солнышка. Вот уже неделю выезжали они на объект, но сегодня, слава Богу, всё, кажется, должно было выйти.

Солнце, крупное, красное, подошло к закату и задержалось на мгновенье в распадке Нарва-мантэ, рядом со знаменитым шпилем Олевистэ, сжевало на нет четырехгранное его заострение. «Можно», — сказал Иван Васильевич, не отрываясь от камеры, и Долгомостьев скомандовал. Подбежал из-за поворота желтый трамвайчик, зацепился за поручень каскадер, изображающий раненого героя, вовремя влетели в кадр конные жандармы, вовремя же и отстали от трамвайчика, и тот, набирая скорость, но на взгляд почти не удаляясь (это на долгомостьевский взгляд, потому что знал Долгомостьев: Иван Васильевич снимает трансфокатором, набирая фокус), засверкал медными своими частями и стеклами и стал растворяться в солнечном диске. Десяток секунд оставалось потрепать грейферу, и дубль эпизода был бы снят. Отличный дубль. Его можно было бы и не повторять, однако и на повтор осталось бы еще минут пятнадцать-двадцать «режима». Но, конечно, случилось «вдруг»: из бокового проулка, наперерез оптической оси объектива, перекрыв в кадре и городской пейзаж, и довольно далеко уже отъехавший трамвайчик, высыпала толпочка молодежи: студенты или старшие школьники, девушки — а их больше чем ребят, — в национальных костюмах: кокошники, белые вышитые кофточки и фартучки. У переднего паренька студенческая

фуражка на голове, а в руках — сине-черно-белое знамя кустарного вида. «Стоп! — рефлекторно, не осознав пока ничего, кроме того, что кадр загублен, — закричал Долгомостьев. — Стоп!» Но Иван Васильевич — впервые за всю их совместную работу — не послушался: камера продолжала стрекотать. Вдогонку толпочке выскочила милиция и штатские, появилась «волга»-универсал, еще «волга», милицейский желтосиний ГАЗик, и буквально в мгновение ока — у Ивана Васильевича еще и шестидесятиметровая кассета не успела кончиться — кадр был очищен вполне. К директору подбежал майор-эстонец, обслуживающий съемку от таллинского ГАИ, извинился за заминку, сказал, что можно продолжать. Но пока возвращали задним ходом трамвай, пока ассистент Ивана Васильевича перезаряжался, — случайная тучка прикрыла едва ли не на пределе уже держащееся солнце, — и Долгомостьев вынужден был смену закончить.

Вечером в гостинице он всё приставал к Ивану Васильевичу с вопросом, хватит ли для монтажа первоначального, до помехи, куса, а Иван Васильевич, естественно, ничего толком ответить не мог, потому что не ему предстояло картину монтировать. «Ну, вот такой он, примерно, был», — рисовал Иван Васильевич квадратик в квадратике: больший означал рамку кадра, меньший — очертания трамвая.

«Довольно!» — сказал Долгомостьев директору, — даже странно, что тот, с его заботой о плане, позволил целую неделю проторчать на этом объекте. В конце концов, судьба, случай играют в искусстве совсем не последнюю роль. Получится — хорошо, не получится — еще лучше. Сколько можно гнить в паршивом Таллине? — «Давайте закрывать экспедицию. А я — если можно — хотел бы выехать в Москву прямо завтра».

В купе их было четверо: во-первых, директор, потом — Витюша Ответов, Долгомостьев и Урво Кукк,

тот самый милицкий капитан, что приглядывался к Долгомостьеву в Нымме и предлагал ему непрошеную помощь. Витюша прямо за чаем же, с места в карьер, спросил капитана, что это за демонстрации у них в Таллине устраивают в неположенное время? — ни кадра, понимаете, нельзя снять спокойно! — шутиливо, разумеется, спросил, и еще: что означает сине-черно-белое знамя: не национальный ли флаг племени мумбо-юмбо? — но капитан столь резко ответил «не понимаю по-русски!», что даже Витюша смолк.

Спать капитан не ложился: сидя, не раздевшись, дремал на нижней своей полке, а ночью, когда поезд остановился — Долгомостьев стоял у окна в коридоре, курил и глядел на слабо, кусками освещенную станцию Бологое, похожую издалека на ту, дуловскую, — капитан из поезда вышел. Он затем вышел, чтобы собрать кой-какие дополнительные доказательства вины Долгомостьева в убийстве Рээт Прийметс, толком еще не зная, что за доказательства, а такой удачи, как извлеченный из ячейки автоматической камеры хранения чемодан жертвы с документами, — и не предполагая. Однако и без того был уверен он давно и вполне в вине Долгомостьева — доказательства нужны ему были для передачи следствию и затем — суду.

Капитан Урво Кукк, вдовец, отец десятилетней дочери, работал в Нымме и собирался жениться на Рээт. Он никогда ей об этом не говорил, он, собственно, и знаком-то с нею не был, точнее, она не была знакома с ним — встречала на улице, но даже и знать не знала, что он — ее участковый, — а он о ней знал многое: и про возраст, и про работу, и про квартиру, и про мать, и про бесплодие, и про первого мужа, и, конечно, про Велло. Долгомостьева же капитан поначалу в расчет не принял. Однако по мере того, как, прямо на глазах, Рээт стала увлекаться тем всё сильнее, — озабочился и взревновал. И, не убей Долгомостьев Рээт, — быть бы, верно, ему самому забран-

ным в отделение и если не убитым, то уж основательно избитым — определенно. Так что объективно получалось, будто убийство Долгомостьев совершил в порядке самообороны — жаль вот только, что сам он об этом не знал.

Если б Велло арестовали месяца два назад, — а рано или поздно его должны были арестовать: иностранцы, джинсы, валюта, да и в конторе своей он тоже приворовывал понемногу (капитан имел о его делах кой-какие сведения, в ход пускать не собирался, но про запас имел), — так вот, если б Велло арестовали прежде, чем рядом с Рээт появился этот русский, Кукк, надо думать, почувствовал бы некоторое облегчение и, выждав положенное приличием время, сделал бы предложение, которому должно еще было предшествовать формальное знакомство. Теперь же из-за Долгомостьева выходило так, что арест капитановых шансов отнюдь не поднял, а пожалуй, даже наоборот. Впрочем, капитан и прежде медлил с предложением не столько из-за Велло, который никогда не представлялся ему соперником достаточно серьезным (капитан был уверен, что, если тот и не сядет, жениться на Рээт всё равно соберется вряд ли), сколько из-за того, что рядом с трезвой прикидкой существовала в нем и определенная перед Рээт робость, нечто такое, что, будь капитан вдвое-втрое моложе, можно было бы объяснить влюбленностью.

Когда Рээт не вернулась в Таллин в расчетный срок, Кукк не взволновался, а только еще скрупулезнее стал копить злобу на этого русского, полагая, что именно у него в Москве она и задержалась, — но потом прошла неделя, десять дней, но потом и Долгомостьев мелькнул в Нымме, — а Рээт всё не было и не было. Капитан стал наводить справки: дело не прояснялось, а только запутывалось еще больше. Предчувствуя беду, капитан поинтересовался сводками всех несчастных случаев и нераскрытых убийств за

последние две недели, и в неопознанном и списанном железнодорожной милицией на несчастный случай труп женщины, найденном на перегоне Медное-Марьино Октябрьской железной дороги, заподозрил труп Рээт — несмотря даже на то, что погибшая женщина была беременна. Прокуратура не нашла нужным дать разрешение ни на эксгумацию, ни на переспективу, и тогда Урво Кукк взял двухнедельный отпуск и начал самостоятельное расследование. Он разыскал проводницу «Эстонии», которая последнюю видела Рээт, — подозрение на Долгомостьева превратилось в уверенность. Сейчас капитан намеревался проследить путь убийцы по часам — за тем и направился в Бологое. Избиение — даже до смерти — в отделении милиции, в тени сосен Нымме или на гнилых коплинских болотах — больше капитана не устраивало. Он жаждал Возмездия.

Но Долгомостьев не знал и о расследовании Кукка.

Вернувшись в Москву, он с головою окунулся в павильон: заказывал по полторы-две смены, добивался от актеров и от Ивана Васильевича каких-то тонкостей. Не то что бы он решил спасти картину — просто появилась в нем потребность устать до смерти, чтобы, вернувшись домой, валиться на постель — даже без чая — прямо в сон: слишком давила на него Леда своими невысказанными обидами.

Впрочем, наедине с Ледою — тут уж не убежишь — предстояло просидеть еще не одну неделю в монтажной, и Долгомостьев боялся близких этих недель, словно не при рождении первой по-настоящему *своей* картины присутствовать ему предстояло, а больные зубы лечить. Умнее всего, лучше всего — для всех лучше — было бы взять другого монтажера, но Леде объяснить это было невозможно в принципе: она б такой ад создала Долгомостьеву дома, что не захотелось бы жить.

Когда Долгомостьева, день на третий после возвращения в Москву, таинственно вызвали из павильона, подвели к незнакомому молодому человеку, одетому, как фарцовщик: в кожу и вельвет, и тот, махнув перед долгомостьевским носом нераскрытой красной книжечкой, предложил проследовать за собою, в Долгомостьеве всё оборвалось, он понял: «взяли», и даже не попытался взбрыкнуть, сказать про творческий процесс, про «не имеете права», спросить, наконец, ордер, не вернулся даже в павильон, чтобы объявить перерыв или конец смены или передать кому-нибудь бразды правления, — покорно пошел за молодым человеком длинными, полукруглыми в плане коридорами студии, отражаясь в стенных, в рост, зеркалах, где впервые отразился десять лет назад гордым малознакомым человеком в темной тройке и пластроне.

За окнами черной «волги» хлюпала слякотью сентябрьская Москва. Долгомостьев, зажатый на заднем сиденьи между молодым человеком в коже и вельвете и еще одним, как две капли воды похожим на первого, ехал покорно, не задавая вопросов, потому что и так *всё знал...* Покорно и спокойно. Но внутри Долгомостьева что-то было не в порядке: его пусто поташнивало, словно уже середина дня, а он еще не позавтракал.

Что вызов не имеет отношения к убийству, Долгомостьев понял не вдруг, а где-то уже на десятом вопросе следствия, интересовавшегося исключительно эпизодом с этой несчастной таллинской демонстрацией, случайно попавшей на пленку. Но когда понял — облегчения не почувствовал, скорее наоборот: значит, ему еще раз придется пережить то, что пережил он за последний час. Известие, что единственный дубль финального кадра они изымают, тоже не вызвало в Долгомостьеве сильных эмоций, и он даже не попытался выпросить начало дубля, до появления в кадре мальчиков и девочек. Когда Долгомостьев выходил из ка-

бинета, он увидел ожидающего в приемной на стуле Ивана Васильевича, — везли, стало быть, двумя машинами.

«Скажите, — спросил Долгомостьев у сопровождающего его молодого человека, — это непременно надо было делать во время смены?» Молодой человек ответил: «Мы выпишем вам повестку и отметим половину рабочего дня».

Несколько дней спустя знакомый сценарист пригласил Долгомостьева в университет посмотреть последние видеозаписи Высоцкого: концерт в Останкино, кинопробу для какого-то американского режиссера. Долгомостьев пошел.

Высоцкого Долгомостьев недолго любил. «Ненавижу блатных, — мотивировал он свою точку зрения. — Ненавижу и боюсь. Представьте: на темной улице вас встречает компания человек из пяти: в карманах ножи, золотые фиксы во рту и совершенно оловянные глаза. (Долгомостьев как-то в юности, в У., убежал что есть духа от подобной компании.) Сопrotивляться бесполезно, разговаривать бессмысленно. Хуже чем звери, хуже чем машины. Но вдвойне ненавижу так называемых интеллигентов, которые блатных романтизируют. Горького с его босяками и Бабеля с Беней Криком. Высоцкий сам — полублатной, полутакой интеллигент. И неумеренная его популярность вызвана, по-моему, только тем, что Россия, пройдя двадцатилетнюю школу лагерей, вся заражена блатным духом...» Так говорил Долгомостьев, однако сам, не доверяя ни второму, ни ассистентам, пытался пригласить на главную роль своей картины именно Высоцкого. Высоцкий прочел сценарий и отказался. «Я уже сыграл что-то в этом роде», — сказал он, имея, вероятно, в виду Бродского в лежащей на полке «Интервенции». Отказ Долгомостьева ущемил, и на всевозможные вопросы он отвечал эдак между прочим, пренебрежительно и фамильярно, что да, мол, хотел

снимать *Володю* и тот был не против, но что-то там не совпало по срокам, а вот в следующей картине Володя снимется обязательно, пообещал, даже просил никого другого не пробовать. Теперь же, когда Высоцкий умер, у Долгомостьева хватило вкуса не пытаться создавать у окружающих впечатление, что более близких друзей, чем Долгомостьев с Высоцким, и не бывало.

Вообще, с актерами на картине случались у Долгомостьева сплошные недоразумения, вот хотя бы и с главной героиней. Что вроде бы может быть приятнее, престижнее для любой провинциалки, чем сняться в центральной роли у столичного режиссера? Однако, прежде чем найти исполнительницу, Долгомостьев получил два вежливых, но как-то очень неясно мотивированных отказа, нечто вроде стандартного «не понимаю по-русски»: от девочки из Молодежного театра и от актрисы из «Ванемуйнэ». Рээт позже, у «Пяти свечей», в тот самый вечер, когда они расставались перед Польшей и она впервые плакала, объяснила Долгомостьеву эти отказы: безнравственно играть эстонку, влюбленную в русского; вот если эстонец соблазняет русскую — это можно, это нравственно и даже в каком-то смысле лестно. Правда, объяснение показалось Долгомостьеву немного слишком замысловатым, придуманным Рээт применительно к собственной ситуации. К тому же, третья актерка, к которой подослал Долгомостьев ассистента, играть согласилась с большим энтузиазмом, и Долгомостьев остался своим выбором доволен.

Сейчас Долгомостьев и еще несколько избранных сидели в небольшой комнате, заставленной аппаратурой, и смотрели на экраны стоящих рядышком трех мониторов: двух цветных и черно-белого. Душный воздух пах озоном и расплавленной канифолью. В черном, не занавешенном окне бился по ветру подсвеченный флаг над куполом казаковского сената, да го-

рели две кремлевские звезды: побольше, на ближней, Боровицкой, башне и какая-то дальняя. Долгомостьев вспомнил, что появились эти звезды над шатрами в тридцать седьмом, вспомнил и шепнул на ухо незнакомому соседу. Тот кивнул, но раздраженно: ему не хотелось отрываться от экранов на *либеральные* беседы.

На экранах же происходило неприятное: Высоцкий, которому телевизионщики намекнули, что концерт *может* пойти в эфир, разбивался в лепешку, изо всех сил старался понравиться, заискивал перед воображаемой аудиторией: дескать, извините, возможно, вам всё это и не интересно, но вы уж послушайте, пожалуйста, — словно у предполагаемых телевизоров должны были сидеть вовсе не те люди, которые вот уже лет двадцать размножали, распространяли его голос на миллионах километров любительской магнитофонной ленты. Высоцкий краснел, нервничал, забывал собственные тексты, а песни подбирал уже записанные на пластинки или шедшие в кино или спектаклях: видно, сильно и, как оказалось, оправданно боялся, что начальство запретит концерт, не пустит в эфир. А в эфир хотелось очень: никак он не мог примириться с фантастической двойственностью собственного положения, с *полудозволенностью* собственной популярности. И еще поразила Долгомостьева внятная, очевидная печать смерти на лице барда: рыхлом, одутловатом, *потустороннем*. Тут, может, и было самым удивительным это сочетание смерти и суеты.

Выходя из видеолaborатории, Долгомостьев задержался на минуту перед вестибюльным зеркалом: посмотрел на собственное лицо — нет ли на нем этой сакраментальной печати, — и ничего не сумел разобрать.

Ради просмотра Долгомостьев отменил вечернюю половину смены и сейчас, в без каких-то минут девять, был ненужно свободен. Выйдя из университета, он привычно направился к метро, чтобы ехать домой, но, едва спустился под землю, понял, каково будет

провести полтора часа, оставшиеся до сна, наедине с Ледою, — и выбрался на поверхность.

С Ледою у Долгомостьева и прежде, и никогда — пылких отношений не бывало, но то ровное дружелюбие, которое он испытывал к жене, позволяло сводить ее вспышки раздражения, неудовлетворенности к одной-двум в месяц, что, в сущности, было вполне терпимо. Теперь всё переменилось: Долгомостьев видеть Леду не мог, и, конечно, следовало срочно уходить, но, кроме того, что уходить было очень *неудобно* (желание оставаться *хорошим* со всеми и для всех не истребилось в Долгомостьеве с детства; вот довести бы дело до того, чтобы Леда *сама* его бросила, — и проблема решилась бы, и появилось бы чувство возвышающей, обиженной правоты!), — итак, кроме того, что уходить было очень неудобно, — уходить было и *некуда*. Может, в другое, более спокойное, несъемочное время Долгомостьев не спеша подыскал бы и арендовал себе жилье, хотя тоже вряд ли, но теперь-то во всяком случае как-то совсем было не до того. Конечно, главная ошибка не в том, что он женился на Леде, а в том, что согласился собственный кооператив вместе с Лединой коммунальной комнатой обменять на их теперешнюю квартиру.

Можно, конечно, было бы пойти сейчас к Веронике Андреевне, но что-то мешало Долгомостьеву: Дулов, — думал он, — со своими маразматическими памяtnичками, паровозиками и каздалевским, — на деле же не Дулов мешал — страх столкнуться с лысой сумасшедшею старухой в оранжевых штанах, — но Долгомостьев старался не отдавать себе отчета в причине истинной.

Идеальным было бы склеить прямо на улице какую-нибудь девицу и провести с нею вечер, а то и ночь. Но не станешь же объяснять девице с первых слов, что ты кинорежиссер и всё такое прочее, а чем еще способен привлечь Долгомостьев? Прежде, в У.,

да и первые два-три года в Москве, ему каким-то странным образом удавались такие случайные знакомства — теперь же прошлые удачи представлялись необъяснимыми и неповторимыми. К тому же — куда эту девицу вести, если вдруг и получится познакомиться? Разве к Ответову в мастерскую... Но, во-первых, неизвестно, там ли он, во-вторых, если и там, неизвестно: один ли...

В таких мыслях брел сорокалетний Долгомостьев по Калининскому, еще не по тому Калининскому, который *бродвей*, а по начальному, доарбатскому, и едва не столкнулся с выходящей из переулочка за Военторгом внучкой одновременно Алексея Максимовича и Лаврентия Павловича. «Каздале-е-вский! — вспомнил, словно услышал, Долгомостьев жиденский старческий тенорок с двенадцатого этажа. — Наденька-то наша в дурдом загремела... Вот так вот: в сумасшедший до-о-о-о-ом...»

Впрочем, не вдруг, а после того только, как сама она окликнула его, окликнула радостно и печально, узнал Долгомостьев Наденьку, и голос дуловский, дребезжащий, услышал. Немудрено — переменялась она совершенно: глаза ввалились, отделились густой синевою, русые волосы поблекли и посерели, и Долгомостьев разглядел (это уже позже разглядел, уже у нее дома), что поблекли и посерели от седины. Дома же у нее увидел Долгомостьев, как расплнело и порыхлело ее тело, как раздула шею болезненно увеличившаяся щитовидка. Когда снимали «Любовь и свободу», Долгомостьев, восхищенно поглядывая на Наденьку, часто отмечал, что не ей бы играть эту роль, что прототипша, сколько известно, была куда как нехороша собою, — а теперь... Теперь всё было в самый раз и очень грустно. «А мне сказали...» — заикнулся было Долгомостьев, но Наденька перебила его: «Да-да, я полгода пролежала в больнице. Но давай (прежде они, сколько помнится, были «на вы»), — давай не будем

об этом. Ты не торопишься? У тебя деньги есть? Успеем еще взять чего-нибудь в елисеевском?» С коньяком и апельсинами они сели в такси и поехали к Наденьке.

Жила она теперь не с родителями, не в доме на Горького, возле Юрия Долгорукого, а в собственной квартирке, где-то на окраине, в так называемом *новом* районе: Бибирево не Бибирево, Отрадное не Отрадное: стройки, слякоть, побитый асфальт. Комната неуютная, необжитая, *неженская*, — и много икон. Не таких икон, какие привык Долгомостьев видеть в разных интеллигентских *домах*, не позапрошлый и даже не прошлый век, — а сегодняшних, маленьких, ширпотребовских, репродуцированных фотоспособом и раскрашенных анилиновыми красками. «Это не важно, — сказала Наденька, — какие они. Они не образ Бога, даже не напоминание о Нем. Они — случайно обозначенные окна, через которые отправляется молитва и снисходит благодать и прощение».

Еще недавно, еще какой-нибудь год назад, Долгомостьев, оказавшись в сходной ситуации, не преминул бы ляпнуть что-нибудь едкое по поводу икон и Бога, ляпнуть, впрочем, безо всякого зла, по всегдашней своей привычке не церемониться с тем, что ему самому кажется смешным, несущественным, не существующим — вот, например, с религией, — но сегодня он был удивительно тих и тактичен, словно и не он это был. «Сколько же лет Наденьке?» — задал он себе неожиданный вопрос и, произведя простейший арифметический подсчет, решил, что никак не меньше тридцати пяти. Результат потряс его: если Наденьке, милой, веселой, легконогой Наденьке уже тридцать пять... Когда же, куда улетело время?

Долгомостьеву было неприятно, что рюмки у Наденьки липкие, а на чашках — жирный коричневый налет неотмытого чая. Наденьку минут через десять начало развозить, она ударилась в длинный монолог

и, хоть и сказала час назад «не надо об этом», говорила исключительно об этом. О том, как однажды пошёл за нею лысый, беззубый старик в драном пиджаке, а потом остановил ее и стал кричать: «будь проклят весь твой род до седьмого колена, до седьмого колена», — и почему этот безумец так подействовал на нее, она не знает, только стало ей страшно и она побежала, а он бежал за нею и кричал: «до седьмого колена... будь про-о-клята-а», и Наденька, испугавшись, что до дому не добежит, нырнула в полуподвал спасительного женского туалета на Столешниковом.

Туалет набит был голыми и полуголыми бабами, примеряющими лифчики, кофточки, трусики, свитерочки: за *делом* сюда заходил мало кто — в основном, шла торговля, — но Наденька ничего не знала про быт и нравы московских сортиров, и показалось ей, что попала она в фантастическое какое-то место, куда и положено попадать после проклятия, — не на шабаш ли?..

Наденька забилась в кабину, защелкнулась шпингалетиком, чтобы старик с безумным взглядом, прожигающим насквозь, не отыскал ее, — и замерла, вжавшись в угол. Так и стояла, покуда не стихли голоса, и тогда выбралась остороженько; в туалете было совсем почти темно, тусклый фонарный свет, обогнув десяток углов, едва проникал сюда сквозь узкие зарешеченные полуокна. Наденька не вдруг решилась выглянуть на улицу: что, если старик всё ждет? — когда же решилась, оказалось, что дверь заперта снаружи.

Утром уборщица пришла открывать туалет, и Наденька, собрав из сумочки и карманов все свои деньги, упростила ее сбегать — позвонить родителям. Те были и забрали Наденьку. Но домой идти она отказалась, опасаясь, что старик найдет ее и там. Дело кончилось психиатрическим отделением на «Молодежной», потом, снова не заглянув домой, поехала Наденька на море. Родители тем временем устроили ей

квартирку в этом самом Отрадном-Бибирево. Видать, и им не Бог весть как хотелось возиться с сумасшедшей, которая назойливо приставала к ним с требованием какого-то *покаяния*.

Рассказывала Наденька сбивчиво, не по порядку, всё вскакивала, металась по кухоньке, впадала в истерику, «покаяние, — кричала, — покаяние! Только покаяние может теперь спасти, и не меня одну, а нас всех», а Долгомостьев сидел, словно на иголках, и не знал как уйти. Вот уже где-то за стеною прозвенели по радио куранты: Долгомостьев вообразил полуночную Красную площадь, освещенную прожекторами верхушку Спасской башни, флаг над сенатом, караульных, печатающих шаг, а Наденька всё мельтешилась перед ним, представляла в лицах обитателей столешникова туалета, пациентов психбольницы и того лысого старичка. «Ну, мне пора», — решил, наконец, Долгомостьев и привстал, но Наденька с таким отчаяньем бросилась к нему: «Не уходи, побудь у меня до утра, мне страшно! Я постелю тебе, а сама посижу в кресле», — что Долгомостьеву просто не хватило воли настоять на своем.

Насчет кресла — это, конечно, была глупость, какое может быть в этом возрасте *кресло*, да еще под бутылку коньяка? — и Долгомостьев лежал *после* на спине, радуясь темноте, впрочем, темноте неполной: живой огонек лампадки за толстым зеленым стеклом все-таки освещал комнату. В этом освещении сквозь Наденькины сегодняшние черты проступали черты прошлые, желанные, во всяком случае, Долгомостьеву казалось, что проступали, и он, вспомнив по ассоциации с *Наденькиным* старичком старичков *своих*, и отца тоже — с агентурою — отдельно вспомнив, — произнес длинный безумный монолог о том, что все горе наше и все несчастья от стариков, и хорошо было бы всех, кому исполняется, скажем, шестьдесят, изолировать от общества навсегда, ну, конечно, безо вся-

ких мучений и ужасов, просто отдать им какой-нибудь город, вот хоть бы и Ленинград, он как раз отлично для этой цели подойдет, — пусть себе живут там на здоровье, работают или отдыхают, устраивают свои театры и спортклубы, получают пенсию — и пусть не мешаются в живую жизнь, не отравляют миазмами своей памяти, своих обид, своих биографий детей и подростков, да и нормальных, зрелых, в расцвете сил людей — вроде вот их с Наденькой...

Наденька заснула под долгомостьевский монолог, он потихоньку выбрался из постели, оделся, спустился на улицу и взял такси.

Следовало придумывать что-то для Леды, но мучительно не хотелось, было *лень*, и все попытки наталкивались на не идущую в дело навязчивую мысль, что вот, дескать, и с Наденькой получилось, и с Ледою получилось, а ведь когда возвращался из Таллина в Москву, нафантазировал, что теперь, после той ночи в купе с мертвой Рээт, никогда больше ни с одной женщиной получаться у него не должно. И правильно, что не должно, и так ему и надо!

У подъезда Долгомостьева ждали с вечера и, когда он вышел из такси, арестовали и отвезли в следственный изолятор.

6. НЕСТРАШНЫЙ СУД

Народный суд над Долгомостьевым пришелся на шестое ноября — день неудобный, неделовой, *короткий*. Население уже ликовало вовсю: разбегалось с заводов и из контор по предпраздничным своим делам, бережно несло сумки, авоськи и коробки с *заказами*: копченой колбасою по четыре рубля; зеленым горошком и — кому везло — даже с красной рыбою; кое-где на улицах гремели сквозь репродукторы победные марши, и первые небудничные пьяные подпе-

вали с энтузиазмом. Об олимпиаде столица и думать забыла: только нереализованные плюшевые медведи с кольцами на брюхе пылились на задворках витрин да хлопали по ветру цветным импортным брезентом так ни разу и не использованные летние кафе. Иногда на полиэтиленовом пакете в руках стоящей за молоком старушки или за стеклом автобуса, рядом с портретом усатого генералиссимуса, мелькала утвержденная на полустертых кольцах и увенчанная звездочкой полустертая пирамидка, но к пирамидкам этим уже пригляделись, как и к кафе: словно были они всегда.

Во дворе темно-розового двухэтажного дома по Писцовой улице с раннего утра сидели в детской песочнице трое стариков и, защитясь от дождя огромным зонтом деревянного мухомора, копались во влажном песке. Генерал Иван Петрович, в мундире и при всех регалиях, лепил холмики и крепости, обводил их рвами трехсантиметровой глубины, изображал из папирос «Элита» пушки и приговаривал: «Вот, понимаешь, мы весь, понимаешь, лес прочесали, а куратов, понимаешь, нету, ну и я тогда, понимаешь, говорю, чтобы брать, понимаешь, заложников и, понимаешь...» На открытой папиросной коробке, с внутренней стороны крышки, было написано: «Восстановлено по образцу 1937 года». Чистенько вымытый В. М. Молотов в долгополой кавалерийской шинели и фуражке-кировке по видимости внимательно слушал генерала, но в тех местах, где тот ждал вопроса или понимающего поддакивания, произносил невпопад: «Ничего мне не жалко — города только жалко! Город у меня отобрали — Пермь сейчас называется. И слово-то какое глупое: *пермь*...» Третий, не Дулов вовсе, а Долгомостьев-старший, вырвавшийся на несколько дней из ведомственной богадельни, чтобы присутствовать на суде над сыном, — совсем глубокий старик с руками, почти сплошь покрытыми пигментными пятнами, чрезвычайно раздражал генерала непрерывным своим

ворчанием: «Если б меня, ёлки-моталки, за каждую бабу в своё время судили, суд бы еще и до сегодня не кончился. А особенно эта чухна, ёлки-моталки, ино-родки, нацменочки. Я, ёлки-моталки, конечно, этого сукина сына, не в обиду жене-покойнице будь, ёлки-моталки, сказано, — я, конечно, этого сукина сына не оправдываю, особенно за то, ёлки-моталки, что сам возвысился, а отца и знать не хочет... брезгует... а только за каждую, ёлки-моталки, бабу судить, — это уж как хотите, а глупость, ёлки-моталки, получается», — и если б не заступничество Молотова, был бы, пожалуй, уже генералом прибит.

Но Бог с ними, со стариками. Им, может, делать было нечего с утра — а ведь и целая толпа собралась у подъезда суда часам к одиннадцати, толпа, какая, кажется, никогда прежде перед районным этим судом не собиралась, даже в те давние два раза, когда судили *диссидентов*. То есть просто *необъяснимо* велика она была для обыкновенного дела об убийстве. Если же хоть на мгновенье допустить достоверность слухов, порхающих над нею, — тогда... Тогда получалась она возмутительно, смехотворно *мала*, и — думалось — коль уж *такая* новость собрала всего сотню-другую людей, стало быть, плохи дела, стало быть, окончательно захирел этот некогда долготерпеливый, а потом как-то вдруг и безудержно разгулявшийся народ, впал в состояние прямо-таки ко-ма-тоз-но-е.

«Неужели *его*? — В том-то и дело. — *Самого*? Невероятно! Не может быть! — После пятьдесят шестого всё может быть. Осудили одного — чего ж с другим чикаться?! — В пятьдесят шестом они маху дали. До сих пор расхлебаться не могут. — Стало быть, мавзолей теперь уж совсем закроют? — А вы не читали в «Вечорке»? Закрыли уже, со вчерашнего дня... — Так это на профилактический ремонт. — У них всегда сначала профилактический ремонт... — Да не *его*, не *его*. Это актера судят, который *его* играл! — Если б

актера судили, американцы б не понаехали! Вон, гляди, из машины вылазят. Корреспонденты... — Актер, действительно, имеет место, товарищ прав, — только он *его* просто представлять будет. Изображать. Чтоб суд был нагляднее. Чтоб скамья подсудимых не пустовала. История, так сказать, в лицах. — И далось же им — мертвецов судить! — Это вы — мертвецы. А *он* — вон, лозунг, читайте: вечно живой! — Что ж тогда портретов не поснимали? — А *те* портреты когда поснимали? Помните? Аж через четыре года! — А почему не во дворце съездов? — Политические процессы всегда в райсудах проводят. Во избежание ненужной сенсации! — Постойте-постойте, а за *что* *его* судят-то? — «За что — за что!» За *всё*! — Ой-ой-ойушки! Что же теперь будет-то, что же будет теперь?..»

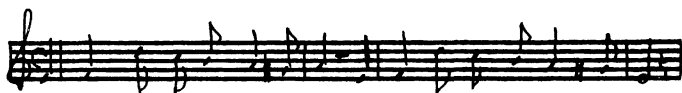
И так далее.

«Террористку, Иван Петрович, видел? — спросил у генерала Вячеслав Михайлович. — Вон, из-за угла выглядывает». — «Да, понимаешь, — ответил генерал. — Из-за каждого угла, из-за каждого дерева террористы, понимаешь, выглядывали. Мы, понимаешь, — говорят, — лесные братья и вас, понимаешь, — говорят, — оч-чень не любим».

Толпа меж тем всё росла, в ней стали появляться совсем уж экстравагантные персонажи. Вот подкатило такси, и вышла из него полнотелая монашка, вся в черном, в апостольнике, надвинутом на лоб и двумя крыльями — на горле сходящимися — закрывающем щеки. Необычный костюм придавал не Бог весть как красивому лицу монашки определенную сексапильность. Пыхтя сизым дымом, въехал во двор неимоверно грязный «запорожец» с эстонскими номерами, с буквою «Р» в желтом треугольнике за лобовым стеклом и с козою на заднем сиденье. С живой козою. Дверца открылась, молодая женщина, ярко и грубо накрашенная, попросила — у нее паралич — вынести ее и доставить в зал. Она просидела за рулем целые

сутки, чтобы попасть на этот суд. Грустная коза осталась запертая, одна. Маленькая сухая старушенция в полосатой телогрейке и с номером на зашивке на короточках у самого входа, курила самокрутку и время от времени произносила, не интонируя: «Нас здесь четверо. Мы — первые, с пяти утра. Нас здесь четверо». Вот из серой «волги» выбрался плешивый, с рыжей бородкою и усами человек лет тридцати пяти-сорока, сопровождаемый двумя оч-чень толстыми женщинами со значками депутатов районных Советов, и толпа расступилась, пропуская их к дверям. «Судья, судья приехал», — прошел по толпе шепот. «Не судья это! — авторитетно заявил джинсовый молодой человек в польских усах. — Это актер, который его изображать будет. Видите — загримированный. Долгомостьев фамилия». — «Действительно, похож», — согласился с усатым женский голос. Вот милицкий капитан, по форме — наш, по говору — вроде иностранец, сказал что-то охраняющему двери сержанту и тоже вошел внутрь.

В этот момент во дворе Бутырской тюрьмы Долгомостьева усаживали в бежевого цвета черный воронок. Долгомостьев ехал vis-à-vis с вооруженным милиционером, за металлической стенкою сидело еще двое, лицом друг к другу, стражей, а с улицы доносилась громкая, словно на весь город запущенная через репродуктор, песня Александры Пахмутовой на слова Гребенникова и Добронравова:



«И чего они меня так охраняют? — думал Долгомостьев. — Будто я убегу куда. Я б и на троллейбусе прекрасно доехал».

Долгомостьев не лгал. Бежать ему, действительно, не хотелось.

Оказавшись в тюрьме и на первом же допросе признавшись в убийстве (позже адвокат сказал Долгомостьеву, что тот напрасно поторопился с признанием, что среди массы косвенных улик не было у следователя ни одной стоящей, — да Долгомостьев махнул рукой: ладно, чего уж там теперь-то...), Долгомостьев как-то успокоился: новое положение освободило его от сотни вязких проблем: и от Леды, и от Вероники Андреевны, и от квартиры, и от картины, наконец, — картины, к которой он так долго и целеустремленно, хоть и не по чужим головам, рвался, а теперь, за две три недели до финиша, совершенно и даже как-то с тошнотой остыл, увидев в просмотровом зале как мало годится снятое для так называемой *вечности*, как мало имеет оно отношения к так называемому *искусству*. Более того, он усомнился и в самом существовании искусства и вечности, и пришло ему в голову — жаль, не проверишь! — что с тем же примерно чувством пересмотрел бы он, пожалуй, сегодня любимые ленты прежних своих идолов: Вайды, Феллини, Тарковского.

Пришло ему в голову и то, что остыл он к своей картине не теперь и не после убийства, а много раньше, едва получив ее (хотя замечал, что «едва получил»-то к сорока годам только, за гребнем уже жизни), и что Рээт, — да-да, — и что Рээт просто *не было бы*, отнимай картина столько душевных сил, сколько должна б отнимать, сколько отнимала, когда он рвался к ней добрый десяток лет, сколько отнимал, наконец, дуловский — ну, разумеется, дуловский: это же и из титров видно! — «Поцелуй». Не было бы Рээт. Не было. Места бы для нее в душе не осталось.

Позже, когда ему сообщили, что Рээт была беременна и что, стало быть, пахнет *вышкой*, в нем что-то оборвалось, и подступила та самая, знакомая тошно-

та, словно уже обед, а ты еще не позавтракал, — но мало-помалу улеглась и только приоткрыла дорогу разным — довольно, впрочем, холодным — мыслям о смерти.

Вряд ли стоило объяснять невысокую их температуру одной экзистенциальной усталостью Долгомостьева — тут скорее была вечная человеческая надежда на бесконечное продолжение жизни, на то, что не будет *вышки*, и, наверное, услышь он собственными ушами *роковой* приговор — не удержался бы, забился в истерику, а потом снова успокоился и ждал бы апелляции, — а потом снова забился бы, — это уж не говоря о том, когда вели б его на расстрел, — а куда да смерть была какая-то нереальная, *теоретическая*, то есть, в сущности, куда *чужая*.

Она была мелким и довольно широким (хватило бы места и на троих) неструганным ящиком, затянутым сверху лоскутом марли, из-под которой выпирали, натягивая ее, голова и ступни ног. Такие ящики вприпрыжку, чего-то там даже насвистывая, катили из всех корпусов огромной больницы молодые ребята-санитары — это было ранним первым утром нового, теперь уже выдыхающегося года. Последнего, возможно, года жизни Долгомостьева. 1940—1980.

Десять месяцев назад они с Ледою встречали Новый год у Ответова, а тот жил буквально во дворе одной из городских клинических больниц, и, когда утром, с сознанием, странно и приятно деформированным бессонною ночью и теряющим силу алкоголем, вышли они погулять в окружающий больницу парк, эти ящики на колесах то и дело пересекали их путь. «Ах, какой ужас! — ничуть не ужасаясь, говорила Леда. — В самый Новый Год!» Ответов по мифистофельскому своему обыкновению цинично шутил о жизни, смерти и всенародных праздниках, и Долгомостьев, естественно, старался подладиться, попасть ему в тон, но на душе его было удивительно скверно,

едва ли не так же скверно, как после той, ленинградской истории с автобусом.

Как-то так получалось в жизни Долгомостьева, что судьба не сводила его со смертью нос к носу, то есть, разумеется, с *чужой* смертью, то есть не просто с чужой, а со смертью другого, но близкого человека, — потому-то та, ленинградская, могла не идти в счет, — и даже на похороны матери он не поехал, потому что был самый разгар съемок «Поцелуя», уходила натура, и он никак не мог сорвать работу доброй полусотни живых людей и завалить картину, от успеха которой, возможно, зависела вся его будущая карьера, — тем более, что мать всё равно не узнала бы: приехал он или не приехал.

Правда, Алевтина умерла, в сущности, на его глазах, но и ее Долгомостьев не хоронил, то есть не шел за гробом, не ехал в бежевом, с черной по боку полосой автобусе, не стоял возле могилы под звуки фальшивящего и сильно пьяного самодеятельного духового оркестра. Не хоронил потому, что были у него мысли, будто не он ли сам и виновен в этой смерти, хотя, конечно, никаких фактических оснований для таких мыслей у него не было, и он прекрасно это понимал.

Да, действительно, они собирались пожениться, и, когда он уезжал в Москву учиться, было договорено, что, едва он получит распределение, они поженятся и станут жить вместе, а то, что отец Долгомостьева, отставной майор, был против этого брака, потому что Алевтина — дочь репрессированного-реабилитированного, то есть *порченного* человека, и сама, стало быть, порченная, — так на это Долгомостьев плевал с высокой колокольни. Тут другая была причина: в первый же год после отъезда из У., задолго еще до *роли*, стал Долгомостьев чувствовать, что жизнь в столице — ну, пусть не в самой столице — в Долгопрудном, да это ведь всё равно! — что жизнь в столи-

це и жизнь в провинции — вещи совершенно разные, и что, видать, *не судьба* им с Алевтиною, несмотря на самое прекрасное и романтическое прошлое их любви; что будет у него жена-москвичка (правда, не Веронику Андреевну и не Леду он тогда воображал), — чувствовал, но до сознания старался не допускать и не только перед Алевтиною — перед самим собою виду не подавал, что чувствует. Еще и в тот, в зимний приезд, когда ждал утверждения на роль, — еще и тогда не подавал, несмотря на отцовские «агентурные сведения» и истерическое, капризное, скверное поведение Алевтины.

Ну, а в том, что не состоялось их следующее свидание, — тут уж сама Алевтина была виновата, больше никто. Когда «Любовь и свобода» закончилась, они ездили по городам и весям с премьерою, и так подвернулось, что прибыли и в У. Их привезли в центральный кинотеатр, в «Комсомолец», прямо с самолета, и Долгомостьев, естественно, не успел не то что повидать никого — даже никому позвонить. Тем не менее, в зале сидели все ребята из УСТЭМа и Алевтина среди них — Долгомостьев заметил их сразу же. «А что? — сказал он себе. — Стыдиться мне нечего. Я сыграл всё как положено, как обещал, *по правде*, — и совесть моя чиста». Но уже по тому, что сказал он себе это, можно было судить о действительном состоянии Долгомостьева.

То есть, он в самом деле сыграл всё по правде, во всяком случае, настолько по правде, насколько позволял это сценарий, мизансцены, а также собственные его, Долгомостьева, представления и способности. Нет, конечно, кое-что было попорчено монтажом, кое-что вырезано на разных уровнях, от редактора картины до председателя госкино, но любой мало-мальски профессиональный зритель просто не мог бы не отметить, как отличается роль, сделанная Долгомостьевым, от канонического образа. Герой Долго-

мостьева был заметно жесток, фанатичен, его жесты и речи похожи были на жесты и речи циркового гипнотизера, а в моменты эмоциональных спадов студнем расплывался он по дивану, и глаза его стекленели, становились нечеловеческими. Он был безжалостен и сентиментален, злопамятен и закомплексован. Он был некрасив.

Но почему же получилось, что *так* сыгранную роль пропустили? И сам Дулов (все же либерализм его был, скажем мягко, ограниченным), и редактора, и дирекция студии, и госкино? Неужели Долгомостьеву удалось обмануть их всех? Неужели они сами настолько оказались под гипнозом общей структуры ими же созданного мифа, что не различали его конкретного наполнения? Неужели в какой-то момент истории уже всё равно стало, *как его* играть, — уже сам факт *его* появления на экране или на сцене делал свое дело?

«Но ребята-то всё увидят, во всем разберутся, — думал Долгомостьев. — Они поймут, какую я сумел одержать победу. Какую все мы вместе сумели одержать победу, — потому что ведь эта тяга к правде и свободе от штампов, это автоматически отрицательное отношение к *властям* — всё это результат коллективного сознания, выработавшегося как раз внутри их замечательного УСТЭМа». Собственно, на ребят-то и была у Долгомостьева главная надежда.

Поэтому так обидно, так буквально до слез обидно ему стало, когда, едва фильм кончился, в зале зажегся свет и Долгомостьев, Наденька, Дулов, Епифанов и кое-кто из группы вышли на эстрадку, — весь УСТЭМ, включая Алевтину, демонстративно поднялся и направился к дверям. Поэтому понятно, что так и не позвонил Долгомостьев Алевтине и считал себя в состоянии ссоры с нею — причем ссоры по ее глубокой вине.

Через две недели — в один из вечеров двух этих недель он и увидел женщину под автобусом, — через

две недели Долгомостьев снова оказался в У. — теперь уже планово, на летних каникулах, и всё ждал, что вот позвонит Алевтина сама, извинится, но ждал как-то не совсем честно, то есть хотя и ждал, и полагал, что позвонит и извинится, а лучше было бы, если б не звонила, — тогда можно считать ссору окончательной, а себя — совершенно свободным для новой, столичной, жизни. Совсем хорошо вышло бы — потому что обида за то, что его не поняли и считают, будто он *продался*, была еще очень сильна, едва ли не сильнее, чем в тот премьерный вечер, — совсем хорошо вышло бы, если б не она, не Алевтина, а кто-нибудь другой из УСТЭМа позвонил и извинился — и за себя, и за всех ребят, ну, и за Алевтину тоже, — тогда и камень с души свалился б, и поманившая было сладкая свобода осталась при Долгомостьеве. То есть, если дуловский фильм — по словам одной из любимых песен главного его героя — назывался «Любовь и свобода», — Долгомостьеву мечталась *свобода от любви*.

Тут и действительно позвонили, но с другой целью: сообщили, что Алевтина, купаясь в Волге, утонула, попала в воронку.

Вообще-то Долгомостьев мог смотреть себе в глаза совершенно честно, потому что достоверно помнил, что, хотя и стремился к свободе, смерти невесте своей ни разу даже краем мысли не пожелал (разве однажды во сне что-то подобное привиделось, но не должен же отвечать Долгомостьев за сны), — однако весьма настойчиво и несколько слишком осторожно пытался разузнать, в каком состоянии была она перед гибелью, не в подавленном ли. Настолько настойчиво и осторожно, что решился на крайность: обратиться через отца к самодеятельной его агентуре.

Агентурные сведения оказались для Долгомостьева успокоительными, причем, сразу по всем фронтам успокоительными: дескать, и интимный роман между УСТЭМовским режиссером и Алевтиною подтвер-

ждался, и настроение у нее в день смерти было великолепное, и свидетельства очевидцев не оставляют сомнений, что это натуральный несчастный случай, а не какое-нибудь там самоубийство или убийство. Могла, конечно, насторожить быстрота появления этих сведений, поспевших до похорон, да и успокоительными сведения были как-то немножко чересчур. Мало того, Долгомостьеву не должно бы повериться и в измену Алевтины — не тот она была человек, — и в хорошее ее настроение, а тут еще напущенная на себя отцом какая-то клоунская скорбь по *порченной*, какие-то мерзкие в сторону Долгомостьева подмиги, словом, *каздалевщина* какая-то. Но не приставлять же к отцовскому горлу, к горлу этого старого темнильщика и конспиратора, нож, не добиваться же от него или окольными путями другой правды, тем более, что вряд ли и добился бы.

Вот и поверил агентурным этим сведениям Долгомостьев — странно только, что на похороны пойти не решился, — поверил, любимо почувствовал себя несправедливо обиженным и преданным, очень понятно объяснил себе и другим возмутительное поведение бывших лучших друзей на премьере в «Комсомольце» и даже ревность в себе к режиссеру возбудил.

Со временем, однако, произошла в сознании Долгомостьева подспудная деформация, и он, нечасто, правда, но признавался со скрытой гордостью — знакомым и даже Леде, — что была в У. женщина, которая от любви к нему, к Долгомостьеву, покончила с собою, признавался, не отдавая себе отчета, как близок он к истине.

Любимая же песня главного героя называлась «Свадьба» и принадлежала перу Александра Сергеевича Даргомыжского, того самого Даргомыжского, который написал «Русалку», отчасти похожую на сюжет жизни Долгомостьева, на часть сюжета, связанную с Алевтиной, а мотивом беременности — и с Рээт. Что

же касается «Свадьбы», то совершенно непонятным осталось, почему слова из нее: дескать, нас венчали не в церкви, а венчала нас «любовь и свобода», — почему именно эти слова вынес Дулов в название картины: герой венчался с Наденькой как раз в церкви.

Когда, сидя в камере, думал Долгомостьев о смерти и ему в голову лезли эти неструганные мелкие ящики на велосипедном ходу, часто жалел он, что испугался пойти на похороны Алевтины, потому что теперь казалось ему, будто, сфотографируй он тогда в памяти мертвое ее лицо, распухшее и посиневшее, сегодня помогла бы ему эта фотография что-то важное про смерть понять, куда более важное и, главное, к себе применимое, чем все больничные ящики и взрывающиеся под колесом автобуса головы вместе взятые.

Вечности хотелось Долгомостьеву, вечной жизни. Хоть какой-нибудь намек на нее пытался он выловить из несуществующего воспоминания о трупке Алевтины, ибо ни в одном другом месте лазейки к вечности усмотреть не мог. Бессмертие души с детства слишком прочно связывалось у него с *идеализмом* и *религией*, то есть с понятиями несерьезными и даже для него, либерала, очевидно реакционными, а тут еще и религия, и прежде-то никаких приятных ассоциаций не вызывавшая, представляемая в виде злобных, грязных, нездоровых церковных старух, недавно приобрела в сознании брезгливого Долгомостьева тошнотворные запахи сладострастного пота Наденьки и перегара из ее рта.

Когда следствие закончилось, к Долгомостьеву пришел адвокат. «Будьте со мною совершенно откровенны, — сказал этот пожилой лысоватый еврей. — Единственная моя задача — помочь вам». Долгомостьев против откровенности ничего не имел: рассказал адвокату всё как было, то есть, как он помнил, как было. Адвокат даже испугался: «Слава Богу, что вы не сообщили обо всем этом следствию». — «О чем об

этом?» — удивился Долгомостьев: ему казалось, что следствию он сообщил всё. «Об изнасиловании, о половом сношении с трупом — это ведьотягчающие обстоятельства, а у нас с вами и без того уже есть беременность». — «Разве на следствии я это упустил? — удивился Долгомостьев. — Наверное, просто не спрашивали. А вот вы сказали «слава Богу». Вы что, полагаете, что Бог действительно существует?» — «Это вопрос слишком интимный, — ответил адвокат, — а мы с вами должны найти, за что зацепиться в защите. Дело ведь может обернуться для нас с вами очень нехорошо. Что вы думаете насчет ревности, аффекта? Сами-то вы как перед собой оправдываете свой поступок?»

«Видите ли, — ответил Долгомостьев. — Сам я не ощущаю этот, как вы выразились, поступок — своим. — И, приблизившись вплотную к адвокату, шепотом признался в веснушчатое, поросшее рыжими волосками ухо: — Это не я. Это *картавый*». В зеленых адвокатовых глазах зажглись огоньки: «Давайте-ка, давайте подробнее про *картавого*!» — «Мне многие актеры об этом говорили, — начал Долгомостьев, — это не у меня одного. Когда сыграешь какую-нибудь серьезную роль, она не растворяется в пространстве бесследно, а поселяется в тебе, в дальнем уголке твоего сознания, твоей личности, а в какие-то моменты завладевает тобою целиком и от твоего имени действует, как раньше, на сцене или на съемочной площадке, ты действовал от ее имени. Вы ведь знаете, какую я 'голь сыг'гал десять лет назад? Вам Леда 'гассказала?» — «Леда? — удивился адвокат, но еще прежде, чем удивился, огоньки в его глазах погасли. — Какая Леда? Меня наняла Вероника Андреевна Дулова. По поручению своего супруга».

«Действительно, — подумал Долгомостьев. — На Леду я должен рассчитывать меньше всего. Это очевидно».

«Нет, — продолжал адвокат. — Этот путь нам годится еще меньше, чем изнасилование и труположество. На первый взгляд, действительно, весьма заманчиво: раздвоение личности, психиатрическая экспертиза и так далее. Но это получилось бы только в том случае, если б вами владела любая другая роль: Гамлет какой-нибудь, Ричард Третий, Борис Годунов. На *этой* роли ничего мы не выиграем, кроме спецбольницы тюремного типа. А спецбольница немногим лучше высшей меры, если еще и не страшнее. Впрочем, это решать вам. Но, если вы будете настаивать на своем, вам придется нанять другого адвоката. С диссидентами я дела не имею». — «Да не диссидент я, — пошутил Долгомостьев, — а самый обыкновенный убийца», — но шутка успеха не снискала. Впрочем, адвокат пообещал постараться что-нибудь придумать. Пообещал постараться придумать.

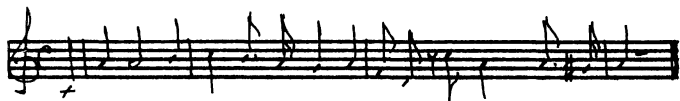


— гремело на всю улицу, на всю Москву радио, —



«Вечная жизнь, — думал Долгомостьев, бессмысленно глядя на покачивающееся от движения *воронка* юное прыщавое лицо милиционера, — вечная жизнь должна означать сохранение личности, ибо все эти рассуждения о круговороте веществ в природе, о том, что атомы, составляющие мой мозг, перейдут со временем в листву какого-нибудь *дуба* или в спинной плавник *окуня*, — все эти рассуждения не решают проблемы нисколько. Но если мириады людей, что

умерли до меня и будут умирать после, — если личности этих мириад сохранились навечно, — куда они денутся, где для них отыщется место, кому они, наконец, нужны? Как это было в старом анекдоте: зачем нам два Сынявских? И потом — кто сможет сориентироваться в этом ужасающем столпотворении? И, наконец: если личность будет продолжать развиваться *вечно*, в какой-то момент она неминуемо переродится, станет совсем другой личностью, то есть та, первоначальная, всё равно умрет. Отомрет. А если развиваться не будет — как невыносимо скучно ей станет к концу первого же столетия...»



И Ле-нин та-кой мо-ло-дой И ю-ный Ок-тябрь впе-ре-ди!

Хотя к полудню — времени, на которое назначено было заседание, *пускать* так и не начали, зал фантастическим образом оказался переполненным, а двор, наоборот, опустел, и только старуха в телогрейке, несчастная Полина Жемчужина, одиноко мокла под мелким холодным дождем, да добродушный милиционер заслонял широкой спиной входную дверь. Все, кто хотел, сумели просочиться в здание: кто *по благу*, кто — ткнув под нос милиционеру нераскрытые красные корочки, кто — нахрапом, а кто и *уговорив* неподкупного стража порядка. Страж пропустил бы, конечно, и старуху, уж больно жалобно и настырно просилась она, но генерал, проходя, строго-настрого приказал, чтобы ни в коем случае на суд не попала какая-то *террористка*, которая, как он уверял, *уже здесь*, и милиционеру, хотя он и не знал, что значит «террористка», казалось, что старуха в ватнике террористка и есть. «Ну, я очень прошу, пожалуйста! Я ведь ихняя. Я ведь товарищу Молотову жена...» — канючила старуха, а милиционер ловил ее на очевид-

ных противоречиях: «А чего ж ты тогда его гражданином начальником называла?» — «А чтоб не нервничал: он любит, чтоб гражданином начальником. А противоречить нельзя — старенький. И город у него отобрали». — «А чего ж тогда они тебя с собою не взяли?..»

Старики же гуськом шли по залу заседаний, и самый плюгавый и обтрепанный из них, дергая усатого за длинную кавалерийскую шинель, пронзительно верещал: «Так вы знаете, Вячеслав, ёлки-моталки, Михайлович, какой вы у нас в доме престарелых популярный? Только про вас, ёлки-моталки, целый день и... (нецензурный вариант слова «беседуем»). Приходит, дескать, толпа на Красную, ёлки-моталки, площадь и кричит: «молотого, ёлки-моталки, молотого...», а отставной генерал рявкал на плюгавого и пытался заткнуть ему рот его же фуражкой. «Молотов, — шепселело в публике, — Молотов... Как, разве он еще жив?..»

Привезли Долгомостьева — воронок задними дверцами впритык ко входу — и доставили под конвоем в небольшую грязную комнату с зарешеченным окном и еще одной маленькой дверцею, а там заперли наедине с вооруженным мальчиком-милиционером восточной национальности. Спустя недолгое время дверца открылась, и вошла Вероника Андреевна. Она сбросила на свободную табуретку надетую внакидку коротенькую шубку и осталась в одном белом медицинском халате, несколько на Веронику Андреевну малом, так что пуговицы, казалось, в любую минуту готовы были отскочить. Под халатом на Веронике Андреевне не было надето ничего — Долгомостьев первым же взглядом засек это, — а в руке — небольшой чемодан с красным крестом на крышке.

«Значит, так, — затараторила Вероника Андреевна по-деловому и буднично, словно виделись они последний раз не три с лишним месяца, а какие-нибудь

полчаса назад. — Значит, так: я договорилась, заседание начнут в твое отсутствие, а ты тем временем успеешь переодеться и загримироваться. Вот, — кивнула на чемоданчик. — Дальше: готовый, жди моего сигнала и раньше времени носа никуда не высовывай (словно Долгомостьев, если б захотел, мог высунуть!). По моему же сигналу войдешь в зал (она показала на маленькую дверцу) и сделаешь жест, — и Вероника Андреевна резко выбросила вперед правую руку, а левую оперла большим пальцем о живот так, словно там был у нее жилетный карман. — Скажешь только одно слово: това'гищи!»

От жеста верхние пуговицы отлетели-таки от халата, и в его распах вылезли две большие немолодые груди с размером в чайные блюдца пигментными пятнами вокруг сосков. «Это потом, — деловито сказала Вероника Андреевна, а восточный мальчик весь выставился, покраснел и сунул руку в карман, чтобы скрыть вдруг появившийся неприличный бугор, вздувшийся форменные брюки. — Это потом. Ты всё запомнил? — Това'гищи!» — и исчезла, словно и не было ее здесь. Чемоданчик, впрочем, стоял вполне реальный, и шуба лежала на табурете, и пуговицы бельмами таращились с потертого, затоптанного линолеума.

«Ну чего стоишь? — резко, с восточным акцентом, вдруг выдал не вполне еще оправившийся от эротического потрясения мальчик. — Тебе ж сказали: переодевайся!» — «Вам-то какое до всего этого дело?» — из экзистенциального своего далека, в котором прожил весь последний месяц, а то и больше, ответил Долгомостьев. Ответил без вызова, но с тем ненужным достоинством, какое автоматически появляется в голосе и осанке, когда не ощущаешь зависимости от собеседника. Мальчик едва заметно сощурил и без того узкие глаза, подошел вплотную, несколько раз больно погрузил твердый свой кулак в незащитный живот Долгомостьева, так что тот, мгновенно поблед-

нев, осел на пол. Тогда мальчик дружелюбно, будто ничего меж ними *такого* не произошло, продолжил сверху вниз: «Раз сказано: переодевайся, значит, надо переодеваться. Чего уж тут не понять?»

Долгомостьев отдышался, встал, положил чемоданчик на подоконник и открыл. Прежде чем зеркало во всю крышку стало под сто-, примерно, -градусным углом, удержанное дерматиновой ленточкой, оно отразило лежащий поверх плотной массы сложенного костюма крохотный черный паровоз с на треть красными колесами. Долгомостьев вынул его и, прежде чем поставить на подоконник рядом с чемоданом, крутанул колёсики пальцем. Потом достал костюм-тройку, манишку, широкий, красный в желтый ромб, галстук, штиблеты, всякие гримировальные мелочи и — удивленно — парик. «Ах да», — вспомнил он и провел рукою от затылка ко лбу по едва обросшему, приятно покалывающему ладонь бугристому черепу. Восточный милиционер услужливо подставил Долгомостьеву табуретку. Долгомостьев взглянул сквозь решетку в окно: на ступенях мокла под мелким холодным дождем одинокая сгорбленная фигурка Жемчужиной.

В зале тем временем вовсю шло заседание: уже оглашено было красноречивое обвинительное заключение; представлены вещественные доказательства (чемодан) и фотографии некоего *супового набора*, в который превратилось перемолотое колесами товарняка тело Рээт; уже выступила, глотая слезы, маленькая старушка в черном, и деловитый молодой переводчик объяснил понятными залу словами и без слов понятные скорбь и гнев осиротевшей, если можно так выразиться, матери; уже допрошены были свидетели: и проводница с «Эстонии» (та настояла говорить по-русски); и проводница со «стрелы»; и еще какие-то железнодорожники; и — снова через переводчика — милицейский капитан Урво Кукк; и Витюша Ответов;

и Иван Васильевич; уже и прокурор сурово и справедливо потребовал высшей меры; и адвокат отговорил свое невятное слово, весь пафос которого заключался в прекрасном моральном облике и замечательных характеристиках с мест работы и жизни подсудимого, да в той еще оригинальной идее, что, дескать, как Долгомостьева ни наказывай, потерпевшую гражданку Прийметс к жизни всё равно не вернешь; и несколько от ясности дела скупающий, хоть очевидно и торопящийся по своим праздничным делам рыжий судья, действительно, до галлюцинации похожий на Долгомостьева, вернее, на *доследственного* Долгомостьева, на Долгомостьева с несбритыми усами и бородкой, с нестриженной головою, то есть скорее на общего их прототипа, так что ошибке джинсового парня у подъезда удивляться не стоило, — несколько раз перешепнулся с обрамляющими его двумя оч-чень толстыми одинаковыми заседательницами и закончил на листе бумаги сложный четырехцветный орнамент. Дело шло к развязке, чуть ли не последнее только слово до сих пор отсутствовавшего («по настоянию врача», — объяснил судья и кивнул на примостившуюся сбоку Веронику Андреевну) в зале подсудимого и оставалось, когда крашенная секретарша вытащила из задней дверцы телефон на длинном шнуре и передала судье трубку. Тот послушал-послушал, а потом, положив трубку на рычаги, предоставил слово общественному защитнику, герою социалистического труда, кинорежиссеру Семену Ильичу Дулову. «Израйлевичу!» — крикнул с места до пупа увешанный орденами отставной генерал, за что получил от судьи мягкий выговор.

Дулов не вышел на трибунку — прямо как-то выкатился: весь бодрый, подтянутый, на добрый десяток лет помолодевший, сверкающий узкоконечной звездочкой с черного лацкана. «Я, каздалевский, много лет проработал в области юстиции, — начал он, — но защитником приходится мне быть в первый, каздалев-

ский, раз!» — «Каздалевский — это девичья фамилия моей матери, — заметил покрасневший и как-то смешавшийся судья. — Вернее, Каздалевская. А в паспорте я числюсь Савичем», — но Семен Ильич, весь страсть и энергия, отмахнулся от Савича-Каздалевского, как от мухи. «Я, каздалевский, юрист по образованию, и потому не хотел бы строить защиту на личных, каздалевский, качествах подсудимого: каким бы прекрасным человеком ты ни был, — если ты, каздалевский, (указующий перст в сторону судьи) совершил преступление, ты должен быть строго и справедливо наказан, и наоборот...»

Каздалевский-Савич от перста вздрогнул, потому что, хоть и знал про себя точно, что никакого вроде преступления не совершал, — а мало ли что сейчас на поверхность выплывает?.. Но общественный защитник не обращал на судью никакого внимания — разве что продолжал пересыпать речь свою, на первый слух бессвязную и бредовую, скачущую от «торжества социалистической законности в героические тридцатые годы, когда, хотя, конечно, и совершались определенные перегибы и головокружения, но, в основном, каздалевский...» к не так давнему процессу над предателями Родины Синявским и Даниэлем, «когда великий советский писатель Михаил Александрович Шолохов в пламенном своем, каздалевский, выступлении призвал судить мерзавцев не в соответствии с буквою, каздалевский, не всегда, к сожалению, гибкого и, в сущности, каздалевский, буржуазно-демократического закона, а по вечно справедливому чувству классового правосознания» и даже с Долгомостьевым, кажется, несколько не связанную, — девичьей фамилией гражданки Савич.

На самом же деле конструкция речи была весьма стройна, непротиворечива логически и остроумна, так что стоило вникнуть в нее — переставало вериться, что всё это сочинил седой утконосый человек с золо-

тою звездочкою на лацкане. Смысл речи был таков: убийство, согласно уголовному кодексу, — это не просто лишение другого человека жизни, а *противоправное* лишение, — иначе пришлось бы признать убийцами солдат, государственных палачей или работников милиции, застреливающих преступников при задержании или побеге, да и многих пенсионеров, сидящих вот здесь, в зале; *право* же убить потерпевшую было у подсудимого безусловно, даже и не право, а священная обязанность, ибо что представляла собою, кем была гражданка Прийметс? Во-первых, яркой эстонской буржуазной националисткой, замышляющей и готовящей антисоветские демонстрации. Во-вторых — дочерью убитого в 1945 году в перестрелке с органами МВД бандита. И, наконец, многолетней любовницей валютчика, фарцовщика и расхитителя, связанного с иностранцами, а ныне — отбывающего справедливое наказание. Сам перевод на русский язык ее фамилии: «вольный лес», — достаточно ясно говорит за себя.

Долгомостьев, переодетый и загримированный, сквозь узкую щель потайной дверцы, выходящей прямо в зал заседаний, слушал своего защитника с нескрываемым раздражением. «Зачем, зачем ты устроила эту комедию?» — шепотом, опасливо поглядывая на восточного милиционера, цедил он сквозь зубы тут же, рядом, стоящей, жарко навалившейся на него плечом и грудью Веронике Андреевне. «Я? — презрительно посмотрела она на Долгомостьева. — Не слышишь ли ты много о себе понимаешь? Сам комедиант, убийца-любитель! Да я б за тебя палец о палец не ударила! Вон, ему спасибо скажи, — кивнула она на сыпавшего каздалевскими Семена Израйлевича. — Едва узнал, что с тобою случилось, — ожил, взвился, помолодел. Всех своих старых знакомых перетряхнул. Письма писал. Вот, смотри», — и Вероника Андреевна протянула Долгомостьеву машинописный листок.

«Несмотря на внешний, кажущийся либерализм, — выхватил Долгомостьев взглядом случайный абзац из середины, — Долгомостьев — человек сугубо наш, и если мы будем разбрасываться такими кадрами — мы попросту останемся без смены. Я знаю его свыше десяти лет, и как член партии с тысяча девятьсот восемнадцатого года...»

«В последнее, каздалевский, время, — вел Дулов свою речь к концу, — мы судим так называемых *диссидентов*, как обыкновенных, каздалевский, уголовных преступников — и совершенно, каздалевский, правильно делаем. Они, каздалевский, не имея в народе никаких реальных сторонников, занимаются по видимости деятельностью политической — в действительности же просто пытаются покуситься на монолитность, каздалевский, нашего народа, и таким, каздалевский, образом, ведут себя как элементарные, каздалевский, бандиты и мошенники. Случай же с моим общественным, каздалевский, подзащитным прямо и принципиально противоположен: по видимости уголовное — преступление, каздалевский, имеет, разумеется, смысл глубоко политический и, в сущности, каздалевский, никаким преступлением не является, а, каздалевский, наоборот: демонстрирует рост в нашем, каздалевский, народе классового, революционного правосознания...»

Что-то не нравилось Веронике Андреевне в облике Долгомостьева. Она, как зашла в комнату во второй раз, — сразу почувствовала неладное, какой-то изъян, но всё не могла разобрать, где он кроется. Вроде бы грим наложен был безупречно, а что-то мешало, что-то настораживало ее взгляд, не то что бы разрушало похожесть, а делало ее несколько карикатурной.

«Так называемая, каздалевский, потерпевшая (я назвал бы ее «справедливо наказанная») не далее, как в день убийства пыталась терроризировать присутствующего здесь, в зале, знаменитого, каздалевский,

нашего сталинского наркома Вячеслава Михайловича Молотова (зал разражается овацией) и была строго предупреждена мною и также присутствующим здесь, каздалевский, генералом Иваном Петровичем (и фамилия генерала тонет в аплодисментах), что шантаж не доведет ее до добра и что неминуемо, каздалевский, грянет Возмездие...»

«Не пойду, — думал Долгомостьев. — Что я им — живой реквизит какой-нибудь? Не пойду я в этот зал на посмешище. Лучше уж всё что угодно. И как не хочется, Боже, как не хочется снова включаться в скучную, постыдную жизнь, с которой уж и распрощался, кажется», — но когда Дулов произнес завершающую свою фразу: «посмотрите, кого, каздалевский, собираетесь вы судить!» и под безумную овацию зала сделал кульбит, сальто-мортале с места, только звездочка, сверкнув, повисла на мгновение вверх ногами и вернулась назад, а Вероника Андреевна больно, кулачком, подтолкнула в спину, сказала «пора», — Долгомостьев почувствовал, как снова объявился в нем и взял власть, казалось, до капли выдавленный им из себя картавый, и повел вперед, туда, в зал, на трибунку, заставив выкинуть перед собою правую руку и крикнуть «това'гищи». «Усы! — в ужасе поняла, наконец, Вероника Андреевна. — Он забыл наклеить усы», — и взяла с подоконника две узенькие марлевые, рыжим волоском покрытые полоски.

Зал, впрочем, отсутствия усов как бы и не заметил, а аплодировал стоя, и параличная девица пронзительно бляла козой, и отставной майор МВД Долгомостьев-старший, вне себя от восторга верещал: «Счастье-то какое, ёлки-моталки, счастье-то! Неужели ж это я его, ёлки-моталки, выродил?!» Судья Савич, закрывая микрофон ладошкой, что-то кричал в общем шуме в телефонную трубку, переспрашивал, страшась разобрать неправильно. В конце концов, оправдание, полное и безусловное, было провозглашено им,

и Долгомостьев, забрасываемый цветами, пошел через зал навстречу плешущим рукам. Правый штиблет колослся гвоздиком, так что пришлось напрягать, поджимать на ноге большой палец.

Хотя капитан Урво Кукк не ожидал подобного результата, ибо не ради него же затевал утомительное свое расследование, но ради Возмездия, — он не мог позволить какой-либо идиотской случайности натянуть себе нос и потому готов был даже и к такому, вполне невероятному исходу. Правда, невероятный этот исход грозил самому капитану судьбою крайне незавидною, но тут уж ничего поделать было нельзя. Капитан достал из кобуры своего «макарова», снял с предохранителя и, оттянув затвор, дослал патрон в канал ствола. Долгомостьев медленно приближался к стоящему в проходе, у самых дверей, капитану, и расстояние было уже достаточным, чтобы не промахнуться никак, но Кукк хотел выстрелить непременно в упор, хотел, чтобы успел его увидеть и узнать Долгомостьев и вполне понять, *что* сейчас произойдет. Как-ких-то пять шагов оставалось Долгомостьеву до капитана, три шага, и уже вспотела капитанова рука на ребристой поверхности коричневых пластмассовых накладок рукоятки, как старуха в оранжевых брюках и съехавшем набок, приоткрывающем желтую кожу черепа нейлоновом парике выскочила наперерез, спиною загородила Долгомостьева от капитана и, вытянув перед собою сжатый обеими руками ржавый наган, дважды выстрелила.

Долгомостьев вздрогнул на каждый выстрел, упал на давно не метенный линолеумный пол, и толпа воронкою стянулась вокруг. Кровь из пулевых отверстий выливалась толчками, пытаясь вымыть, вытолкнуть густой, настоявшийся за долгие годы яд, но тот, обжигая, расходился неостановимым противотоком по всем жилам. Долгомостьев открыл глаза и увидел прямо над собою полное, рыхлое лицо монашки в

апостольнике, лицо Наденьки. «Покайся, — произнесло лицо. — Пока не поздно — покайся и приходи к Богу». Он вспомнил, как читала Наденька молитву на кухне и крестилась, прежде чем выпить коньяк, и ему стало противно. «Дура», — сказал Долгомостьев и умер.

Собственное тело и люди, копошащиеся вокруг него, оказались далеко внизу, словно снятые с крановой точки самым жестким широкоугольником, а перед Долгомостьевым расстиралось огромное серое пространство. Нужно было отправляться в тяжелый путь через топкое это поле, на дальнем конце которого сгустками энергии смутно маячили светлые тени: и мать, и Алевтина, и Рээт, и тот, которого он играл, и Высоцкий Владимир Семенович, — так почудилось Долгомостьеву.

Нужно было отправляться в долгий путь через топкое это поле, неуловимо чем-то напоминающее Красную площадь.

*Ноябрь 1980 — август 1981
Москва,
Соломенная сторожка.*

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

СТИХИ

Инна Лиснянская

ИЗ КНИГИ «ДОЖДИ И ЗЕРКАЛА»

* * *

«Что делать?» — спросила у жизни. Сказала: «Умри».
«Что делать?» — спросила у смерти. Сказала: «Живи».

Чтоб что-нибудь делать, в духовке сушу сухари,
А дождь за окном — как томительный трепет в крови.

То ангел меня посещает, а то сатана,
И каждый выходит из зеркала против окна,

И только себя я не вижу в стекле никогда,
А время течет, как течет дождевая вода.

Я ангелу плачусь, но тут же приходит другой,
Меж нами я воздух крещу обожженной рукой,

Мне кажется: ночь — это уголь сгоревшей зари,
а это сгорели в духовке мои сухари.

* * *

Взгляну налево, посмотрю направо:
Всё на воде стоит — и град, и власть.
И жизнь моя — всего лишь переправа,
И я почти до места добралась.

Не надо мне последнего свиданья —
Ни в чьих глазах печали не прочту,
Не надо и минутного молчанья —
Сама себя молчанием почту.

Мне ль не молчать? Я столько говорила —
И всё-то попусту, всё невпопад...
Словами зацветет моя могила,
Но сорными, как одичалый сад.

И только ты мне на прощанье свистни,
Мой брат, мой подмосковный соловей.
Всё на воде стоит, и мне от жизни
Не надо даже трех ее свечей.

* * *

Я вчера сказала другу:
— Не протягивай мне руку,
Коль попала я в беду,
Знать, не пропаду.

Строгой матери сказала:
— Если я в беду попала,
Значит, и беда мне впрок,
Будет мне урок.

Милой дочери внушила,
Что беда такая сила:
Коли породнилась с ней,
Сделаюсь сильней.

Ну а страх перед бедою
Только Богу я открою:
Много тюрем на Руси,
Господи, спаси!

* * *

В эфире глушилка, в квартире бедлам.
К чему нам усталость делить пополам?

Не слишком ли поздно пришел ты ко мне?
Полмира обуглилось в черном огне,

И только глушилка, как сердце мое,
Еще заглушает себя самое.

К чему нам известья из тьмы мировой?
Транзистор разбей, а гитару настрой,

Гитару настрой и сыграй о любви,
И струны, и строки мои разорви.

МАНДЕЛЬШТАМУ

Неизвестна твоя могила,
Может быть, это — целый свет.
В первом «Камне» такая сила,
Что последнего камня нет.

Только море, песок и тучи,
Только звезды и семена,
Да на проволоке колючей
Музыкальные письма,

Только музыки русской вера,
Только пчел золотой псалтырь...
У задумчивого Гомера
Опрометчивый поводырь.



Транзистор. Самогон. Веретено.
Начало марта. Хвойное предместье.
Стучится, как предвербное предвестье,
То ль полудожь, то ль полуснег в окно.

Мария, Марфа, Лазарь и Россия —
Их четверо, и это — вся Россия.

Но есть и пятый — нигилист Фома.
Он там, где ностальгическая тьма,

Он, расщепляя русскую причину,
Пожизненную схлопотал чужбину.

Мария плачет, Марфа мастерит,
Заглазно Лазарь Фомку материт

И не познания ради, а — приличья,
Туманные выслушивает притчи,

А тот, кто их туманно говорит,
Присутствует, но в воздухе сокрыт.

А за семью дорогами Фома
Свой опыт формулирует, глаголя:
Без времени пространство — это воля,
А время без пространства есть тюрьма.

Трещит транзистор в мартовской ночи,
Как некогда огонь трещал в печи,

И каплет воск из-под горящих век...
Россия. Полудожь и полуснег.

* * *

Я проситься буду в пекло адово,
Даже если Бог меня простит.
Серый пепел на малине матовой,
А торфяник розовым покрыт.

В душном времени, в болотном пламени
Имя Господа мы долго жгли,
И сгорали сами, и как знаменье
Ливни милосердные сошли.

Я и грешница, и погорелица,
Каюсь на пространстве торфяном,
Низкий голос по России стелется,
Словно дым, который был огнем.

И, наверное, когда покину я
Навсегда земную колею,
Тень моя не раз придет с повинною,
Если даже окажусь в раю.

* * *

Я вновь зализываю раны
На берегу залива,
Где свет Финляндии туманной
Течет неторопливо,

И как бы нехотя, небрежно
Отряхивают ели
С себя на берег желтоснежный
Вчерашние метели.

Забудь, душа, что ты ранима,
Забудь, что ты гонима,
Прими туман как побратима
Отеческого дыма.

* * *

Поздний ангел (мой курсив)
Был в тот вечер некрасив:
Кудри странно развились
И глаза смотрели вниз,
На щеках — мешки от слез,
Ветку вербы он принес.
Мыслью тайною горя,
Так сказал он, говоря:
«Грешница!» — (его курсив), —
Всех обидчиков простив,
Предоставь судьбу судьбе,
Верба — это знак тебе».

Александр Р а д а ш к е в и ч

НА СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРЫ ФЕОДОРОВНЫ

(Из цикла «Тот свет»)

*Я одинок в углу стою,
Как жизнью полон я тобою,
И жертву тайную мою
Я приношу тебе душою.*

В. Жуковский

I. Фрейлины

Тогда разинул уста и веки кто-то из маленьких великих князей: от свечки его склонённой возвилось змеем лазурным пламя и поскользило, мечась, к короне, зависшей в сводах над катафалком, чешуи пепла в пути ссылая — вниз, где запнулась уж панихида и ГРОБ НЕСИТЕ! — уж голос царский. Но в грузных символах теряясь, всё послабело и дымом сникло...

Переглянулись, перекрестившись. А в головах неслышащей царицы три фрейлины пребыли недвижимы (не так себя до нас ваяли), не поведя гравюрной бровью — за маями, летучими снегами и рóдами и за концами, небывшим за и забытым, за клавибордами, дуэлями, скамьями и ротондами, альбомными стихами, гитарами, качелями, парадными, за снами, за ней, с замкнутыми очами. И все при этом помянули, что и Адини погасла в Царском; как колесом в гробу стояла грудь Николая, а сам был чёрным (как жизнь тому назад, в Берлине, он Лаллу Рук вел в паре юной, чтоб мистик спел

полувлюбленный нам гений чистой красоты); и злая
ночь: она,
во мраморе, одна всплывала за волнами громадными
пожара, что Неввою ледяной гуляли в Зимнем... Гуляли
в Зимнем! И в той несбыточной кадрили
как прокатили по залам жарким — кружащей цепью.
За государем. Как пролетали — рука в руке.
В неизгладимой.
И за лицом как отвернулось необратимое лицо.

1865, СПб./21. IX. 80. Нов. Гавань

II. Собор

Мимо стен страшашей толщи, окон в нишах,
часовых, вѣтра гóлоса и хлѣста
из проулков черноты, перемахивая лужи
с исковерканной листвою, паж в лосинах —
след мипáрти — на полночный пост к царице
пробирается в собор. За плечом оставил ветер,
забежав в глухую арку. Холод плит сукно проходит.
Обернулся. Глазом сизым газ мигнул из фонаря.
Шорох будто? Может листья... Приближаются шаги.
Ну же, чёртова перчатка!.. Прости, Господи. Пора.

Свечи щёлкают нестройно. Как мышей сухие
крылья, за колоннами знамёна. По надгробиям —
кресты. Лоб далекий над парчою. Наплывают на
ступени фрейлин шлейфы и вуали. Статуарными
пажами, горностоями, гербами слышит дымный
катафалк, как куранты запевают, чтобы Бог
царей хранил. Тучи тяжко откатали. Сед
в ноябрьской луне, накренился плоский ангел
на верху гранёной мачты — и повлѣк,

не тронув ивы, в пропасть скользкую
залива по Неве ладью Трезини,
забирая ветер чёрный в озолоченные крылья.

1865, СПб./21. VIII. 80. Н. Г.

ЭЛЕГИЯ КАЖДОГО ДНЯ

Так провожу в завалы ваших улиц
гирлянды слюбленных домов с усталыми
дворцами, суровой нитью смётанных, как души,
отлившие из них. Нагие толпы верных статуй —
от сахара надколотых колонн, с позеленелых
кровель, из
погостов праздных, ниш и парадизов вдовствующих
парков
так провожу.

И волоку шелка мышиные дождей, дождей,
ночей сквозных вздутые полотна и аллегорьями
расписанную завесь, чья тяжесть — мир,
который про меня.

Мятежной карой наводненья
так крою катящую нежить на мостовых, по сизым
тротуарам —
ряды менял и юрких фарисеев. Крылом волны я грудь
поутру
свежу — пустую — так.

Так ветер, снова рвущий вспять
из озверевшего залива, устами скользкими прошедший
свирели тех мостов, меня опять пронесит мимо,
мимо — с обратными глазами мимо всех,

кого не дарит звоном и лучами
и чьих ладоней плоских не язвит
МОЙ СЕВЕРНЫЙ ЦВЕТOK ВОСПОМИНАНЬЯ*.

11. VIII. 80. Нов. Гавань

УТРА

В галерее тополиной — утра, что отбыли ветром.
Звонкий луч просвечивает веки. Те ли —
склонов уральских, с иконной ладонью, что ткани —
сеть золотую далее — вдруг потянула рассвета? Те ли,

выспанные ангельски над озёрной сталью белорусской?

Те ль — с не-солнцем петербургским, в молоке и в
перламутре, где завис в нас — через души —
прожитой не-сон, не-город,
упираясь в теми хлябей фонарей кометными столбами?
Крепость — чайка — нежность — пропасть —
лодка Господа без вёсел...

То ль — растрелльевых ступёней, у дверей слепой
каморки,
где каштановые взоры над подпухшими устами —
теми, которые, помню, не последними выплывут
в смерти?

И когда я не проснулся — то ли утро, то ли
утро?

Те ли — в пыли оренбургской,
что катается под кожей, или — с елями и паром, а под
веком —
с парусами, на больном снегу германском? Утра

* Эта последняя строка — Жуковского.

(мы цветов — слабее), ущерблявшие на годы
из беспомощных объятий барабаном разлучений.

Утро: дважды

ворочался (а туманы гнули спину) к сизовекой,
к лучеокой — окликавшей мне лишь внятно... Да и

то моё — без ночи, беломайское, сплошное,
в кровь изранившее ноги
под растраченной, набатной, разбескрайней
головою. В нём возмездья — как награды
и как долгий нож — дороги. И тогда —

московское не-утро и не-свет. Неверное
такое. И тогда —
отвесившее небом молодость и родину мою.

12. VIII. 80. Нов. Гавань

ПОЭТ ЗА ОКНОМ

А. К. Ранниту

Это в мягкую шерсть завернувшись,
птиц галдящих в полёт поднимая,
на лесбосские лирные волны
так выходит Алкей сегогрудый,
вея миррой от плеч, сокрушённых
хмелем битв и похмелием пирным.

И взор его моря шире.

Это в синие призраки сосен,
пролетающих в небо и в воды,
так кувшин зашвырнул опустелый
нелюдимый Ли Бо — лишь великую спину завидел,

будто остров, вслепую скользящий
на луны золотую дыру.

Дали зеркальные в тысячи цинов.

На вокзальных камнях Царскосельского
это сжал под бобровой шубой,
так преставясь нечаянно, Анненский
Иннокентий — осколки и тени,
что слагали, что вдруг разорвали
архаически властное сердце.

Урна слушает шум кипариса.

Это ловит снег устами —
вкус судьбы в кристальных сагах —
так кружащий Йёста Берлинг,
слава северных поэтов, обожающих заветы
для пленительной измены всем теням и
всякой вере: верность в сём гипербореев.

Пряди русые за ветром.

За окном среди дня так ведет, не заботясь,
четверых за плечами высокими,
под аркадой сплоченных столетий,
крылобровый Алексис Раннит,
раздвигая немолчным безгранием Балтики
путь, мощённый ему янтарями.

И оконо процветает молчаньем.

5. VI. 80. Нов. Гавань

КАПИТАНСКАЯ МОГИЛА

Джон Брэдли — мёртвый капитан, плавучая душа.
И туя сзади ни при чём, когда такая тишь
растит на паруснике пыль.

Не трудно пряди на ветру, который ходит там,
признать на лбу и по плечам. И кто еще таков?
Кому досталось бы душой шершавой править облака
с восхода на закат!

Джон Брэдли, ярый капитан: над именем фрегат.
Он отжил восемьдесят зим и к ним одну весну —
до дня прощанья кораблей, и в этот день отплыл,
оставив хлябей плоть иным, совсем
теперь один. Был ветер в спину. Но волна! —
она проходит сквозь... И вниз она.
А парус — сам

Джон Брэдли, млечный капитан. Когда такая тишь,
матросы знают наперёд, не обернув чела,
как править им на том ветру высокие труды.
И в прядях их так густо звёзд —
на лбу и по плечам,
в очах же — дымные поля, что снились в детстве нам.
И начал первый так:

ДЖОН БРЭДЛИ, ЮНЫЙ КАПИТАН... А ветер
подхватил.
И каждый гулко вторил там, не отворив уста.

10. IX. 80. Нов. Гавань

К «СКАЗКЕ КОРОЛЕЙ» М. К. ЧЮРЛЁНИСА

За каменными змеями ветвей,
меж коими висят опухшим роем звёзды,
в зубцах и снах и птицах иглокрылых
плывёт возвышенно наш отчий замок,
где в ночь иную с нами начудят,
по простыням, коврам, исхоженным ступеням
топча протянутую кровь,
чья явная и стылая лазурь
для детских глаз нещадной черни ала.

Край сосен и полей в литовских тополях,
откуда крылий выпорхнул багрянец,
страну живую — солнце поздних дум
сегодня мы подняли на ладонях,
лобзая взором лес и дрёму тёплых крыш.

Огни дрожат в надвинутых венцах
и длань, как корень, на мече весомом.
В прозрачный час молитвы о земле
мы подорожникам её поклон положим.
Ведь звездный ход так мерен и подведен
и города восходят по ветвям —
соборы, мельницы и кладбища на скатах —
как плоть надежд во мгле обожествлённой,
где нива светит в лица королям.

III. 81 г. Нов. Гавань

РАДАШКЕВИЧ Александр — родился в 1950 г. в Оренбурге, окончил школу в Уфе, в 1967 г. поступил на исторический факультет Ленинградского университета, занимался геральдикой. После первого курса ушел из университета, служил в армии, потом работал в Ленинграде водителем троллейбуса, механиком по лифтам и т. п. Эмигрировал в США, живет в Нью-Хэвене, работает в библиотеке Йельского университета.

* * *

Я жил в краю, где ничего не происходит,
я жил в раю, где ничего уже не будет,
где человек у жизни на исходе
себя, как птицу или дерево, забудет.

Все переезды снегом заносило,
куда-то ехал тракторист, и было дело,
лесов нетронутых чудовищная сила
ни осудить, ни приголубить не хотела.

Но только сна меня доверчивая ясность
коснулась сразу как ресницы слиплись:
в ночном угле перебегала не опасность,
но замыкал свое кольцо Апокалипсис,

как по огню, шла Богородица по мукам,
а по утру, во всей округе одинаков,
горел рассвет, валился месяц полукругом
в лесную даль. Что ждал Сергей Булгаков

от этой пустоши на этом пепелище,
когда один медведь-молотобоец
стоит в сугробе, да и тот уже не рыщет
по срубам вымершим, навеки успокоясь?

* * *

Не обо мне жалеть, да и невесть о ком,
я пойду в Москву на Палатинский холм
смотреть как поднимающийся огонь
затягивает пустоту окон.

Безобразно думать в больной стране,
лёжа по грудь в родной земле,
что так называемый третий Рим
до корней волос храним.
Твой и рот и быт, подставной Нерон,
мне до пёсего хая уже смешон:
ну, вырежь ты меня или побей, —
сказанное мной переродится в ней.
Не обо мне жалеть, да и невесть о ком,
пока я не стану ей чужаком,
не увидишь кающегося в живом.
Я приду в Москву на Палатинский холм,
где огонь над башенками кремля
бугорок осветит, в котором я.

* * *

Во мраке известного снимка,
откуда он в душу глядит,
задёрганно брезжит морщинка,
и лысина чётко горит.

За лезвием этого взгляда,
за роем язвительных строк,
наверное, в круге девятом
картавит его говорок.

Ты думал: на свалке марксизма
как лишнюю в чьём-то строю
огрызок общественной жизни
покроет и веру мою?

Так в похоти здешней потравы
с приветом Оттуда лучись,
пока ещё губы кровавы
и взгляд подколотный нечист.

Кто-то кричит по ходу товарняка,
что — уже не расслышать наверняка,
рядом деревня, подобранная как губы
беззубой старухи, точащей свою косу,
овечье стадо вытаптывает росу,
гнёзда ласточек жмутся под крышу сруба.

Стоит ли всё это жалости? ведь она
никому не нужна здесь, как не нужна страна,
как не нужно то что случилось и то что будет.
Недолго ждала Инония свой черёд:
всё сошлось по Есенину, только наоборот,
потому что не зарифмованы эти люди.

Головы мальчиков, купающихся в реке,
как поплавки, относимые налегке
от берега ветром, собака с опаской волка
вслушивается в переплёски рыб,
на закате малиновой солнца речная зыбь,
как балалайка, звучащая мелко, долго...

Если тебе придётся найти приют
у колодца, который не заплывают,
потому что вылетит-не поймаетшь,
найди лягушку на курьих ножках и с ней
жди татарина в гости, пока не придёт во сне
та, которую думал, что не узнаешь.

Белые ночи, как полог от комаров,
блеклые мотыльки рыбацких костров,
доживая свой век, тычатыся на прощанье
в тихую марлю, сон тяжелит людей
в лабиринте распяленных на шестах сетей,
где жизнь их, как забытое обещанье.

Можно жить в деревне, строить свою избу,
собираться засветло на косьбу,
наблюдать куда это всё уходит,
становиться своим, похожим на молодёжь,
пить, пока окончательно не поймёшь:
их забыли, и они себя не воротят.

Кто-то кричит по ходу товарняка,
что — уже не расслышать наверняка,
что-то уходит, неуследимо гибнет,
и не запомнить на чём оборвался крик,
только и успевает грешный язык
выговорить: Господи, помоги мне.

* * *

Месяц и солнце свели с концами концы,
но жатва идёт, и веселятся косцы,
с каждой отмашки лезвия зелена,
злак оседает, на повороте дня
не остаётся ни плевела, вдалеке
поле и поле, дорога идёт к реке,
а на откосе, не прикрывая век,
бесконечно седой стоит человек.
Бороду ветер веет, глаза пресны,
кожа лежит, как земля из-под бороны;
и от воды взгляд в небо переведа,
в холодке подступающего дождя
пальцы в щёпот сложив, осеняет себя крестом
и лиственным шёпотом говорит потом:
«Боже, очисти мя грешного, ибо перед Тобой
всё открыто, дай мне покой
христианской кончины: вижу, пора пришла,
слёзы мои — Тебе, а злые дела
мне останутся. Милостивый Христос,
видишь, что я за ношу Тебе принёс!

Если бы раб Твой с Хозяином жил всегда,
делал бы всё, чтобы войти тогда
в Царствие Божее, — я Тебя забывал,
бес меня путал, и сатана пытал:
я и блудил, и воровал, и пил,
и в церковь-то сколько уж не ходил,
людям одно горе со мною жить,
но сладко к быстрине Твоей приходить,
пить от неё, благодарить и жить,
как молиться, славу Твою хранить
в деле, когда-то принятом от людей
милостью и щедротами воли Твоей.
Эта дорога к Тебе меня привела.
Господи, Христе Спасе, прости заблужденье зла!
Да не найдёт на камень коса косца
во имя Твоё, во имя Духа Свята, во имя Отца!»

СУХОТИН Михаил Александрович — родился в 1957 году, живет в Москве. По специальности переводчик, в поисках хоть какого-то заработка сменил немало профессий. Печатался в журнале «Поиски».

Скончался Шаламов

17 января в Москве в доме для престарелых в возрасте 74 лет скончался **Варлам Тихонович ШАЛАМОВ**, известный русский писатель, автор одной из самых правдивых и самых страшных книг о сталинских лагерях: «Колымские рассказы».

Шаламов не просто прошел через советский ГУЛаг, он провел там в общей сложности 22 года, изведав самые жуткие из островов Архипелага. В 1929 г. он был впервые осужден на 5 лет лагерей. В 1937 — в эпоху «большого террора» его вновь арестовывают и отправляют на Колыму. В 1942 — срок закончен, но специальным постановлением Шаламова оставляют в заключении «до конца войны», а вскоре — в 1943 — он снова осужден лагерным судом за «контрреволюционную пропаганду».

На свободу Варлам Тихонович вышел лишь после смерти Сталина — в 1953 году. С тех пор больной и потерявший все писатель жил в Москве, зарабатывая литературным трудом. Вышла книга его стихов, отдельные вещи появились в советских журналах, но главная книга — книга всей его жизни — «Колымские рассказы» — так никогда и не была опубликована в СССР. Но ее узнали — через самиздат, рукопись «Колымских рассказов» широко разошлась по стране. А в 1980 книга наконец вышла в свет в английском издательстве «Оверсиз». В 1980 г. Шаламов был удостоен за нее «Премии Свободы».

«Русская мысль»

СМЕРТЬ ВОРА

В Ялте пылал пожар.

В Ялте пылал пожар любви.

Над городом внезапно взвились сладкие полупрозрачные сиреневые дымки. Мужчины забыли о еде, они думали об этом. Женщины продолжали носить длинные разрезы, несмотря на участвовавшие случаи изнасилований. Вошло в обиход выражение «литерическое насиливание».

Жизнь в эти дни шла тихо, томно и сладко. Соловей, которого вчера накормили винными хлебными крошками, утром на похмелье нервно сжимал крыльями соловьиных, косил покрасневшим глазом на голубицу с соседней крыши, пытался петь, срывался на петуха, сплевывал вместе с перегаром и сипло повторял: «Споили, суки!»

Под деревом второй день сидел прораб Курочкин, научившийся за эти два дня понимать птичий язык. Отравленный любовью ветер шевелил рыжие листья и они, чуть слышно царапая землю, ползли друг к другу.

В эти два дня Курочкина не интересовало ничего, кроме дымки в море, травы и солнечных блесков, которые желтыми кругами внезапно останавливались перед ним, а в них овалились полуженские женские лица.

Возможно, это будет выглядеть неуместно, но все же следует напомнить, о чем в эти два дня начисто забыл Курочкин.

Он забыл о своем жизненном предназначении и именно этим вызвал гнев своих богов. И одутловатые боги в синих бостоновых костюмах наливались медленно малиновой злостью, и, наконец, тот из них, что всегда резюмировал, проклял:

— Накажем?!

Все в ответ рывкнули разом и коряво вздыбили вверх руки в бостоновых рукавах.

С тех пор неожиданный сладкий штиль в жизни Курочкина был нарушен; потные, чужие человеческие руки взялись за его судьбу и, оторвав ее с мясом от Предназначенности, стали загонять, ломая кости, в чужое, серое, бетонное ложе.

Но Курочкин еще ничего об этом не знал. Его деревенские синие глаза остановились на млеющем горизонте, и все струилось в его душе, как, бывает, струится воздух над щедрой деревенской землей в раннее, ослепительное, журчащее синью и птичьими голосами утро. Два дня Курочкин был влюблен. Он позавчера, дрожащий, упал к ногам оранжево-смуглой девушки и вымолил любовь бессильными трясущимися губами и печальной росписью вдруг ставших огромными синих глаз. Лишь только тогда Курочкин обратил внимание на землю, на которой он уже тридцать лет жил. А после этого мгновенно стал понимать птичий язык. Ранее он сказал девушке, что до этого только кирпичи, балки и черепица его интересовали и даже не так они, как их цена. И еще, в какой-то период слабой реальности, глядя в родную и страшную бесконечность неба, высказал он мысль о том, что, может быть, напустили на Ялту специальные лучи любви существа, прилетевшие сюда на какой-нибудь тарелке.

— Да, — повторял ей слабо Курочкин, — случилось это со мной молниеносно, так, как будто луч в меня вошел.

Девушка приходила и уходила, они где-то бывали, а уходя она оставляла запах своей апельсиновой кожи, и это было наркомозом до следующего свидания от выедающей душу боли расставаний.

Так как рассказ у нас короткий, то пока оставим Курочкина среди любви, моря, понимания птичьих речей и заглянем к его собратьям, коверкающим его судьбу.

Один из его собратьев, Начальник, не очень главный для многих, но главный для Курочкина, собрал еще двоих в своем кабинете и, веря этим двум до конца, заговорил, хрястко загибая пальцы в волосатый кулак:

— Он нам всю жизнь ломом ломает. Он винт, что быстро не заменишь. Он поит, кормит нас, в результате — наслаждает, а мы от него других кормим, а те — других, до самого Первого в нашей области.

Дама с угольным взглядом средневековых ведьм сдвинула по застонавшему стулу свои пуды и пробасила воздух официальным шепотом:

— Если говорить строго между нами, то он лучший вор из тех, кого мы имеем. Он замечательный работник, я думаю, что он лучший вор в области. Нет ему в этом равных. Вспомните, как он сдал всю олифу в магазины и все-таки построил жилой дом. А как легко он продал башенный кран!

Глядящий до этого балбесом покатый, высокий, редкоблондинистый мужчина заелозил белым червем и, потирая ленивую мякоть рук, закивал:

— Именно, именно товарищи мои родные. Нет у нас больше на строительстве другого такого вора. Ах, как щедро наградила его матушка-природа! Нет, не скудеет на таланты земля расcейская!

В последней фразе мелькнул уголок плохо замаскированной зависти. Дама дрогнула колодой бедра, зацепив ополоумевший от этого дубовый стол. Звякнули по-щелячьи графины и замерли на потолке мухи.

— Короче. К ногтю его. Заставим. Вернем. А если же нет, то срочно нужна причина, почему мы временно прекратили давать средства вверх. А такая причина — только смерть дающего.

Начальник ослабил галстук:

— Да, гибель это выход. Это тяжелый, но политически зрелый выход... И этот выход закрывает про-

ход разговорам о растратах, фондах и недостатках в партийно-воспитательной работе... Так держать!

Червяк заплескал бархатными руками:

— Трагическая гибель, уход в небытие, нужно и современно...

— Вы! — сказали они одновременно, и взгляды их остановились на кружевах воротника дамы, над белой пеной которых ожившим чудовищем раскачивалась шея. Дама в ответ тщеславно обнажила разные лопаты зубов и молодецки передернула валунами плеч. От этого перхоть, обсыпавшая ее плечи мелкой рыбьей чешуёй, гадкими хлопьями поплыла вниз.

А в это время Курочкин сочинял первое в своей жизни стихотворение:

Было серо, как в мешке,
Груздем скользким висел дождь,
В отоплении тупо и глухо журчала вода.
А сейчас я выплыл в открытое море
И полюбил солнце, которое, как медный замок
на дверях далекого очень неба.
И еще я люблю любовь,
которая грустно пахнет апельсином...

Гудки милицейских машин вонзились в розовую целомудренность утреннего мира.

— Прощай, дуралей наивный! — прощелкал с дерева соловей, — я ведь тебя предупреждал — смывайся! Теперь твоя песенка спета...

И он продолжил полоскать горло микстурой для народных певцов.

Курочкина привезли и затолкали в комнату к Даме. Был полумрак, крутилась на радиоле пластинка, двести краснознаменных глоток пели «По долинам и по взгорьям», со шкафа прищурившись смотрел кот. Влажно мерцала бутылка экспортной «Столичной». Курица, покрытая бумагой, напоминала покойника

под саваном. Дама была во французском халате, сшитом из двух.

— Выпьешь, Вася?

— Нет, пить не хочу и больше никогда не буду...

— С чего ж это, Вася?

— Люблю я. Люблю в первый раз. И из-за этого еще и землю любить стал...

Дама частично разверзла халат, броня ее ног открылась, она кокетливо качнула туфлей мужского размера и плотоядно потянулась. Во время треска костей и материи на другом этаже от разрыва сердца сдохла молодая мышь.

— Это мы, Вася, исправить можем в сей же момент...

Куручкин засмеялся. Вначале он смеялся тихо, но, вновь глянув на чехлы, покрывающие чудовищные горы даминоного бюста, затрясся от веселого смеха, тонкий запах апельсиновой кожи вдруг вернулся к нему. Тогда дама чугунно грохнула ногами об пол и встала. На окраине города перестали лаять собаки.

— А как насчет того, чтобы немедленно продолжить работу!

— Не, — глуша последние смешинки, завертел головой Куручкин, — воровать больше не буду, никогда не буду...

— Врешь! — прорычала Дама.

— Нет, — сказал Куручкин, совсем не испугавшись, — никогда не буду. Богом настоящим клянусь...

Именно то, что Куручкин совсем не испугался, и решило его странную судьбу.

— Другого выхода нет, товарищи, — сказала Дама шкафу. И из шкафа вышли Начальник и Червяк. Начальник протянул толстые фаршированные пальцы, а Червяк мучнисто-белые.

— Хорошо, — сказал Куручкин, вдыхая прилетевшую чудесную волну апельсинового тела, — я сейчас не боюсь смерти...

Утром Курочкина нашли на том же месте под деревом. Долго не знали, что он уже мертвый. Узнали потому, что грязная дворняга остановилась возле него и, глядя в помутневшую синюю роспись его глаз, завывала страшно, даже почти по-собачьи.

И с тех пор не стало на земле Курочкина. Плакать хочется, а что сделаешь... Втоптали его все-таки в бетонное ложе новой судьбы. А женщины с разрезами на платьях вздыхали:

— От любви умер. Не ответила жестокая взаимностью в первый вечер, он от этого и умер. Ах, сволочь, сволочь она... А вот мы-то, мы-то, товарищи женщины, куда глядели?!

И синее море терлось по-собачьи о белые ступени гостиницы «Ореанда».

МОРГУЛИС Михаил — родился в 1941 году в Киеве. Учился в школе, Речном техникуме, Институте водного транспорта, Школе журналистов. Печатался в газетах, журналах с рассказами, статьями, писал сценарии для театрализованных программ, для радио, телевидения. В 1977 году эмигрировал, живет в Нью-Йорке. Редактирует ежемесячник «Литературный Курьер».

СТИХИ

Кирилл Померанцев

* * *

Пускай звенят, пускай летят пустыни —
Сегодня ты, а завтра я умру —
Мы позабыли, блудные, о Сыне,
Заканчивая нудную игру.

Застрали звезды в рваной стратосфере,
Летит Земля в свинцовое ничто,
Готовится к отплытью на Цитеру
Из Валансьена шелковый Ватто.

Сегодня день святого всепрощенья,
Благоухает колокольный звон...
И не нарушат Высшего решенья
Какие-то Москва и Вашингтон.

* * *

Сырой туман и день потусторонний,
Над Сеной отвратительный туман.
На площади Согласия сегодня
Обломки снов уносит океан.

Из-под моста клошары возникают,
Вползает жизнь в привычное русло:
Здесь морду бьют, а там благословляют —
И видит Бог: «Всё хорошо зело».

* * *

Я сослан в самого себя,
Я заточен в свое создание,
Я — вся огромность мироздания
В песчинке собственного «я».

Я сослан в самого себя.

Я — концентрационный лагерь,
Я — Бухенвальд и Колыма,
Бунт в Будапеште, танки в Праге,
Труп догнивающий в овраге,
Я — Божий мир,
я — жизнь сама!

* * *

Мне больше ничего не надо:
Встает ущербная луна,
И пиренейская прохлада
Благоухает у окна.

Ни в атомную катастрофу,
Ни в благоденствие людей,
Я верю только лишь в Голгофу
Бессмертной родины моей.

Голгофа значит — Воскресенье...

Я ИДУ ПО ПАРИЖУ

(Из книги «Вне России»)

Я иду.
Я иду по спирали тугой
Удивительных аррондисманов.
По дороге надежд и обманов
Я иду — а не я, так другой.
Наступают дома, подступают с боков,
Тяжко жмётся этаж к этажу.
Говорят, что Парижу — 17 веков.
Не считал. Не скажу.

Я иду сквозь парижские толпы.
Я в стеклянном расплаве июньской жары.
А за мною — тяжёлый и жёлтый,
Серый, бурый, коричневый Консьержери —
Этот каменный призрак, осколок столетий,
Мёртвый, хмурый, таинственный Консьержери.

Я иду в ослепительном свете.
По прекрасным местам.
Я иду
По висячим мостам,
По старинному парку.
Задыхаюсь от слов и от слёз.
То и дело ныряю под арку.
Это ж — правда. Всерьёз.
А в ответ — ни ответа.
Задыхаюсь от слёз и от слов.
Говорят, на рассвете 20-го века
Здесь гулял Николай Гумилёв.

Я иду.

А навстречу — огромные трубы,

А навстречу — зелёные, синие, белые трубы.

Для чего они тут?

Ведь они никуда не ведут.

Ведь ни дыма, ни звука.

Говорят, торжествует наука:

Это центр Помпиду.

И ещё говорят,

Что Париж, мол, таков,

Что ему, мол, 17 веков.

Для чего мне 17 веков?

Лучше я за 17 непризрачных франков

Бутылку куплю

(Я бутылку люблю),

Лучше выпью за счастье борделей, за радости банков!

Я бутылку куплю.

Выпью с тем ароматным клошаром.

Или с негром седым —

Он похож на живой негатив.

Фиолетовый дым.

Фиолетовый дым над Земшаром.

Ладно, выпьем, чуток погодив.

И с клошаром.

И с негром.

И с призраком Н. Гумилёва.

Снова, снова и снова

Я качусь по Парижу, как мяч,

По спирали его 20-ти

Соблазнительных аррондисманов.

Я качусь, я верчусь.

Но хоть плачь —

Никуда не пройти.

И не выбраться из 20-ти

Удивительных аррондисманов.
Я качусь по Парижу, как мяч.

А когда златокудрый Трубач
Загудит в эти белые, синие, в эти зелёные трубы,
А когда с Пэр-Ляшез
Вдруг — автобусам наперерез —
Оживая, поднимутся трупы,
И настанет конец —
Вот тогда
Мы поймём, наконец,
Для чего эти странные, эти огромные трубы
Здесь воздвигла мадам Помпиду.

Я иду.
По Парижу иду.
Я расширенных глаз не смыкаю,
Точно впрыснули мне атропин.
Окончательно сбился с тропы.
Ничего не смекаю.
Не смекаю, не знаю, где «тут» и где «там».
Не имею понятия, что «раньше», что «позже».
Я иду.
Светлосизый игольчатый дождик
По парижским стучит площадям.

Париж, 4. 6. 79

СТИХИ О ДУШЕ

Вот стареет тело, холодеет,
Отступает к Лете не спеша.
Но зато так дивно хорошеет,
Расцветает странница-душа.

Мудрая и нежная Психея,
Пленница в темнице душных вен,
Знаю я, ты хочешь поскорее
Сбросить тела надоевший плен.

Ты устала следовать кривыми
Тропами земного бытия...
Тело — бремя, тело — только имя,
Только ноша трудная твоя.

И, нездешней волею хранима,
Ты — ведь это настоящий я,
Я, который слышал Серафимов
На заре земного бытия!

ВОЛИН Михаил — родился в Китае, в семье дипломата. После революции жил в Индии, на Филиппинах, в Австралии, где организовал кружок русских поэтов «Пятый континент». В Австралии удостоился двух литературных премий за короткие рассказы. Автор нескольких книг, переведенных на английский язык, из которых наибольшее распространение получили «Вызов годам» и «Тихий час». Живет в США, руководит школой йоги.

Россия и действительность

Анастасия Поверенная

СОЙДЯ С ТРИБУНЫ

(Очерки о работе советского пропагандиста)

...Шла по слякоти, не разбирая дороги. В ушах стучало: ...«Мало ее из партии исключить, судить ее надо как врага народа!»

Я — враг народа? Кто же это кричал? Ах, да, тот капитан в отставке, с которым мы когда-то сажали клены у нашего дома... За что же он так? Разве он не знает новой конституции? Теперь нельзя так...

Но мне кажется, что эти же слова кричат мне вслед все прохожие... И уличные фонари тоже... или вместо них теперь громкоговорители? Троллейбусы и автобусы рычат то же самое: «Враг, враг, враг! Судить, судить, судить!»

Ни обиды, ни злобы нет — только тяжелая боль барабанит в голове... Куда же это я иду? Мне совсем не надо было выходить из двора — ведь это двор нашего дома, ведь все это было в нашем домоуправлении. Надо повернуть обратно, надо идти домой, но сил нет... А муж, конечно, ждет, волнуется. Встретить меня он не смог: собрание затянулось до позднего вечера, и ему пришлось кормить детей ужином и укладывать их спать...

Враг народа... Почему это слово никогда раньше не звучало для меня так весомо, проходило где-то по касательной моего сознания? Может быть, потому, что слишком часто повторялось?

Для семьи моего мужа оно давно уже прозвучало в полную силу...

В 1926 году разрядили обойму пистолета над головой его дяди. «Отрекись! — сказали ему. — Нам нужны грамотные люди. Отрекись — и сделаем тебя красным командиром!» Но не смог ксендз отречься от веры и отсидел с небольшим перерывом 27 лет — долгий путь: Соловки, Магадан, Уссурийский край... «Отрекись!» — сказали в 1932 году сестре ксендза, которая была одним из организаторов Католического клуба в Ленинграде — единственного в Союзе. Не отреклась и она, и дети так и не знают, где ее могила... А в 1937 году пришла очередь и моего свекра — преподавателя Технологического института. От него не отречения требовали, ему говорили: — «Сознайся!» Но сознаваться было не в чем — и его тоже смолола эта мясорубка. Его жена, моя свекровь, женщина с высшим образованием, осталась с двумя маленькими детьми, жить было не на что, на работу не брали. Она продала все, что могла, и, наконец, в отчаянии написала в обком партии: «Не могу больше так жить. Если не дадите возможности работать — отправлю детей и повешусь сама!» После этого ее взяли смотрительницей в какой-то музей...

А меня вот уже два года не допускают к работе. С тех пор, как подала на выезд и уволилась... Нет для меня больше места среди этих людей, которые еще недавно были так доброжелательны ко мне — одни с оттенком почтительности, другие со скрытой завистью — из молодых да ранняя, вон как высоко взлетела!

Как за это время все переменялось! Те, кто ел и пил в моем доме, при встрече отворачиваются и прячут глаза, и наоборот: те, кого я раньше не замечала, теперь тихо здороваются и стараются незаметно пожать руку...

А сколько было за эти два года «приглашений», вернее вызовов: на бюро обкома, горкома, райкома, на несколько парткомиссий, устроили даже заседания выездного бюро у меня на квартире, хотя никто их не приглашал...

И бесконечные вопросы-допросы: «Отдаете ли вы себе отчет в том, что, если вы покинете СССР, путь назад для вас будет закрыт навсегда? Почему вы так легко предаете Родину?» Или еще: «А вы не подумали о других лекторах-евреях? — строго спрашивает меня Вера Георгиевна — председатель парткомиссии и моя бывшая почти приятельница. — Ведь мы теперь всех их можем подозревать в измене Родине и стараемся не предоставлять им кафедры!»

Да за такие слова, Вера Георгиевна, вас тоже нужно с работы уволить, ведь вы выдаете тот факт, что антисемитизм в Союзе начинается с руководящих партийных органов!

Теперь, навсегда сойдя с трибуны пропагандиста и расставшись со всем, что наполняло мою жизнь прежде, я начинаю задумываться: что, собственно, обусловило мое быстрое продвижение по партийной лестнице? Характер мой не назовешь напористым, он скорее слабый; я не тщеславна, не карьеристка... Разве только то, что я всегда была достаточно дисциплинирована и целеустремленна. Видно, именно эти качества помогли мне не только окончить два высших учебных заведения — механический и педагогический институты, но еще дважды окончить вечерний Ин-т марксизма-ленинизма — по двум факультетам: философии и международных отношений; потом я уже сама там преподавала, окончив школу лекторов.

Собственно говоря, я всю жизнь училась и учила... Но, может быть, именно моя настойчивость в приобретении знаний и постоянное желание приобрести их все больше и больше и привели меня к духовному кризису. В какой-то момент до меня дошел, наконец,

чудовищный смысл механизма социалистической системы и ее партийной власти. Я поняла, до какого совершенства доведена у нас машина идеологической пропаганды, как искусно обманывают наш народ и что я этому обману многие годы преданно содействовала. И не стоит мне теперь особенно обижаться на моих недавних доброжелательниц — старых коммунисток-пенсionерок, которым я всегда помогала: одной жалобу состряпашь, другую протасишь в кабинет высокого начальства — какого-нибудь горкомовского или исполкомовского чиновника, третью устроишь в привилегированную клинику и т. п. А они на сегодняшнем судилище выступили с предложением — от имени партсобрания обратиться в Народный суд с ходатайством отнять у меня детей! — «Лишить ее материнства! Не позволим наших советских детей увозить в Израиль!»

...Снова и снова вижу я перед собой эти злобные лица, слышу оскорбления...

— Да что вы! — возмущается старичок, персональный пенсионер. — Кого мы здесь уже несколько часов уговариваем? Она не дура: ни в какой Израиль она не поедет. Ей давно уже приготовлено место на Би-Би-Си, иначе она так не рвалась бы!

А я действительно рвусь, рвусь спастись бегством, спасти своих детей. Не вижу для себя другого выхода. На какой основе я буду их воспитывать, если останемся здесь? На принципах «морального кодекса коммунизма» или на десяти заповедях закона Божия? Они уже начинают задавать вопросы: «Мама, скажи честно, есть Бог или нет? Няня говорит, что есть. У папы в столе лежит книга про Бога и молитвенник — только по-польски, а не по-русски».

Что им ответить? Ведь они готовятся вступить в пионеры... «Конечно, — говорю я, — для тех, кто в Него верит, Он есть, а для неверующих — Его нет...»

«Мы хотим верить в Бога! — говорят мои девочки. — Но мы хотим тоже, чтобы нас приняли в пионеры. И чтобы принимали обязательно на Красной площади... Или на крейсере «Аврора»... Ты поедешь с нами на торжественную линейку?»

Я поеду, я, конечно, поеду. Мне кажется теперь, это все, что я умею: ездить, летать, быть в постоянном движении. Началось это очень рано. Мне было четырнадцать лет, когда я уехала из дому — учиться. А вышло — навсегда.

Мама меня не удерживала. Она, как и мои школьные учителя и все вообще в нашем местечке недалеко от Москвы, были убеждены, что большая жизнь начинается с больших городов. А отца я не помню. Он был расстрелян немцами при попытке бегства из плена. Так что я рано стала самостоятельной. Но прошло много лет, прежде чем я поняла, что подлинному знанию жизни народа учат не большие города, не Москва и Ленинград, не Минск или Киев, а сотни маленьких городков, поселков, деревень, разбросанных по стране, начиная с Центральной России до Урала и Сибири, от Алтая и Средней Азии до берегов Черного моря и Крайнего Севера. Исколесив все это пространство, останавливаясь и живя по несколько дней во многих из населенных пунктов, куда я приезжала с лекциями, лежащих далеко в стороне от туристских маршрутов, наблюдая то, что могут видеть лишь немногие, поскольку очень мало кто сюда приезжает, я старалась понять, что дала советская власть этим людям и что отняла у них? Почему и сейчас так тяжела и беспросветна их жизнь? Почему такая бедность, почти голод и ниоткуда нет помощи? Почему они так цепляются за религию, бьют лбы в церкви, непременно стараются окрестить младенцев, обвенчать молодые пары, хоронить покойников по-церковному? Воспитанная на атеизме, я не понимала, что религия — это не дурман, как нас учили, а единствен-

ный вид духовной жизни, доступный абсолютно всем людям, независимо от их социального и интеллектуального уровня, и что религия дает человеку не только утешительные мифы, но и незыблемые правила морали, нравственности, формирующие в человеке человеческое. И поэтому я не только не препятствую мужу водить наших девочек в костел, но и очень рада этому. Я лишена этого блага, так пусть у них оно будет...

Но вернусь к своей работе.

Когда я только начинала, мне по молодости лет все казалось увлекательным — новые места, новые люди, интересные встречи... Время и опыт показали, что места и люди могут быть новыми, но проблемы везде одни и те же...

Выступая у себя в городе, я могла выбирать аудиторию по своему желанию — научно-исследовательский институт, любой Дом культуры или учебное заведение. Но если посылали в провинцию, выбора не было. Лекторы ехали «в глубинку», как правило, по приглашению какого-нибудь обкома и выступали с лекцией, тоже как правило, на очередном совещании партийного или парт-хозяйственного актива — это входило в обязательное обучение для высших партийных чиновников. Выступление называлось «шефским» и не оплачивалось. Но нам компенсировали тем, что по негласной договоренности местных партийных организаций с обществом «Знание», где мы все состояли, нас старались «максимально загрузить», т. е. устраивали нам еще несколько лекций на предприятиях города и области, уже платных. Нередко случалось прочесть до 30 лекций в неделю, и мы недурно зарабатывали. Без этого ни один лектор в командировку не поехал бы, и даже моральный кодекс коммуниста тут не срабатывал.

Я особенно любила ездить на Север — в Петрозаводск, Мурманск, Кандалакшу, когда там установ-

ливался полярный день. Но больше всего мне памятна поездка в Архангельск...

Прибыв на место, сразу иду в обком, получаю нужные материалы и начинаю вживаться в роль «человека из центра», который все знает, в том числе жизнь Архангельска и области, их успехи в последней пятилетке, их перспективы на будущее, их «узкие места» в настоящем... Читаю отчеты предприятий, зазубриваю названия как передовых заводов и предприятий, фамилии их руководителей и передовиков производства, так и тех, кто срывает план и подлежит суровой критике. Работа эта — немалая и нелегкая. Но так серьезно мы готовились только к первой лекции, для начальства. А после нее меня уже не слишком интересовало, куда меня везут, перед кем я буду выступать. Пока ехала (а ехать приходилось, кажется, на всех существующих видах транспорта, от самолета и до похоронного автобуса!), я успевала узнать у своего провожатого все, что нужно, и договориться о теме лекции. Но к первой лекции — «шефской» — готовились основательно. Наконец, я готова, заучила все, что мне нужно.

Вся эта мура будет на другой же день после лекции выброшена из головы, но для выступления это необходимо. Такова установка идеологического отдела ЦК: где бы и с какой бы темой мы ни выступали, будь то «Международное положение», или «Экономические успехи СССР в эпоху развитого социализма», или «Проблемы нравственного коммунистического воспитания», — любое наше выступление должно быть «увязано» с жизнью коллектива, который предоставил нам трибуну. И я видела постоянно, какой эффект это производило, как легко поддавались наши слушатели этому гипнозу лекторского искусства! Они благожелательно воспринимали любую критику, они были счастливы, что о них говорит «человек из центра», что бы он ни говорил, — значит, там, «наверху»,

о них знают и помнят! Так достигался контакт лектора с аудиторией, укреплялось доверие масс к родной советской власти!

Кто-то сказал: «Кто умеет — делает сам; кто не умеет — тот учит других; кто не умеет ни того, ни другого — тот учит, как надо учить». Все наши выступления: и мои, и моих товарищей — как раз, к сожалению, подходят под этот афоризм. Мы учили грамотных, знающих свое дело людей, как им надо учить своих товарищей и подчиненных «выполнять и перевыполнять», «догнать и перегнать»...

Итак, я в Архангельске. Мне предоставляется номер в самой лучшей гостинице города; там же в ресторане я завтракаю и обедаю (на все это мне даны немалые деньги «под отчет»). И вот я на трибуне и начинаю свою лекцию. Говорю, а сама краем глаза наблюдаю за председателем (поскольку лекция — это составная часть совещания, президиум остается на своих местах). Сразу вижу, что председатель — человек опытный, я им довольна: он умело сортирует поступающие в президиум записки слушателей с вопросами лектору. Он раскладывает их на три кучки: первую, я знаю, он передаст мне; вторую он поделит между секретарем горкома и председателем облисполкома — это вопросы местного значения, так сказать, частные проблемы. А третью кучку он постарается незаметно уничтожить, как только я закончу выступление. Это — вопросы недозволенные, на которые я отвечать не должна. Нашу работу там, «наверху», оценивают также и по вопросам, которые нам задают слушатели. Мы отчитываемся перед своим начальством также и в политической атмосфере нашей аудитории — сдаем не только отзыв парторганизации учреждения, где выступали, о прочитанной лекции, но и прилагаем к нему список вопросов слушателей (из первой кучки, конечно).

Но меня сейчас интересует больше всего третья кучка, и, усевшись после лекции рядом с председателем, я бесцеремонно подвигаю ее к себе. Бегло просматриваю. Первый вопрос: «Ответьте честно: летчик Беленко — предатель? В «Правде» про него написана туфта». Второй вопрос: «Кто придумал телепередачу для Северных областей «После полуночи»? Для каких целей? По статистическим отчетам нашей и соседних областей от этого сильно повысилось количество аварий и несчастных случаев на производстве. Хотите, чтобы не слушали западные радиостанции? — это дорогой способ борьбы с буржуазной пропагандой». Третий: «В госбюжете вот уже который год объединяют тяжелую промышленность с легкой и пищевой. Всем известно, что в тяжелую входят также расходы по военной промышленности. Зачем же их маскировать? Ведь ясно, что на сумму в 17,4 млрд рублей, указанную по статье «Оборонная мощь», едва можно только одеть и прокормить армию. А вооружение?» Или вот еще вопрос: «Известно ли вам, что в нашей тундре пасется огромное личное стадо президента Финляндии Урхо Кекконена, причисленное к одному из колхозов, и что его отберут советские власти, если финны не будут возвращать назад перебежчиков?»

Нет, мне, конечно, это не было известно, как и многое другое. Теперь стало известно. И это, и многое другое...

Совещание окончилось. По привычке сразу прикидываю процент каверзных вопросов по отношению к количеству присутствующих: 7 вопросов на 800 с лишком человек — это меньше одного процента, а все, что меньше процента, — не стоит внимания, так нас учили. Цифровые показатели важнее всего... Ну, что ж, присоединю и эти семь записок к моей, годами собираемой картотеке. Начала я ее составлять из самых благих побуждений — понять, разобраться, оценить реакцию своих слушателей... И вот к чему это при-

вело! Я — враг народа... Неужели и мои товарищи по работе поверили этому?

Все мои коллеги, право, были отличнейшими людьми — добры, отзывчивы, прекрасные товарищи. Коллектив наш пополнялся чрезвычайно редко, все мы сжились и были как одна дружная семья. Шеф собирал нас ежедневно в 10 утра на короткое совещание («пятиминутку» или «планерку»), но мы приходили обычно к 9-ти, и этот час, когда мы чувствовали себя совершенно свободно и непринужденно, как бы еще без официальных мундиров, болтали, шутили, сыпали политическими анекдотами, — этот час, мне кажется, сближал нас больше, чем даже наши дружеские попойки (кстати, довольно частые). Помню больше всего изощрялись и прохаживались насчет нашего вождя и Главного Агронома, о котором ходила поговорка, что он сумел собрать большой урожай с «Малой земли». Эти минуты были тем клапаном, который давал нам возможность подышать легко перед тем, как затянуть на себе официальный мундир, в котором было хотя и привычно, но все-таки тесно — ох, как тесно! Впрочем, тогда вряд ли кто из нас сознавал это. Что мы знали о свободе и какая она бывает!

Казалось, чешский август 68 года что-то сдвинул в наших твердокаменных позициях. Помню, в эти дни у нас даже веселости поубавилось. Но довольно скоро, вооруженные до зубов советским патриотизмом и принципом интернациональной дружбы, мы справились со своим узко личным, мягко выражаясь, недоумением. По несколько часов в день не покидали мы трибуны, организовывали бесконечные митинги на заводах, предприятиях и научных институтах, проводили встречи и семинары. Ведь тогда многие недоумевали, недопонимали и даже возмущались; мы должны были помочь им правильно оценить события, т. е. принять официальную точку зрения. С трибун защищали мы советское понимание термина «интернациональной

дружбы» не хуже, чем это делали наши танки на улицах Праги...

Я — не диссидентка, не правозащитница, никогда не читала ничего из запретной литературы — это был совершенно иной мир, о котором мы знали только то, что нам положено было знать. Подвиг этих людей мне не по плечу, даже если бы я считала, что они правы. Вместе со всеми представителями нашего круга, так называемой «партийной элиты», вначале я осуждала их, потом просто не понимала, считала, что они «играют в народников». Когда именно произошел во мне перелом, точно сказать трудно; он подготавливался исподволь, где-то в подсознании. Некоторую роль тут сыграли и «недозволенные» вопросы слушателей; частые поездки «в глубинку» тоже имели большое значение — там я видела советскую действительность без прикрас...

Мне особенно запомнилась моя поездка в Архангельск... Именно там я со всей остротой ощутила ненужность своей работы и, встречаясь со слушателями, поняла, что мы находимся на разных полюсах и никогда не поймем друг друга. Расскажу все по порядку...

Сразу после выступления в архангельском горкоме меня повезли в какой-то леспромхоз. Здесь меня встречает секретарь парткома и говорит, что о моей лекции он сообщил рабочим еще вчера, что она будет проходить на стыке между второй и третьей сменами, и по дороге в Красный уголок объясняет:

— Уж они все собрались, ждут... Сейчас придется работать в три смены и в выходные дни — гоним план, пользуемся летней погодой. У нас отставание, вот и ждем...

Лесной тропинкой подходим к новенькому деревянному клубу; он отпирает дверь: довольно просторный зал с подмостками, на которых стол, покрытый

кумачом, новенькая кафедра... и ни души! Окна широко распахнуты...

Парторг, сам красный как кумач, разводит руками:

— Что ты с ними будешь делать? Дверь-то я запер, так они в окна повыпрыгивали! Вот народ! Вы уж простите, пожалуйста, не сердчайте... Трудно нашим рабочим сейчас — весна, у всех огороды; если их вовремя не засеять, осенью есть будет нечего. Зря, конечно, я их заранее предупредил... Но мы их накажем — тринадцатой зарплаты лишим. А вам за лекцию заплатим, только вы не докладывайте об этом случае никуда...

Я возмущена, расстроена, но стараюсь не показывать виду. Сажусь в машину и еду на следующий «объект» — в швейную артель «Труд», где шьют рабочие комбинезоны.

После леспромхоза, с его новыми светлыми постройками и чудным ароматом леса вокруг, здесь все хмуро и неуютно — ни деревца, ни цветочной клумбы, кругом лужи, грязь... Меня ведут прямо в цех. Работницы прекратили шить, обступили меня — на темных лицах откровенное любопытство.

Молоденькая заведующая производством представляет меня и называет тему лекции. Все усаживаются снова за свои машины — их длинные два ряда; лиц не видно, только цветные косынки. Обстановка непривычная — когда я не вижу лиц, говорить очень трудно. Все же я начинаю, но не успела произнести несколько слов — слышу стук машинки. Сразу замолкаю, а работница, начавшая шить, добродушно произносит: «Ничего, девонька, ты рассказывай, а я буду тебя слушать и план выполнять!»

Остальные возмущены, начался шум. — «Ну, заголосили! — говорит она, но все же останавливает свою машину и достает авоську с какой-то едой. — Работать нельзя, ну ладно, я хоть поем, с утра не евши...»

Я отлично знаю, что все лекторы, состоящие в обществе «Знание», ежедневно, по всей стране выступают перед рабочими в обеденный перерыв, и этот порядок всегда меня возмущал. Как можно мешать рабочим отдохнуть? Ведь они все равно за эти сорок минут ни поесть как следует, ни воспринять лекцию не смогут! Сейчас это у меня первый случай, и настроение совершенно испорчено. Я продолжаю, смотрю — они повставали все со своих мест, окружили меня тесным кольцом... «Ну, думаю, — заинтересовались!...» Рассказываю им о советском образе жизни, о проблемах свободного времени, о психологическом микроклимате советского коллектива.

Сравниваю все это с капиталистическим миром, доказываю цифрами и фактами наше превосходство, и вдруг кто-то меня за рукав дергает. — «Хорошо рассказываешь, а вот ты нас послушай! Да и посмотри! Зинаида! — обращается она к заведующей, — ты ее в раскройку сведи, покажи, из какого материала кроят для нашей бригады и из какого для Ленкиной... Для них и материал тоньше, и не рваный, и нитки им лучшего качества идут... Это что, справедливо? Мы еле-еле план вытягиваем, а она уж все перевыполнила и знамя областное получила. И премию дали... Директору жаловались, а он говорит — это для всех нас честь! И премия артельная пойдет на ремонт детского садика. А садик у нас уж больше полгода закрыт — одна власть закрыла, потому что аварийное, говорит, положение, а другая говорит: у меня денег на ремонт нет. Так и бегаем по очереди в рабочее время за детьми присмотреть да накормить их... Нечего нас уговаривать! Он детский садик и так обязан предоставить, без всякого знамя... что мы дуры, что ли, не понимаем! Ему бы только самому премию получить!»

А я им толкую про то, как лучше использовать досуг!.. Знают ли они, что это такое? И не все ли им равно, как живут рабочие в капиталистическом мире,

когда своя жизнь у них так тяжела? Но все-таки мой приезд вселил в них какие-то надежды... По простоте душевной провожали они меня тепло. Совершенно не разбираясь в партийной субординации, видели во мне большого начальника, и я еле успевала записывать их жалобы — не могла же я им объяснить, что все равно ничем не могу помочь, что нет у меня на это никакой власти. У меня нет власти даже над своими собственными убеждениями... А они с каждой подобной встречей все больше и больше расшатываются. И каждый новый день для меня начинается теперь вопросом: «Как быть?»

Примерно такой же вопрос мучил еще одного человека, с которым я повстречалась здесь. Вчерашний студент, а сегодня главный инженер маслосырдельного завода в Архангельской области, он показался мне здесь не совсем ко двору. Мы беседовали с ним в его кабинете, пока я ожидала машины — ехать выступать в какой-то дивизии.

— Работают у меня только женщины, — рассказывает он. — Вы их видели: все в резиновых сапогах, в побуревших от грязи, когда-то белых халатах, с вечным матом на языке...

— Как же вы живете здесь? — спрашиваю.

— Да вот работаю, хочу реконструировать этот заводик — получил новое венгерское оборудование, ну, и увлекся возможностью как-то облегчить ручной труд работниц. Ведь до сих пор только 30% механизации, остальные 70 — женские руки; мужчин на заводе только трое: директор, конюх и я... Работа тяжелая, но всех их надо бы под суд отдать: воруют безбожно — сами знаете, можно ли масло и сыр купить в магазине. Первые дни осторожничали, приглядывались ко мне, теперь поняли, что не выдам, и все пошло по-прежнему. Я каждые десять дней ревизию провожу по бригадам — сколько молока поступило и сколько из него продукции выработано; так без вся-

кого стеснения подходят и спрашивают: «Григорьич, сколько у меня в этой декаде недостачи?» — Порядочно, 80 килограммов масла не хватает... — «Ты не волнуйся, Григорьич, в следующей декаде дам тебе сто кило излишку...» И так и делают...

— Как же это делается? — недоумеваю я.

— А мы сырами все недостачи покрываем. Вы видели наши подвалы для сыра? Они не выдерживают критики. Головка сыра, которая здесь хранится, должна к концу года усохнуть на 11%, но влажность в подвале такая, что сыр фактически усыхает едва на 7-8%. К тому же, в сыре при нашей технике невозможно точно определить процент жира, а по нормам он допускается в количестве $\pm 2\%$. Так вот, мои мастерицы научились экономить на каждом килограмме сыра 2% жира. Так что в целом по заводу у меня даже большие излишки...

Он продолжает:

— Вот я слушал вас... Говорите вы хорошо, но вам бы пожить здесь — поняли бы вы, чего в ваших лекциях не хватает. А когда поняли бы — вряд ли согласились бы читать их... Меня эти два года здесь сделали старше лет на двадцать и поставили передо мной вопрос: как быть дальше? Думаю вернуться в столицу и пойти в науку... Хочу уйти от всего этого...

Вот он уже в 20 лет понял... И уже решил, куда ему уйти. А мне куда уйти?

Пока что мне опять предстоит ехать на лекцию. Еще до моего выступления на маслосыродельном заводе звонили из горкома, что меня просят выступить в одной дивизии: туда приехало какое-то высокое начальство — то ли из Главного политуправления, то ли из Политуправления военного округа: они собирают офицерско-пропагандистский состав и просят прочесть им лекцию на тему «О проблемах нравственного воспитания в материалах XXV съезда партии».

И вот я снова на месте, в своей собственной роли, а в зале — только командный состав. Это хорошо! Убеждать убежденных — гораздо проще и легче. Слова льются легко и свободно, я опять «в своей тарелке». Объясняю им (а заодно, кажется, и себе), что именно нравственно с точки зрения партийных норм жизни и что безнравственно. Привычно сыплю готовыми словами, привожу цитаты из Ленина... Все довольны, аплодируют — тоже привычная реакция, но всегда приятная...

После лекции командир дивизии приглашает меня и высоких гостей пообедать. Сервировка богатейшая: старинный фарфор, серебро; блюда уже все поданы и стоят на спиртовках, чтобы не остыли. Уселись, начинаем. Рыба — самых дорогих сортов, салат из свежих помидоров, огурцов, зеленого лука... В Москве на Даниловском рынке килограмм огурцов стоит сейчас 8 рублей, помидоров — 12. — Откуда эта роскошь? не удерживаюсь от вопроса. — «Рыбу, — отвечает командир, — конфискуем у браконьеров, а овощи выращиваем сами в парниках...» — И что же, вы круглый год весь личный состав свежими овощами кормите? — это спрашивает уже кто-то из прибывшего начальства. — «Ну, не весь год, а уж в день Победы и на Октябрьский праздник — обязательно!» — отвечает командир.

Присматриваюсь к нему более внимательно. В чине полковника, лет ему не больше сорока... Заведующий клубом говорил, что он из Москвы и без семьи... Приехал, видно, за генеральскими погонами — в Москве и Ленинграде их теперь получить невозможно. По тому, как он уверенно держится и по-барски, с размахом обживается, видно, что рекомендация у него ГлавПУРовская...

Водки на столе почему-то нет... Значит, напьются вечером, уже без меня.

Во дворе около столовой меня ожидает майор с петлицами стройбата.

— Прошу вас, — говорит он, — поедemте сейчас к нам в часть — здесь недалеко! Прочтите для личного состава лекцию — они у нас только что присягу приняли. А потом отвезем вас в город, в гостиницу...

Мне бы уже сейчас в гостиницу, устала, но отказываться неудобно, да и еще заработать хочется. У военных ведь порядок во всем — не успеешь лекцию дочитать, а тебе уже несут конвертик с заветной десяткой. Расчет всегда на месте, не в пример обществу «Знание»!

По дороге улавливаемся о теме лекции.

— Наверное, им надо рассказать о международном положении? — предлагаю я.

— Что вы! — возражает майор, — для наших стройбатовских ребят это тема слишком сложная. — Я ведь знаю их уровень, сколько их через мои руки прошло! Из прошлого призыва одного спросил: откуда родом? — «Из Тамбова», — говорит. — А родственники за границей есть? — «Есть». — Где? — спрашиваю. — «В Шуче!» Так что вы им о чем-нибудь попроще расскажите!

Что ж, попроще, так попроще, вот хорошая тема: «Задачи союза молодежи в речи В. И. Ленина на III съезде комсомола».

Приехали, входим в клуб — зал забит до отказа. Начинаю рассказ о трудностях первых лет советской власти, об участии комсомольцев и молодежи в строительстве советского государства. Но, едва произнесла вступительные фразы, чувствую — нет контакта со слушателями. В чем дело? Иду дальше, привожу краткую историческую справку о том, что они должны знать еще со школы. И чувствую, что говорить мне становится все труднее. Почему они меня не понимают? Ведь я говорю совершенно ясно, и микрофон

работает хорошо. Сидят они очень тихо, не шевелясь; весь зал — как одно лицо, все под машинку острижены, форма на них сидит одинаково мешковато, глаза у всех темные и какие-то узкие... и в них — или это мне кажется? — немой вопрос...

Начинаю нервничать. Где же мой многолетний опыт лекторского искусства? почему он не помогает мне? Разве непонятны ленинские слова, что «...задача состоит в том, чтобы учиться, учиться и учиться»? Ведь это каждый пионер знает! Или я не доходчиво объясняю им, какой ущерб развитию советской культуры нанесла теория и практика объединения «Пролеткульт»?

С мольбой смотрю на замполита, ища у него поддержки, и бросаю, бросаю слова в эту тихую аудиторию, которая слушает, но, кажется, ничего не слышит.

Оживляются они только тогда, когда я закончила, и замполит, поднявшись с места, начал аплодировать и благодарить меня за «хорошо, на высоком идейно-политическом уровне прочитанную лекцию». Тогда они тоже поднялись и дружно присоединились к его аплодисментам...

Подхожу к замполиту и спрашиваю: — Почему они не слушали меня?

— Нет, что вы, они внимательно слушали, я наблюдал за ними. Но дело в том, что эта часть вся сформирована из киргизов и они по-русски еще не понимают... только общие команды...

Я буквально не нахожу слов, слезы досады подкатывают к горлу. — Как же вы посмели!... — еле выдавливаю из себя и больше ничего уже не могу сказать... Но майор очень доволен. — Не огорчайтесь! — говорит он, — в нашем с вами деле тоже бывают издержки. — Вреда от этой лекции для них нет, а польза — польза такая, что все-таки *начало положено*. Политическое воспитание для них началось!

...Вот уже два года, как я на Западе, и жизнь моя совершенно изменилась... А я сама? И да, и нет. В какой-то степени прошлое все еще держит меня в своих тисках — глубокие корни вырвать нелегко. Получив свободу, я все еще несвободна. Но одно несомненно — сойдя с трибуны советского пропагандиста, я больше не участвую во лжи...

Анастасия ПОВЕРЕННАЯ — родилась в 1939 г. Была секретарем райкома комсомола в Муроме на Волге, затем — там же — директором Дома культуры; впоследствии занимала должность директора лектория в Новгороде, а затем работала лектором-консультантом по марксистско-ленинской подготовке Дома офицеров при Политуправлении Ленинградского военного округа. В настоящее время живет в Западной Германии.

НЕКРОЛОГ

Из Литвы поступило сообщение о трагической гибели известного правозащитника священника

Бронюса ЛАУРИНАВИЧЮСА

(родился в 1913 году).

Он был убит грузовиком на улице в Вильнюсе вечером 24 ноября 1981 года. Других сведений об обстоятельствах его гибели пока нет.

Бронюс Лауринавичюс много лет участвовал в Литовском католическом и национальном движении. В 1979 году, после смерти священника Каролиса Гаруцкаса, члена-основателя Литовской Хельсинкской группы, он заменил его, вступив в эту группу. Подпись его стоит под документами, опубликованными группой в последнее время.

Следует заметить, что это уже четвертый случай гибели правозащитника в автокатастрофе. Ранее при подобных обстоятельствах погибли Ирина Каплун (также в Литве), Андрей Амальрик (в Испании) и Виталий Рубин (в Израиле).

Александр Смоляр

ПАРАДОКСЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И РЕВОЛЮЦИЯ В ПОЛЬШЕ

От редакции: Эта статья была написана до объявления в Польше «военного положения», однако авторский анализ сохраняет не только историческую ценность. В ответе на вопрос «Как пришла Польша к своей революции?» содержится указание и на те потенциальные силы, которые уже сейчас серьезно подрывают запланированное торжество контрреволюции «Военного совета национально-го (!) спасения» и которые, возможно, в ближайшие годы или месяцы (а может быть, еще до выхода этого номера из типографии?) принудят генералов от партии к отступлению. А. Смоляр мимолетно отметил и одну слабость, которая может сыграть роковую роль. Он пишет, что в 70-е годы в Польше «гражданское мужество как бы подешевело и стало доступней... выбор независимого пути уже не приводил в тюрьму». То же самое в еще большей степени можно сказать о полутора годах от лета 1980 до декабря 1981-го. Вопрос сейчас в том, что окажется сильнее: старый возвращающийся страх или испытанное счастье полноты гражданского мужества?

Обсуждая возможность советской интервенции, автор статьи замечает: «В истории захватнической политики Советского Союза... особенно поражает необычайная способность советских властей находить себе в занятых, завоеванных, оккупированных странах некоторую — пусть даже ограниченную — общественную поддержку. В 56-м или 68-м году управление захваченной страной чрезвычайно быстро, по сути дела — сразу, оказывается в руках местных, а вовсе не советских чиновников, комиссаров или губернаторов... Афганистан — первый пример в истории, когда эта стратегия оказалась безрезультатной». Похоже, что урок Афганистана был усвоен — именно поэтому Польша оккупирована польской армией, милицией, госбезопасностью. «Польско-ярузельской» называют эту войну так и не утратившие остроты поляки. Даже памятуя о том, что принципиальные вдохновители «решительных мер» сидят в Кремле

или на Старой площади, горько сознавать, что в Польше нашлось достаточно «местных чиновников, комиссаров, губернаторов», чтобы объявить войну собственному народу. Станет ли эта горечь поводом извериться во всем, опустить руки? Толкнет ли она, наоборот, к еще большей решимости сопротивляться? «...самой большой угрозой для империи, — пишет Александр Смоляр, — является надежда и сопротивление». Сохранится ли в Польше надежда? Если да, то сохранится и способность к сопротивлению. В этом ключ к будущему и Польши, и всей советской империи.

Как всякое значительное общественное движение, не свести к однозначности и то, которое захватило сейчас Польшу. В нем можно видеть революцию — притом единственную в истории действительно рабочую революцию, а можно — мирное движение за реформы; выдвигать на первый план материальные требования, потребность более человеческих отношений в обществе или же религиозно-нравственное измерение; подчеркивать его классовый характер или всенародный отказ от послушания, столкновение трудящихся с государством-предпринимателем или нации с новой Тарговицей*.

Польская революция не только многослойна — она еще как бы внутренне противоречива. С одной стороны, она, как ни одна революция в прошлом, является всеобщим движением. Она необыкновенно радикальна в первородном значении этого слова: она целится глубоко, стремится дотянуться до корней зла. Поэтому она не ограничивается политическими проблемами, формами институтов коллективной жизни или правил социального общежития — большую ценность придает она, пожалуй, проблемам достоин-

* Тарговицкая конфедерация — заговор магнатов против Станислава Августа и Конституции 3 мая, призвавших «братскую помощь» Екатерины II, за чем последовал второй раздел Польши. — Прим. пер.

ства человека, ценностям, заслуживающим быть опорой индивидуальной и коллективной жизни, нравственным нормам межчеловеческих отношений.

Это не только всеобщее и радикальное, но еще и, как всякая революция, стихийное движение. Стихийно организовывались летом 1980 г. забастовки, охватившие всю страну; стихийно создавались забастовочные комитеты. Стихийность движения не опровергает той общеизвестной роли, которую сыграло демократическое движение в деле духовной подготовки широких кругов общества, в формировании многих деятелей.

И в то же время это самая трезвая из всех известных в истории революций, расчетливая, сознающая ограничения и опасности. Чтобы толком описать происходящее в Польше, следовало бы пустить в ход пары взаимопротиворечащих понятий типа «организованная стихийность», «самоограничивающаяся революция», «национально-освободительное движение, отказывающееся назвать своего угнетателя».

Все эти противоречия, антиномии польской революции, ее ограниченность и непоследовательность — результат всеобщего сознания огромной опасности, перед которой стоят поляки, опасности реальной, о чем напоминает опыт Венгрии, Чехословакии и — совсем недавний — Афганистана. Чтобы заклать опасность, уменьшить риск, поляки не только навязывают ограничения своей революции, но готовы — вот уж, действительно, парадокс — поддерживать рушащиеся стены Ancien Régime'a. Со смешанными чувствами наблюдают они результаты докатившейся и до самой партии волны демократических требований.

События, свидетелями которых мы являемся, — следствие и продолжение процесса десоветизации, который с разной степенью напряженности, то убыстряясь, то тормозясь, идет с 56-го года. Желая об-

наружить специфику процессов десоветизации, неизбежно возвращаешься к прежним попыткам.

О ВЕНГЕРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ПРАЖСКОЙ ВЕСНЕ

Десоветизация путем распада системы

Венгерская революция началась 23 октября 1956 года с мирной, разрешенной властями демонстрации солидарности с польским народом, переживавшим тогда перемены, известные под названием Польского Октября. Демонстрация, превратившаяся в массовый протест против ненавистной системы, была встречена пулями политической полиции и вызванных на подмогу советских войск. Население ответило вспыхнувшей по всей стране забастовкой. Распадается партия и администрация, с каждым днем редет и исчезает политическая полиция, армия братается с населением. Стихийно формируются рабочие и региональные советы, созывающие народное представительство. Нежелание и неумение власть предержащих провести десталинизацию страны, чувство национального унижения и доходящие известия о Польском Октябре — все это подействовало, как взрывчатая смесь, ставшая уже никому не подвластной. Назначенный премьер-министром Имре Надь под нажимом революционизировавшегося общества провозглашает возврат к политическому плюрализму и создает правительство национального единства, в состав которого входят представители ликвидированных во время сталинизации политических партий. Символом перемен, разрыва со старой системой становится роспуск прежней компартии и объявление о создании новой. Дьердь Лукач, философ и один из ее основателей, предполагал, что на свободных выборах она соберет не больше 3% голосов. Перед лицом готовящейся новой советской ин-

тервенции Надь объявляет о выходе Венгрии из Варшавского пакта и ее нейтрализации. На рассвете 4 ноября советские танки входят в Будапешт.

Революция продолжалась меньше двух недель, и этого было достаточно для ликвидации советского строя. Система, которая казалась всемогущей, исчезла не столько в результате вооруженной борьбы и революционного насилия, сколько вследствие массового публичного отказа взбунтовавшихся венгров от послушания. Оказалось, что, кроме немногих продавшихся режиму групп да еще тех, кто боялся ответственности за совершённые преступления, советской власти в Венгрии не на кого было рассчитывать. В этом отдавали себе отчет даже такие люди, как Надь — идейный коммунист, стремившийся к реформам, которые устранили бы наиболее отталкивающие черты системы; перед лицом поражения патриотизм заставил его присоединиться к общественным устремлениям.

Десоветизация путем внутренних реформ

Очередная попытка десоветизации была предпринята в Чехословакии в 1968 году. То, что принято называть Пражской Весной, началось с перемен в партийном руководстве. Несмотря на то, что чехословацкая попытка закончилась аналогично венгерской, и течение ее, и характер были иными. Тут не было стихийного взрыва, воли к уничтожению ненавистой системы и обретению независимости от Советского Союза. К Советскому Союзу относились, в основном, дружелюбно, а режим обладал более широкой социальной базой, чем в Польше или Венгрии. Пражская Весна не была направлена против компартии и в значительной степени была результатом инициативы партийной интеллигенции и части партаппарата. Основной целью инициаторов, находивших все бóльшую

общественную поддержку (всеобщей она стала лишь перед лицом внешней опасности, незадолго до вторжения), была демократизация строя. Несмотря на популярность Югославии и независимой политики Чаушеску, движение не было направлено против характера отношений с СССР. Главные требования относились к сфере информации, вплоть до ликвидации цензуры, к необходимости провести фундаментальные экономические реформы, изменить роль компартии в политической системе страны (из коллективного диктатора она должна была стать социальным инициатором, в крайнем случае «более равным» среди равных членов Национального Фронта) и повысить роль партий-«союзников», до сих пор служивших чистой декорацией. Возрастает роль профсоюзов, различных общественных организаций, создаются сильные группы давления (Клуб беспартийных активистов), участвующие в создании атмосферы этого периода. Изменение роли компартии в обществе было тесно связано с ее внутренней эволюцией: началась ликвидация традиционных основ партии ленинского типа, где безраздельно господствует аппарат, — партия демократизировалась.

Пражская Весна больше обещала, чем осуществила. Некоторые элементы системы советского типа подверглись сомнению, но такие люди, как Дубчек, не были склонны воскресить плюралистическую систему, отказаться от привилегии «последнего слова» партии во всех решениях.

Тем не менее, можно полагать, что Брежнев со товарищи трезвее, чем многие вожди КПЧ, оценивали динамику и направленность процесса, на который все больше влияло общество. Вторжение произошло меньше чем за три недели до созванного на 9 сентября XIV съезда КПЧ. Впервые в истории коммунистического движения делегаты съезда были избраны путем подлинных выборов. Мало того — основным крите-

рием на этих выборах было отношение делегатов к продолжающемуся процессу десоветизации. Позволив съезду состояться, Советский Союз узаконил бы изменение характера чехословацкой партии, ее отход от ленинских догм. А тогда было бы трудно затормозить прогрессирующую десоветизацию.

Венгерская революция вела к десоветизации путем распада системы, Пражская Весна — путем ее реформирования. Советская армия затормозила и остановила оба процесса.

ПОЛЬША ВЧЕРА — ДЕСОВЕТИЗАЦИЯ ПУТЕМ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ

Первая польская попытка десоветизации едва не окончилась так же трагически.

Польский 56-й год напоминал венгерский всеобщим отношением общества к системе и к СССР. Против рабочих Познани пришлось послать танки — как несколькими месяцами позже против рабочих Будапешта. В Польше, как и в Венгрии, хотя слабее, стал ощутимым распад органов контроля над обществом: цензуры и полиции; партия стала в значительной степени пустым названием. Повсеместно раздавались голоса протеста против зависимости Польши от Советского Союза.

Многие факторы привели к тому, что Польский Октябрь не имел того трагического финала, как вспыхнувшая несколькими днями позже революция в Венгрии. Свою роль, несомненно, сыграла память о войне, в особенности о Варшавском восстании. Этот дорогостоящий урок реализма заставлял искать возможных, а не исключительно желаемых решений.

Важную роль сыграла — и это напоминает Пражскую Весну — значительно бóльшая, чем в Венгрии, гибкость существенной части партийного руководства, стремившейся к некоторой гуманизации системы: действовали как идеологические мотивировки, сильные в первом поколении коммунистов, так и желание укорениться в польском обществе.

Общественное давление в сторону создания более человеческих условий жизни, большего ощущения безопасности, ликвидации унижительных символов государственной и национальной зависимости встретилось с идущим свыше стремлением к ограниченной политической демократизации. Это стремление было столь сильно, что позволило вовремя произвести перемены, разрядившие нараставшую напряженность. Некоторые из них: прекращение массовых репрессий, введение некоторых норм правозаконности — проводились в согласии с общей тенденцией во всем социалистическом лагере. Другие были вырваны обществом или, что то же самое, проведены властями в поисках общественной поддержки. Была допущена деколлективизация сельского хозяйства, прекратились репрессии против Церкви, были признаны ее роль и права, получили признание рабочие советы, расширена автономия предприятий; власти пошли на проведение выборов с числом кандидатов, превышавшим количество мест, ограничили цензуру, вузам дали автономию, а молодежи — право на несколько разных молодежных организаций, ликвидировали закрепощение рабочих суровыми дисциплинарными правилами, наконец — обеспечили чуть бóльшую независимость государства от СССР. Реформистские тенденции в партии, а особенно общественный нажим были достаточно сильны, чтобы гарантировать устойчивость некоторых уступок, но слишком слабы, чтобы сохранить их все.

Каков итог осуществленных и неосуществленных обещаний Польского Октября? В самых общих словах

можно сказать, что сохранить удалось те уступки, которые ограничивали поле деятельности власти, — потеряно же было практически всё, что затрагивало принципы функционирования системы в области народного хозяйства, в общественной или политической жизни. Иначе говоря, систему удалось либерализовать, но не демократизировать*. Несмотря на то, что беззаконие оставалось основой системы, большинство граждан могло спать спокойно. Значительные области интеллектуальной и творческой деятельности были исключены из-под прямого политического контроля. Основательная деидеологизация публичной жизни повысила автономию личности, не подвергаемой такому «промыванию мозгов», как в других коммунистических странах. Нравы повседневной жизни перестали быть предметом внимания партии и полиции. Один западный наблюдатель в начале 60-х годов написал,

* В литературе, посвященной политической эволюции недемократических стран, понятия «либерализация» и «демократизация» принадлежат к самым распространенным, но используются нередко расплывчато. Здесь мы будем понимать под либерализацией всякую перемену в политической, общественной, экономической или культурной жизни, которая приводит к ограничению сферы прямого или косвенного контроля со стороны политической власти. Эти перемены могут быть сознательной политикой властей (как сейчас в Бразилии) или вырваны под нажимом общества. Ограничения власти могут гарантироваться в порядке закона либо быть исключительно результатом изменения соотношения сил между властью и обществом, без изменения буквы закона. Можно говорить о либерализации, происходящей как в демократической системе, так и в авторитарной или даже тоталитарной (классический пример — нэп). Под демократизацией же мы будем понимать процесс расширения круга людей, участвующих в принятии решений относительно всего общества или имеющих влияние на эти решения. Расширение «гражданских прав» может ограничиться Центральным Комитетом, может охватить весь партаппарат, партию или еще более широкие социальные группы. Таким образом, понятие демократизации относится не к сфере, но к способам отправления политической власти и к ее представительности. Шире об этом терминологическом различии я пишу в «Esprit», 1981, № 6.

что коммунистическая власть в Польше, желая выжить, научилась самоограничению.

Ограничению территории власти, т. е. либерализации, не сопутствовали изменения механизмов ее функционирования. Внутрипартийный плюрализм, прорезавшийся в эпоху Октября, выражал временную слабость партии, а не перемену ее природы. Одновременно идет ликвидация разнородности, микроплюрализма вне партии. Обострение цензуры (переломный момент — ликвидация журнала «По Просту», 1957) ослабляет возможность общественного нажима и контроля.

Быстро отброшены проекты реформ демократизации народного хозяйства. Рабочие советы как органы рабочего самоуправления на предприятии постепенно ликвидируются.

Почему судьба оказалась менее милостива к мероприятиям по демократизации? Немаловажен тот факт, что у коммунизма в Польше, в отличие от Чехословакии, не было плодотворной почвы. Этим ослаблялось стремление даже самых радикальных внутрипартийных сил к расширению «гражданских прав» на все общество — слишком велик был риск. Популярность Гомулки справедливо оказалась мимолетной, связанной со всеобщим чувством угрозы национальному бытию. В этом, национальном аспекте Октября — еще одна причина слабого акцента на демократизацию. Общество тогда, по понятным причинам, сильнее всего ощущало, во-первых, освобождение от террора и ограничение произвола властей; во-вторых — проблему зависимости Польши от СССР. Прогресс либерализации и очевидный рост автономии Польши в рамках блока давали обществу определенное удовлетворение, а Гомулку, символ этих перемен, превращали в национального героя. Вес механизмов отправления власти осознавался меньше. Доверие к лицам нередко заменяло веру в эффективность институцио-

нальных гарантий. Но важнейшую причину несостоявшейся послеоктябрьской демократизации следует искать, по-моему, в отношении СССР к этим попыткам.

В сознании советских вождей либерализация — не трагедия: она не создает принципиальной угрозы системе. На их языке ее можно назвать шагом назад, который предшествует двум шагам вперед. Советский Союз знавал свои периоды либерализации (особенно годы нэпа и, разумеется, послесталинская «оттепель»). Пока нерушима партия ленинского типа, пока монополия насилия — физического (полиция, армия), материального (труд и зарплата) и духовного (цензура, пропаганда, образование) — остается в ее руках, всякое ограничение сферы власти может рассматриваться как временное явление, плановое отступление для перегруппировки войск перед новой атакой. Поэтому лишь угроза партии, ее военизированной структуре, ее месту в политической системе неприемлема для Москвы.

Как выглядит дальнейшее развитие Польши на наших осях координат? История, вероятно, уделит 60-м годам не слишком много места. По сравнению с 50-ми, сначала трагическими, затем полными надежд, по сравнению со взрывчатыми 70-ми — это период малой стабилизации между бурями.

Государство-партия стремится вернуться на позиции, уступленные ею обществу. Обостряются судебные и внесудебные репрессии, начинаются новые попытки ограничить роль Церкви, постепенно подчинить крестьян, но всё это ограниченные успехи ресоветизации. Самые большие опустошения произведены в области свободы слова и творческих свобод. Все грубее действует цензура, все более жестокому контролю подвергаются печать, творческие союзы, научные учреждения. Кульминация этого процесса — мартовские события 1968 года, за которыми последовали

массовые процессы на основе сфабрикованных обвинений, массовая чистка интеллигенции, эмиграция тысяч евреев, небытие, в которое ввергнуты самые замечательные деятели литературы и искусства.

Ясно, что на оси «демократизации» 60-е годы тоже не отметили ничего положительного. Когда в декабре 1970-го полетел Гомулка, мы не удивились, узнав, что не было не только демократии, но и *парто*-кратии, и *бюро*кратии (власти Политбюро), — власть находилась исключительно в руках Гомулки и его ближайшего окружения.

После декабря 1970-го на вид мало что изменилось. Некоторые люди утратили власть, на их место пришли новые. Пообещали выяснить, кто несет ответственность за декабрьскую кровавую расправу, — составленный текст доклада так и не был опубликован; пообещали экономические реформы — и быстро о них забыли; сделали несколько жестов, рассчитанных на то, чтобы привлечь интеллигенцию.

Неверие в глубинность происходящих перемен отразили две остроты, кружившие в стране в начале 70-х. Одна приветствовала наступившие перемены восклицанием: **НОВОЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!** В другой перемены сравнивались со стаей ворон, сгоняемой с дерева: они быстро на него возвращаются и **ЗАНОВО** — гадят и галдят, галдят и гадят (по-польски «заново, снова» звучит так же, как «обновление»).

Однако, если приглядеться, с начала 70-х годов обнаруживаются едва заметные, но существенные перемены. В эти годы постепенно исчезает страх как социальное явление. Этому способствует ряд факторов. В социальном сознании стираются образы войны и сталинизма. Церкви удается преодолеть ощущение «одинокости в толпе», столь распространенное ранее. Важными вехами на этом пути было избрание Кароля Войтылы на папский престол и затем его визит в Польшу. Большую роль в преодолении страха

играет демократическая оппозиция, самим своим существованием демонстрирующая силу солидарности и бесстрашия.

Наиболее существенно меняется роль рабочего класса. Начиная с декабря 70-го, тень его всегда нависает над теми, кто принимает важнейшие социально-экономические решения: рабочие как бы приобрели неписанное право вето. Задолго до создания независимых профсоюзов рабочие заставляли власть идти на уступки путем множившихся забастовок. Размах и продолжительность их были ограничены — прежде всего потому, что, наученные опытом, власти уступали, лишь бы избежать расширения забастовочного движения. Очередная неудавшаяся попытка повышения цен в июне 1976 г., отмененного на следующий же день, подтвердила неписанную привилегию, от которой с тех пор рабочие не собираются отказываться.

Это означало новое существенное ограничение коммунистической власти в Польше, т. е. ее вынужденную либерализацию. Как до этого ей приходилось частично считаться с интересами крестьян, так теперь интересы рабочих становятся границей, которую нельзя перейти под угрозой нового массового взрыва с непредсказуемыми последствиями.

В 70-е годы также смягчилась репрессивность системы. Много, за что раньше карали, теперь или не преследуется, или преследуется меньше.

Либерализация, результат рабочего права вето, отнюдь не была широким жестом властей. Она была завоевана и сохранялась в силу повторяющихся забастовок и постоянной угрозы их расширения. Но в ином плане либерализация была не только вынужденной; но и дозволенной свыше: герековское руководство сознательно выбирало свою политику. Во многом это было следствием коренного изменения стратегии партии в ее отношениях с обществом.

Политику конца 40-х и начала 50-х гг. можно коротко охарактеризовать как войну против народа. После краткой послеоктябрьской идиллии и до конца 60-х годов мы наблюдаем смешанную стратегию конфронтации и интеграции. В каждый данный момент атакуется конкретный, заранее выбранный противник: Церковь, интеллигенция, евреи. В идеологическом же плане все более подчеркиваются мотивы национальной, социальной и политической солидарности — эта тенденция стала господствующей в 70-е годы. Забыты «классовые враги» и «классовая борьба» — доминирует лозунг национального согласия, единого сообщества всех поляков. Эта перемена — результат как ослабления власти, так и ее активного стремления обрести статус «законного представительства» всего народа. Этим можно объяснить менее агрессивное отношение к Церкви и сравнительную терпимость к участникам демократической оппозиции. Выбор стратегии поведения по отношению к обществу заставлял искать менее террористические методы решения социально-политических конфликтов.

Того же требовали и все более усложняющееся экономическое положение и обостряющаяся, особенно после июня 76-го, социальная напряженность. Когда власть все сильнее ощущала, что сидит на вулкане, репрессии против независимой интеллигенции легко могли нарушить неустойчивое общественное равновесие. Либерализму властей способствовала и углубляющаяся экономическая зависимость от Запада: партия не могла себе позволить шаги, способные пресечь поток жизненно необходимых западных кредитов. В особенности нельзя было слишком демонстративно идти вразрез с модными решениями Конференции в Хельсинках.

Таким образом, в 70-е годы, особенно во второй половине их, в Польше создается парадоксальное положение. С одной стороны, в школах, на заводах, в

издательствах, в парткомах, в вузах углубился процесс советизации. Март 68-го оставил прочные следы в официальной общественной жизни: стерилизация культуры, невозможность дискуссий или предложений о серьезных переменах, усиленная идеологическая муштра. В то же время гражданское мужество как бы подешевело и стало доступней: несмотря на всяческие преследования, выбор независимого пути уже не приводил в тюрьму и, что, может быть, еще важнее, не загонял в изоляцию, не создавал ощущения впустую растраченной жизни. За пределами опустошенной и бесплодной официальной культуры развивалась все более богатая творческая, интеллектуальная, общественная жизнь, устанавливающая новую иерархию, признаваемую широкими кругами общества.

Множатся примеры неконформизма, а то и прямой оппозиции в рамках «официальной Польши», среди тех, кто в центр своего политического мышления ставит процессы, идущие в аппарате власти. Это целая гамма чрезвычайно различных явлений — от безнаказанной публикации в эмигрантском издательстве заметок высокопоставленных деятелей (важна ощущаемая ими потребность объяснить свой политический выбор и преданность системе) до работ семинара «Опыт и будущее», в создании и деятельности которого важную роль сыграли члены партии. Однако всё вместе это свидетельствовало об усиливающемся параличе власти.

ГРАНИЦЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И КРИЗИС СИСТЕМЫ

Анализ перемен в Польше после 1956 г. приводит к выводу о неравномерном развитии вдоль выбранных нами осей координат. При заметной либерализации (многие даже сомневаются в возможности описать систему в категориях тоталитарного устрой-

ства) со сталинских времен неизменен способ организации и контроля официальной общественной жизни.

Постепенный и ограниченный характер либерализации сводил на нет угрозу советской интервенции. Каждый раз перед Кремлем вставала альтернатива: либо смириться с ограниченными издержками — допущением права вето рабочих, укреплением Церкви или самоорганизацией групп интеллигенции, либо платить неизмеримо более высокую цену вооруженного вмешательства. Даже в декабре 1970 г., когда варшавские власти были готовы к самым суровым мерам по подавлению рабочего бунта, Кремль стремился избежать вовлечения в конфликт и советовал найти «политическое» решение. Судя по опыту, у себя дома советские власти наверняка использовали бы менее «либеральные» методы. Есть также основания полагать, что Москва не возражала против подписания соглашений 1980 года, предпочитая компромисс, временное самоограничение открытому столкновению, результаты которого непредсказуемы. Это не означает, что она мирилась с последствиями подписания соглашений.

Но, даже протекая постепенно и с соблюдением «советских правил игры», процесс либерализации не может продолжаться безгранично. Пределы либерализации определяются не только Кремлем и теми, кто в Польше заинтересован в сохранении «статус-кво», но, прежде всего, фундаментальным противоречием: нельзя ограничить сферу деятельности власти без нарушения самих принципов функционирования системы советского типа. Сужение поля деятельности власти, естественная тенденция которой — стремление к всемогуществу и вездесущности, ведет к глубокому кризису всей системы.

В ряде статей последнего времени, анализирующих причины кризиса в Польше, описания симптомов и оценки довольно схожи и неопровержимы. Авторы пишут о навязанных экономике завышенных темпах роста, о нерациональной структуре капиталовложений, о неэффективности контроля центральных органов за политикой капиталовложений в разных отраслях и ведомствах, об уничтожении сельского хозяйства, о проявившейся неспособности системы направить в нужное русло поток импортируемой западной технологии. Все эти оценки примерно делятся на те, где подчеркнута архаичная, примитивная система организации экономики, и те, где на первый план выдвинуты ошибки в экономической политике.

Такой анализ, однако, оставляет без ответа весьма существенный вопрос: отчего именно в Польше (и уже в третий раз) наблюдается глубокий экономический кризис, сопровождаемый политическим потрясением. Этого нельзя объяснить исключительно традиционностью экономической системы: она сохраняется в нетронутом виде во всех странах советского блока (кроме Венгрии) и, например, в ГДР дает сносные результаты. Нельзя свести причину повторяющихся кризисов и к неверно выбранной экономической политике: если не доискиваться структурных истоков выбора, выходит, что столь значительное и регулярно возникающее явление объясняется лишь глупостью вождей. Один писатель, неплохо знакомый с «придворной» жизнью, написал недавно, что Берут был ничтожеством, но имел хороших советников, Гомулка — выдающейся личностью, окруженной ничтожествами, а Герек по уровню был не выше Берута, советники же его — не выше советников Гомулки. И каждый из них привел Польшу на край гибели. Так что истоки очередных кризисов не в этом.

Мне кажется, для понимания причин этих специфически польских кризисов следует рассмотреть выводы из фундаментального противоречия между логикой системы советского типа, почти не изменившейся в Польше с конца 50-х гг., и той особой эволюцией, которую претерпевает польская власть и которую мы называли либерализацией.

Сначала, однако, краткое отступление о логике экономической системы советского типа. Парадоксальным образом, система планирования и управления, которая, согласно стереотипам, особенно успешна в слаборазвитых странах, давая им возможность ускоренного развития, — в действительности предполагает наличие *изобилия*. Но изобилия особого рода: власти практически могут абстрагироваться от ограничений, связанных с материальными или людскими ресурсами — например, внезапно повысить темпы роста экономики, увеличить расходы на вооружение, ограничить продажу мяса на рынке, а «сэкономленные излишки» экспортировать, вычеркнуть из плана расходы на здравоохранение, а вне всякого плана предпринять строительство металлургического комбината.

Это изобилие, являющееся прерогативой власти, возможно благодаря пренебрежению общественными потребностями, но представляет собой необходимое условие функционирования экономики советского типа. Если бы не возможность повышать капиталовложения и тормозить динамику доходов населения, эта экономика давным-давно оказалась бы в застое. «Изобилие» служит плановику для компенсации низкой производительности экономики, ее неизбежной расточительности.

Нормальное функционирование экономики советского типа требует изобилия трех основных факторов производства: труда, капитала и общественного терпения. Однако уже с конца 50-х гг. ограничения становятся все более очевидными во всех странах совет-

ского блока. *Дефицит* — противоположность изобилия, фундаментальная черта хозяйствования в современном обществе — бьет и по советскому плановику. Все более дефицитны трудовые и сырьевые ресурсы, все труднее принуждать общество мириться с лишениями и покорно терпеть.

В начале 70-х гг. в Польше власть уже не могла рассчитывать на терпение общества. Декабрьские события и затянувшееся еще на несколько месяцев брожение заставили ее осознать границы поля маневрирования. Руководство знало, что Декабрь может повториться и, главное, что этого нельзя допустить во имя сохранения самого строя.

Естественной в таком положении стала политика, ставящая на первый план потребление. Удовлетворение потребительских нужд общества стало единственным возможным способом завоевать если не благосклонность, то хотя бы спокойствие общества. Рост материальных благ должен был также подменить иные блага и общественные ценности, которых эта система не может предоставить обществу. Перестав быть амортизатором, сглаживавшим последствия экономически нерациональных решений, потребление превратилось в одну из первоочередных задач властей.

На мой взгляд, опыт польской экономики показывает границы либерализации, не сопровождаемой изменением принципов функционирования экономики. Власть, опирающаяся на произвол, на искусственное «изобилие», не может функционировать в условиях все более сужающегося поля выбора, все более расширяющегося «дефицита».

Этот тезис подтверждается на примере сельскохозяйственной политики. Отказ от коллективизации в 1956 г. не означал отказа от планов подчинения сельского хозяйства прямому контролю государства. История этих лет — это история попыток постепенного закабаления крестьянства. Каждый раз властям прихо-

дилось отступать, чтобы избежать глубокого кризиса сельскохозяйственного производства, а следовательно, растущего недовольства городского населения. Однако очередные неудачи не приводили к окончательному признанию индивидуального сектора в сельском хозяйстве. Отступление всегда носило временный характер, было тактическим выжиданием более удобного момента для «социалистической перестройки сельского хозяйства».

Не будучи в состоянии национализировать сельское хозяйство, власти «национализировали» его будущее, сделали все от них зависящее, чтобы остановить его развитие. Этому служили и политика цен, бывшая по доходам крестьян, и политика капиталовложений, лишавшая их возможностей развития, а зачастую и простого воспроизводства находившихся в их распоряжении средств, и введенные ограничения на покупку и наследование земельных угодий и т. п.

Снова парадокс либерализации в условиях советской системы: власти были не в состоянии преодолеть ограничения, наложенные на них независимым сельским хозяйством, но не были и склонны примириться с действительностью. Результат — застой сельскохозяйственного производства. И другой парадокс: венгерское сельское хозяйство, после подавления революции подвергнутое жестокой коллективизации, находится в значительно лучшем состоянии, чем польское, по преимуществу единоличное. Получив полный контроль над сельским хозяйством, венгерские власти не видели прямых или косвенных причин вести войну против крестьянства. Наоборот, они широко снабжали крестьян средствами производства, допускали некоторую неформальную (а значит, и не бесповоротную) деколлективизацию труда, устанавливали выгодное соотношение цен на сельскохозяйственную продукцию и в конечном итоге добились значительного роста сельскохозяйственного производства.

Можно править при помощи террора или, наоборот, опираясь на общественное признание. Но система, которая неспособна ни терроризировать общество, ни обрести его признание, обречена на глубокий, хронический кризис и распад.

Коррупция, небывало распространившаяся в Польше 70-х гг., также, по моему мнению, выросла из столкновения традиционных советских принципов с вынужденной либерализацией власти. Помимо развитой системы привилегий, в правящих кругах всегда существовала тенденция использовать свое положение для получения дополнительных благ и преимуществ. 70-е годы приносят Польше такое разрастание этого явления, что можно уже говорить о появлении клептократии — социальной группы, рассматривавшей свои высокие посты исключительно как источник незаконных доходов.

Классическая советская система решает проблему клептократии с помощью чисток, полицейского контроля доходов и трат, чувства постоянного страха у работников аппарата власти. В демократическом государстве развитие патологических явлений тормозится путем общественного контроля: пресса, выборы и т. п. Система, сложившаяся в Польше в 70-е годы, не имела ни той, ни другой возможности. Сталинской идеократии 50-х годов пришла на смену идеологическая партократия 60-х, породившая, в свою очередь, поколение «либеральных» клептократов 70-х годов.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВЕНГЕРСКОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ

Венгерский опыт за четверть века после подавления революции, на первый взгляд, противоречит сформулированному выше положению, что кризис в Польше — результат вынужденной либерализации в условиях неизменной советской системы. Действи-

тельно, в Венгрии с начала 60-х гг. мы наблюдаем процесс либерализации, который продолжается и по сей день, несмотря на замедления и приостановки, и делает ее уникальной в советских владениях страной, где сравнительное благосостояние населения соединяется с довольно широким либерализмом коммунистической власти.

Советское вторжение и последовавший за ним террор сломили сопротивление венгерского общества. Однако от прежней сталинской системы в Венгрии не осталось и следа — ее нужно было не восстанавливать, а создавать заново. Разгром сопротивления и всеобщая апатия дали коммунистической власти широкое поле маневра. Это показала проведенная жестокими методами коллективизация.

Желание прорвать изоляцию партии от общества склонило Кадара и его коллег к радикальной перемене политики в первой половине 60-х годов, что выразилось в лозунге: «Кто не против нас, тот с нами». Государство-партия самоограничивается во многих областях. Сделаны серьезные уступки крестьянам: они не получили землю, но в рамках колхозов приобрели значительную автономию; существенно возросли их доходы. Заметно либеральнее стала и политика в отношении интеллигенции. Границы Венгрии на Запад открылись шире, чем в любой другой стране советского блока. Проведенная в 1968 г. реформа ощутимо изменила структуру венгерской экономики. Власти терпимо относились к развитию независимого предпринимательства и к повышению роли т. н. «параллельной экономики». Значительно смягчилась и репрессивность системы.

Эта политика была довольно благожелательно встречена населением. Не бросающийся в глаза компромисс был сочтен за максимум того, чего можно было достичь после поражения революции и под неусыпным присмотром Москвы.

Либерализация в Польше была результатом непрекращающихся конфликтов между коммунистической властью и обществом (или отдельными группами общества), а не результатом соглашения между обществом и властью и не вела к такому соглашению. Наоборот: каждая новая победа общества повышала напряженность в его отношениях с властями — в частности, и потому, что каждую уступку приходилось завоевывать, а то и оплачивать кровью. Поэтому-то либерализация вела не к расширению социальной базы и «легитимности» власти, а к новому падению ее авторитета в широких кругах общества. В Венгрии же либерализация не была вынужденной, хотя принципиальную роль в выборе этой политики сыграло стремление властей сломить пассивное сопротивление общества, войти с ним в какой-то контакт.

Второе отличие венгерской либерализации: соглашаясь на постепенное расширение сферы свободы в условиях ограниченного давления со стороны общества, власти сами выбирали масштабы и области либерализации. Иначе говоря, они не подвергали риску все здание системы — более того, выбирали как раз те области, где допущение широкой общественной инициативы не только способствовало уменьшению социальной напряженности, но и повышало общую эффективность системы. Так, гибкая политика в отношении крестьянства или терпимость к «параллельной экономике» способствовали повышению благосостояния венгров, а в результате — и политической стабилизации. В Польше же либерализация происходила не там, где властям было удобней ее допустить, а там, где угнетение было для общества непереносимей. Поэтому она затрагивала жизненно важные точки системы, приводя к ее постепенному параличу.

Наконец, в Польше борьба за ограничение коммунистической власти приводила к выделению и обособлению различных социальных групп. В Венгрии

уступки всегда имели как бы конкретного адресата: власть бдительно следила, чтобы не появились организованные группы ее противников, чтобы дело не дошло до выдвижения коллективных требований.

Со времени венгерской революции прошло 25 лет. Затянулись раны, постепенно размывается психологическая основа компромисса, основанного на данных обществу уступках. Этому способствует еще и факт, что, как и в других странах социалистического лагеря, нарастают экономические трудности, а с ними — и общественное недовольство. В будущем это может «полонизировать» венгерский вариант либерализма. Но может произойти и другое — попытка советизации Венгрии, возвращения ее политического развития назад, к состоянию всех, за исключением Польши, стран Восточной Европы.

РЕВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Если развитие Польши в направлении либерализации и демократизации шло неравномерно и процесс далеко зашедшей либерализации при блокировании перемен в направлении второй координаты неизбежно вел к напряженности, конфликтам и кризису системы — отсюда еще не следует, что августовские события 1980 г. вытекали из этого неизбежно. В революциях, в крупных общественных движениях элемент случайности всегда играет огромную роль. Несомненно, власти могли сделать выбор в пользу более разумной политики в отношении крестьян и избежать продовольственного кризиса; проводить более рациональную экономическую политику и не довести до теперешней драматической ситуации; избрать другую стратегию по отношению к растущей демократической оппозиции и, быть может, предотвратить формирование хорошо подготовленных деятелей в среде ра-

бочих и крестьян; наконец — больше заботиться о моральном состоянии собственной «голосующей публики», не допустив или ограничив клептократию. Таким образом, катастрофа системы не была неизбежна, но стала возможна благодаря упомянутому фундаментальному противоречию между логикой производства, на котором основана коммунистическая власть, и ограничениями, навязанными ей обществом.

В событиях лета 1980 г. и дальнейших, в уступках, на которые народ заставил пойти партию и которые зафиксированы в различных соглашениях, можно заметить продолжение прежней тенденции к либерализации. Действительно, признание свободных профсоюзов, права на забастовку, сужение компетенции органов цензуры — все это означает дальнейшее радикальное ограничение монополии власти. Однако очевидно, что идущие в Польше процессы не сводимы к продолжению и расширению либерализации.

Само возникновение независимых профсоюзов и других подлинно общественных организаций есть политический акт огромного значения, ибо создание независимых учреждений в сфере общественной жизни не может быть аполитичным в рамках данной системы. В крайнем случае, его можно считать антиполитическим, ибо цель его — ограничить самую сферу политики, осуществляемого партией контроля.

Далеко за пределами логики либерализации — гарантированное Гданьским соглашением право рабочих влиять на решения относительно всей экономики, всего общества в целом. Ленин писал в свое время, что хозяйственный план есть вторая программа партии, — и вот профсоюз завоевал (пусть пока на бумаге) право участвовать в выработке решений, которые, по Ленину, принадлежат партии. Точно так же нельзя вместить в рамки либерализации и всё более частые примеры устранения из аппарата власти наиболее скомпрометированных его представителей: не имея

возможности избрать своих подлинных представителей, общество стихийно стремится узаконить такую практику, при которой оно, по крайней мере, будет контролировать спущенных ему свыше наместников.

Наконец, само по себе соблюдение навязанных политике ограничений должно привести к радикальным преобразованиям внутри нее самой. Другими словами, дальнейшее расширение либерализации требует далеко идущих изменений в механизме отправления власти, т. е. демократизации.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ

Лето 1980 года, открыв возможности для глубоких изменений в системе, одновременно ввергло Польшу в зону повышенной опасности. На этот раз мы стоим перед фундаментальным противоречием между устремлениями польского общества и имперскими интересами Советского Союза.

Никто не знает, какой выбор сделают власти в Кремле перед лицом дальнейшего развития польских событий. Никто не знает также, возможно ли создание некой «гибридной» системы, которая обеспечит сохранение того, что является самым важным для Советского Союза, и в то же время позволит удовлетворить устремления поляков.

Быть может, самая оптимистическая гипотеза состоит в том, что Польша еще долго будет пребывать в состоянии экономической и социальной анархии. Похоже, что Москве легче согласиться с теперешним состоянием разложения государственного организма, чем со стабилизацией в неприемлемом для нее направлении. Москва не признаёт и не признаёт происходящих в Польше перемен: слишком они опасны для ее физической и идеологической империи, — вместе с тем огромные потери (в прямом и перенос-

ном смысле), в которые обойдется вооруженное вмешательство, удерживают Советский Союз от наиболее естественного для него решения.

Принятая пока что Москвой стратегия «ни войны, ни мира», все чаще сопровождающаяся необычайно грубым, неприкрытым нажимом, рассчитана на изматывание польского общества кризисом, непрерывным напряжением, на укрепление сторонников порядка «любой ценой». Но эта ситуация негативного равновесия может пойти на пользу польскому обществу, несмотря на все приносимые им жертвы, ибо чем дальше, тем глубже и необратимее перемены в политической, общественной и духовной жизни страны.

СОБЫТИЯ В ПОЛЬШЕ И БУДУЩЕЕ СОВЕТСКОЙ ИМПЕРИИ

Польская революция стала источником надежды не только для поляков, но и для миллионов людей на Востоке и Западе, которые верят, что советская система не вечна. Потому-то, как в 1956, а затем в 1968 году, постоянно слышишь вопросы о вероятности распространения движения за свободу на другие страны империи, включая Советский Союз. В них зачастую проявляется наивный оптимизм, надежда во что бы то ни стало. Увы, в историческом развитии нет механических закономерностей. Появление массового сопротивления в Польше не означает, что подобное движение автоматически последует в других странах. В отличие от сказок, в истории счастливые развязки редки.

И все же, несмотря на эти оговорки, несмотря на необходимую долю скептицизма, трудно отделаться от мысли, что события в Польше могут сыграть определяющую роль для будущего империи. На этот раз советская система поражена в самое сердце, в самый корень, в то, что в глазах ее правителей оправдывает

сам смысл ее существования. На этот раз мы имеем дело не с движением за реформы, возникшим в рамках партии, которая пытается найти способ сосуществования с обществом на основе компромисса, — такое движение нетрудно изолировать и подавить. На этот раз речь идет не о временных уступках, от которых затем можно будет отказаться. На этот раз советская власть оказалась лицом к лицу не с раздробленной массой, а с обществом, сумевшим восстановить свою целостность, реконструировать разорванные связи, возродить взаимное доверие, моральные ценности, веру.

Глубокий кризис советской империи проявился и на другом ее краю. В Афганистане все началось с самого заурядного коммунистического переворота в 1978 году. Вначале реакция общества не была слишком резкой: вероятно, прежний режим был не чересчур привлекателен. Однако затем произошла беспрецедентная в истории СССР вещь: социальная база, на которую он мог опереться, не только не расширялась, но постоянно сужалась, что привело к затяжной войне колониального характера.

В истории захватнической политики Советского Союза, начиная от вторжения в Грузию в 1921 г. и кончая интервенциями в Венгрии и Чехословакии, особенно поражает необычайная способность советских властей находить себе в занятых, завоеванных, оккупированных странах некоторую — пусть даже ограниченную — общественную поддержку. В 56-м или 68-м году управление захваченной страной чрезвычайно быстро, по сути дела — сразу, оказывается в руках местных, а вовсе не советских чиновников, комиссаров или губернаторов. Эта социальная база создавалась по-разному: террором, подкупом, но и путем удовлетворения некоторых важных нужд местного населения. Афганистан — первый пример в истории, когда эта стратегия оказалась безрезультатной.

Когда-то советская империя соблазняла людей своей идеологией, было время, когда на нее с надеждой были обращены глаза народов, стремившихся стать экономически развитыми нациями. Теперь у нее осталась только сокрушительная военная мощь. Московский Казанова больше не в состоянии соблазнять — он может только насиловать. А пример Афганистана показывает, что и это больше не остается безнаказанным.

Итак, два явления, два процесса ставят советскую империю в драматическое положение: с одной стороны — общенародная война за независимость, с другой — общенародное движение за все более широкую автономию, за возможность вести дела у себя дома в соответствии с собственными традициями. Афганская война показала всему миру империалистическую природу советской власти. Польская революция показала, что советский строй не вечен, что из этого тупика можно найти выход.

Как Польша, так и Афганистан демонстрируют, что самой большой угрозой для империи является надежда и сопротивление. Когда-то советский строй опирался на слепую веру ничтожного меньшинства и на чувство бессилия задавленного террором большинства. Сегодня он может рассчитывать лишь на апатию, безропотность и безверие угнетенных народов.

СМОЛЯР Александр — родился в 1942 г. в Белостоке. Учился в Варшавском университете, где потом был научным сотрудником. Арестован во время мартовских событий 1968 г. и приговорен к двум годам тюрьмы. После освобождения эмигрировал. Живет в Париже. Научный сотрудник Национального научно-исследовательского центра, социолог. Автор многих научных работ и публицистических выступлений. Редактор польского эмигрантского журнала «Анекс».

ОБРАЩЕНИЕ

Дорогие друзья!

Русский Свободный Университет имени А. Сахарова, зарегистрированный в Германии как общественно-полезная организация, существует уже три года.

Около 250 часов лекций, около 150 часов групповых занятий, больше 100 бесед в вечерние часы — и более 200 слушателей — вот итог этих трех лет. В числе слушателей — люди самых разных возрастов, профессий, интересов и судеб, самых различных национальностей: французы, немцы, американцы, японцы, голландцы, итальянцы, шведы, бельгийцы, англичане.

Университет старается дать своим слушателям максимальное количество знаний о России и Советском Союзе, и поэтому в качестве преподавателей, лекторов, гостей мы пытаемся привлечь лучшие силы, существующие ныне в эмиграции.

К сожалению, это не всегда возможно, ибо Университет не имеет не только постоянного бюджета, но и какой бы то ни было разовой финансовой помощи, поэтому оплата преподавателям дороги и работы в самом Университете остается для нас пока сложнейшей проблемой.

В связи с этим мы обращаемся к вам, друзья, — ко всем, кому дорого дело популяризации, распространения объективных знаний о России и СССР, с просьбой о помощи.

Русский Свободный Университет, носящий имя А. Сахарова, — это наше общее дело. Дело всех, кто не может и не хочет забыть, кто не мыслит себя вне русских проблем, вне русского слова, вне будущего России.

Заранее благодарим всех, кто откликнется на наше обращение!

Правление РСУ им. А. Сахарова

Dresdner Bank AG. Köln, Kto-Nr. 3 644 625 01 (BLZ 370 800 40)
Postscheckkonto Köln Nr. 2994 61 - 502 (BLZ 370 100 50)

КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ МАО

(«Оттепель» в Китае и в СССР)

Несмотря на множество различий как между Китаем и Советским Союзом, так и между китайской и русской культурными традициями, современные китайская и советская литературы имеют много сходного. В этом нет ничего удивительного, поскольку политические режимы обеих стран питаются одним и тем же философским источником, несущим тоталитарный взгляд на все виды человеческой деятельности, включая литературу. Политические системы в Китае и Советском Союзе претендуют на создание более высокого уровня общественной организации (как внутри этих систем, так и за их пределами), и каждый, в том числе и писатели, должен участвовать в осуществлении революционных целей. В этих странах плоды литературного труда являются предметом неослабного внимания властей в гораздо большей степени, чем в Западной Европе или Северной Америке. Хотя западные правительства изредка и предоставляют некоторым писателям скромную материальную поддержку, в целом они не обращают особого внимания на литературный процесс. Литература в широком смысле исключена из сферы правительственных интересов. Писатели Западной Европы и Америки в общем вполне удовлетворены таким положением, и если упоминают о постоянной заботе, объектом которой являются их восточные собратья по перу, то в

этих замечаниях обычно сквозит больше иронии, чем откровенной зависти.

Официальное назначение литературы в Китае и Советском Союзе сильно отличается от множества функций, которые литература может выполнять на Западе, так же как и от функций, которые она на практике выполняет в коммунистических странах. Поэтому, для того чтобы нарисовать правдивую картину сегодняшней китайской (и русской советской) литературы, необходимо ясно отличать теоретические высказывания о художественной литературе от реальной литературной практики. А потому мы сначала проанализируем сегодняшнее развитие теории литературы в Китае, сравнивая его время от времени с положением в советском литературоведении, а затем рассмотрим рост новой китайской литературы, также в сравнении с советской литературной жизнью. Сопоставляя советскую и китайскую литературы, не следует забывать, что китайский коммунизм моложе советского по крайней мере на одно поколение. В КНР, бесспорно, присутствует тенденция к демаоизации, но лишь с 1976 года, в то время как десталинизация в Советском Союзе началась в 1956 или даже раньше.

Основы маоистской литературной доктрины

Первым и до сих пор основополагающим документом коммунистической теории литературы в Китае является обращение Мао Цзе-дуна к конференции по литературе и искусству, состоявшейся в Яньани в 1942 году. В то время китайские коммунисты контролировали лишь небольшую область в Северном Китае, откуда, независимо от национального правительства, вели борьбу с японской оккупационной армией. В этом коммунистическом районе собралось большое число интеллигентов, бежавших из Шанхая и других окку-

пированных районов Китая. Далеко не все из них были коммунистами. Эти люди принесли с собой различные политические убеждения. В своих «Яньаньских беседах» Мао Цзе-дун попытался остановить распространение немарксистских концепций в литературе и жизни. И, как заявил в 1979 Чжоу Янь, руководящие указания, данные Мао Цзе-дуном в его «Яньаньских беседах», остаются действенными, хотя и не должны пониматься догматически. Перед тем, как обратиться к их сегодняшней интерпретации в КНР, бросим беглый взгляд на основные мысли, высказанные Мао Цзе-дуном.

1. Мао доказывает, что литература и искусство должны служить классовой борьбе и войне против Японии. Однако Мао говорит также, что литература не должна быть полностью подчинена практическим требованиям повседневности. Опираясь на романтическую теорию искусства, на В. Белинского и, возможно, даже на Аристотеля, он доказывает, что, хотя и жизнь и искусство прекрасны, «жизнь, отраженная в литературном творчестве и в искусстве, может и должна быть более крупномасштабной, напряженной, концентрированной, типичной, должна быть ближе к идеалу и, следовательно, более универсальной, чем реальная повседневная жизнь». Таким образом, подчеркивается, с одной стороны, примат политических целей, а с другой — более высокий уровень искусства. Это противоречие отнюдь не смущало писателей, а китайским властям давало возможность обращать большее внимание то на политические, то на художественные критерии, вследствие чего в различные периоды литературной жизни Китая акцент перемещался от политической борьбы к художественному качеству и обратно.

В маоистской концепции искусства присутствует другое противоречие. Конечно, Мао разделяет ленинскую теорию отражения*, но считает при этом, что литература — больше, чем отражение общества. Художественная типизация и обобщение в литературе

* Мао утверждает: «Произведения литературы и искусства, принадлежа к идеологии, являются результатом отражения человеческим мозгом жизни данного общества. Революционная литература и искусство являются результатом отражения жизни народа в голове революционных писателей и художников».

фактически формулируют и организуют отражение реальности таким образом, что оно уже не просто снимок реальности. К тому же, служение политическим целям классовой борьбы может вступать в противоречие с непосредственным отражением жизни. А потому и художественное обобщение, и политическая позиция могут находиться в противоречии с беспристрастным применением теории отражения. В Советском Союзе эту проблему более или менее разрешили, по крайней мере на бумаге, изобретением «социалистического реализма», цель которого — художественное отражение действительности в ее революционном развитии. В начале 50-х гг. концепция социалистического реализма появилась и в Китае, но вскоре была заменена формулой «сочетание революционного реализма с революционным романтизмом». Последняя концепция, выдвинутая в 1958 г., делает еще более определенным противоречие между объективным выражением и субъективным революционным и художественным замыслом.

2. Мао утверждает необходимость популяризации литературы и искусства и одновременно подъема художественного уровня, с большим акцентом, однако, на популяризации. Здесь он вновь вводит противоречие, поскольку популяризация, т. е. приспособление литературы к образовательному уровню масс, несовместима с улучшением художественного качества.

3. Мао утверждает, что в обсуждении проблем необходимо исходить из «объективных фактов», а не из «абстрактных определений». Однако он добавляет, что такова марксистская позиция, вследствие чего термины «абстрактный» и «конкретный» получают строго марксистскую трактовку. Таким образом, совет Мао начинать с анализа фактов должен, парадоксальным образом, пониматься как совет изучать марксистскую теорию (и марксистскую терминологию), чтобы уметь находить «правильные» марксистские факты.

4. Подражая Ленину, Мао призывает к критическому освоению «всех ценностей нашего литературного и художественного наследия». Однако уважение к литературным традициям может пониматься достаточно расплывчато, поскольку вопрос о том, какая литература должна осваиваться и в каком объеме, — остается без ответа.

5. Мао предостерегает писателей от критики темных сторон социалистического общества. В этом отношении они должны следовать примеру советской литературы. Но, с другой стороны, «необходимо разоблачить все темные силы, мешающие народным массам». Однако не всегда ясно, какие «темные силы» можно разо-

блачать, а какие нет. И здесь возникает широкое поле для интерпретации.

6. В заключение Мао обращается к «теории человеческой природы». В классовом обществе человеческая природа может носить только классовый характер, надклассовой человеческой природы не существует. В 1956 году Фын Дин попытался в своей книге «Коммунистический взгляд на жизнь» опровергнуть эту крайнюю точку зрения. Фын Дин доказывал, что все люди нуждаются в пище, крове, одежде и все человеческие действия мотивируются, главным образом, необходимостью этих насущных для жизни вещей. Он подчеркивал также, что человеческой натуре присущи стремление к миру и желание сохранить жизнь. Однако ортодоксальные критики обвинили Фын Дина в том, что он превозносит человеческие инстинкты и принижает общественную жизнь. (По их мнению, Фын Дин не в состоянии объяснить подвиги революционных мучеников, полностью избавившихся от страха смерти.) Критика работ Фын Дина началась в 1964 г. и стала одним из ручейков, слившихся к 1966-му в поток Культурной революции. Сегодня, однако, его теория уже не подвергается столь резкой критике, в то время как крайние воззрения Мао теряют свою силу.

Современные интерпретации маоистской литературной доктрины

Взгляды, которые, следуя главным догматам марксистской литературной критики, защищает Мао, — гораздо менее ясны, чем можно было ожидать. Конечно, внутренние противоречия его утверждений можно было бы объяснить с помощью диалектики, но этот путь ведет скорее к их сокрытию, нежели к разрешению. Сегодня китайские критики и теоретики литературы готовы допустить отсутствие ясности в марксистско-маоистской литературной доктрине. И если они еще твердо придерживаются главных принципов, изложенных в «Яньаньских беседах», или, по крайней мере, ссылаются на них, то лишь потому, что в их распоряжении нет ничего другого, за исключением традиционных китайских литературных теорий и сму-

щающего многообразия литературных концепций, родившихся в Европе и Америке. Здесь причина того, что при повторении общеизвестных формулировок из «Яньаньских бесед» в них часто вкладывается новый смысл. С тех пор как из чистилища Культурной революции (1966-76) китайское общество вошло в период демаоизации, стало возможным появление новых идей и новых определений, хотя границы политической либерализации пока еще не совсем ясны.

Демаоизация началась вскоре после смерти Мао Цзе-дуна в сентябре 1976 г. при активной поддержке Дэн Сяо-пина и молчаливом (возможно, вынужденном) согласии Хуа Го-фэна. Новое политическое направление привело к огромному числу реабилитаций. Среди реабилитированных был и Чжоу Янь, вновь занявший пост заместителя председателя совета по пропаганде при ЦК КПК. Эту должность он исполнял с 1949 г. до начала Культурной революции в 1966-м, и на него, главным образом, было возложено наблюдение над литературной жизнью. Влияние этого человека можно сравнить с влиянием Жданова в Советском Союзе. Бесспорно, Чжоу Янь был горячим поклонником советской культурной политики. Считается, что он был главным защитником социалистического реализма в Китае и одновременно способствовал переводу и публикации в Китае великих русских реалистов, включая Достоевского. При его покровительстве в Китае были изданы многие тома литературных работ В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова и Н. Г. Чернышевского. В 50-е годы его толкование теории литературы и эстетики было очень близким к советской школе. Показательно, что русский — единственный европейский язык, на котором читает Чжоу Янь.

Наряду с Чжоу Янем, прошедшим в 1966-76 гг. унижения массовых митингов и тюремное заключение, было реабилитировано множество писателей и критиков, преследовавшихся в годы Культурной револю-

ции, однако для ряда писателей реабилитация пришла слишком поздно; посмертно реабилитированы многие известные писатели, чьи книги переведены на языки разных стран, включая русский.

Волна реабилитаций не остановилась только на жертвах Культурной революции. Постепенно власти начали пересматривать и приговоры более ранних лет, например, кампании 1957 года против правых. Непорочность Мао Цзе-дуна была поколеблена, и это вызывало сомнения в правильности его политических действий. Идеологическая часть учения Мао Цзе-дуна и до сих пор считается «абсолютно верной», однако многие его политические заявления уже признаны ошибочными. Например, в 1957 г. в известной речи «О правильном подходе к разрешению противоречий» он заявил, что главную роль в китайском обществе по-прежнему играет классовая борьба. Сегодня пекинские власти, разделяя критику этой политической оценки, считают несправедливой кампанию против правых. В результате, многие писатели, заключенные в тюрьмы, сосланные или находившиеся под домашним арестом, в 1978-79 гг. были освобождены и реабилитированы. Среди них Дин Лин, удостоенная в 1951 г. сталинской премии за книгу «Солнце над рекой Сангань»; поэт Ай Цин и авторы коротких новелл Лю Бинь-янь и Ван Мэн. Для поэта и критика Фын Сюэ-фына реабилитация пришла слишком поздно: он умер в 1976 г.

Примечательна и отмена еще более старых приговоров. Например, Сяо Цзюнь, автор «Деревни в августе», разгромленной в 1942, 1948 и 1955 гг., находившийся с тех пор в тюрьмах или ссылке, — вновь появился в китайской литературе в 1980-м, опубликовав поэму в одном из провинциальных журналов. Наконец, было пересмотрено и нашумевшее дело известного поэта и критика Ху Фына. В 1955 г. Ху Фын, твердый последователь «критического реализма»,

во многом разделявший идеи Дьердя Лукача, был обвинен в «контрреволюционных преступлениях» и, как сообщалось в газете «Женьминь жибао» (18 июля 1955 г.), арестован. Совсем недавно его стихи в переводе на английский язык появились в издающемся в Пекине журнале «Китайская литература», снабженные краткими объяснительными примечаниями, в нескольких строках описывающими трагедию его жизни: «Ху Фын родился в 1902 г. в Кишуни, провинция Хубэй, литературный критик, поэт и переводчик. В 1955 г. был несправедливо обвинен в руководстве антипартийной группой. Это обвинение тяготело на нем до 1980 года. Дело так называемой «антипартийной группы Ху Фына» было незаконным». Этот случай также может повлечь за собой реабилитации, для большинства жертв этого дела уже посмертные.

Реабилитации после смерти Мао Цзе-дуна охватывали три различные группы писателей: жертв Культурной революции, жертв кампании против правых и писателей, преследовавшихся по делу антипартийной группы Ху Фына. В результате создалась крайне сложная ситуация, поскольку многие из реабилитированных жертв Культурной революции сами участвовали — но уже в роли гонителей — в кампании против правых в 1957 г. или в деле Ху Фына и его последователей в 1955-м. Таков, бесспорно, случай Чжоу Яня, который сегодня вновь официально возглавляет китайскую культурную политику. Ходят слухи, что он защищал людей, подобных Дин Лин, однако это, конечно, не слишком разряжает обстановку. С другой стороны, сегодня Чжоу Янь — бесспорно, много старше, серьезней и мудрее, чем в 50-е годы, и, в конце концов, так же, как и другие, прошел тюрьму и публичные процессы. Фактически именно в этом основное различие между положением в сегодняшнем Китае и обстановкой в Советском Союзе после десталинизации: почти все, кто играет сегодня ведущую роль в КНР,

сами пострадали так или иначе от Культурной революции. То есть, говоря языком табели о рангах, — сегодня тюремное прошлое рассматривается скорее как политический капитал, нежели как задолженность.

В литературном мире различные группы реабилитированных писателей довольно хорошо уравнивают друг друга. Никто из них не обладает достаточной властью, для того чтобы определять литературную политику, и, хотя с 1977 г. Чжоу Янь достаточно близок к такому положению, надо отметить, что он не использует его, защищая большую терпимость и свободу дискуссий.

Прежние узники, освобожденные из тюрем, остаются пленниками своего собственного опыта, хранят память о погибших собратях по перу. Естественно, что в таких условиях «догматическое понимание» «Яньаньских бесед» просто невозможно. Критические дискуссии в сегодняшнем Китае, по сути дела, вернулись к проблемам периода «Ста Цветов» (1956-57). Активные в то время критики, такие, как Цинь Чжаоян, снова вспоминают о советских писателях типа К. Симонова и В. Овечкина, и никто их сегодня не одергивает. Посмотрим, как интерпретируются сегодня маоистские доктрины, упомянутые выше.

1. Возвращение Чжоу Яня является гарантией того, что КПК готово признать особую природу литературного творчества. В противоположность идеям, распространявшимся в период Культурной революции, литература рассматривается отличной от пропаганды, и — как сказал Чжоу Янь: «Для руководства экономикой необходимо понимать экономические законы (...), для руководства литературой и искусством необходимо уважать законы литературы и искусства». Пока остается не совсем ясным, каковы же эти законы, но можно предположить, что китайские теоретики возвращаются к концепции «типического», понятиям «вдохновения», «интуиции», к формуле «мышление в образах» — т. е. к тому, что критиковалось или, по крайней мере, оспаривалось в продолжение Культурной революции. Безусловно, вновь будет открыто все идеалистическое

наследие, принятое в советскую марксистскую эстетику, однако никаких руководящих установок пока еще не сформулировано.

Недавно опубликованные в «Литературных исследованиях» материалы дискуссий действительно касаются фундаментальных проблем, таких, например, как приемлемость лозунга «литература должна служить политике». Тянь Инь, вернувшийся в литературу «правый», активный в период Ста Цветов, кажется, предпочитает формулу «литература не может быть отделена от политики». Такой взгляд отрицает иерархическую связь между политикой и литературой, выдвинутую Мао Цзе-дуном, что может открыть для литературы возможность создавать политическое мировоззрение, а не только отражать уже существующее. Однако взгляды Тянь Иня все-таки еще исключение. Большинство споров, отраженных в «Литературных исследованиях» и других изданиях, проводится в форме вопросов и критических замечаний. Так, один из критиков выражает сомнение в приемлемости понятий «мышление в образах» и «вдохновение», считая их «идеалистическими, мистическими» терминами, которые необходимо пересмотреть. Убедительной замены им он, однако, не предлагает.

2. В то время как в продолжение Культурной революции основной акцент делался на популяризации литературы и искусства, после смерти Мао большое внимание уделяется подъему художественного уровня. Китайские власти, кажется, готовы признать необходимость дифференцированного подхода к читающей публике. Так, сегодня снова возможно печатать романы об интеллигенции для интеллигентного читателя (такие, как «Второе рукопожатие» Чжан Яна — 1979). Возможно также публиковать поэзию, предназначенную исключительно для читателей с высоким образовательным уровнем и привычкой к чтению — такую например, как стихи Ай Цина.

3. В отличие от периода Культурной революции, большое значение придается лозунгу «практика — единственный критерий истины». Вера в Дэн Сяо-пина связана с его опорой на эмпирические факты, но сама формулировка этого лозунга является почти дословной цитатой из работы Мао «О практике»* (1937). Тем не менее, при Дэн Сяо-пине упор на факты, кажется, потерял свое первоначальное марксистское значение, ибо, как видно будет ниже, в Ки-

* Мао пишет: «Марксисты считают, что единственным критерием знаний о внешнем мире является человеческая социальная жизнь»; «Только социальная жизнь может быть критерием истины»; «Практика — критерий истины».

тае присутствует явное стремление обнажить многие (хотя и не все) темные факты Культурной революции.

4. Современное отношение к культурному наследию, как китайскому, так и иностранному, абсолютно отлично от узколобого негативизма, который во времена Культурной революции выражала Чжан Цин и другие. Так, на конференции по литературе и искусству, организованной Линь Бяо и Чжан Цин в феврале 1966 г., последняя приписала даже Сталину слишком снисходительное отношение к буржуазному наследию. Она сформулировала позицию, близкую к позиции Пролеткульта, заявив: «Мы должны разрушить слепую веру в китайскую и иностранную классическую литературу. Сталин был великим марксистом-ленинцем. Он очень резко критиковал буржуазную модернистскую литературу и искусство, но в то же время некритически воспринял классическую русскую и европейскую литературу, что привело к тяжелым последствиям».

На практике взгляды Чжан Цин означали, что из всех иностранных писателей лишь М. Горький, А. Фадеев и А. Серафимович публиковались в период Культурной революции. В своих «Яньаньских беседах» Мао Цзе-дун упомянул фадеевский «Разгром» как пример для подражания. В 1966 г. Чжан Цин не отметила положительно ни одного советского писателя, зато обрушилась на М. Шолохова как на представителя «иностранного ревизионизма в области литературы и искусства». Она предостерегала против «слепого подражания» советской литературе.

Чжан Цин подвергла острой критике предреволюционную китайскую литературу, включая писателей, активных в 30-е гг. И хотя, подобно Мао Цзе-дуну (см. его «Яньаньские беседы»), она отозвалась с похвалой о Лу Сине (1881—1936), — несмотря на дорогое 20-томное издание его сочинений, предпринятое в 1973 году, очень немногие из его произведений доступны читающей публике, и уж во всяком случае, в их число не входят ни его пессимистические стихи, ни его переводы из Гоголя, Чехова, Гаршина, Арцыбашева и Леонида Андреева.

Крайне мало возможностей в период Культурной революции существовало и для изучения классической китайской литературы. Тем не менее, публикация книг Ли Тай-бо и Ду Фу, предпринятая в 1971 г. Го Мо-жо, отметила оживление изучения и научных публикаций классических текстов. Однако в течение многих лет, по-видимому, начиная с кампании 70-х гг. против Конфуция, интерес к прошлому подвергался острой критике.

Все это изменилось после смерти Мао. В 1978 г. Конфуций еще рассматривался как консервативный философ, но исследование его творчества уже считалось необходимым для понимания древнего Китая. А при исследовании исторических условий, в которых жил Конфуций, некоторые элементы его философии уже рассматривались как шаг вперед, т. е. с исторической точки зрения идеи Конфуция признавались частично прогрессивными. Сегодня почти все тексты китайской классической литературы переизданы или готовятся к переизданию. И, хотя все они снабжены новыми примечаниями, марксистский взгляд на историю обычно выражен в довольно мягкой форме.

Предреволюционные писатели почти целиком реабилитированы. Литература 30-х гг. вновь переиздается. Столетие со дня рождения Лу Синя в сентябре 1981 года праздновалось очень широко, и большое внимание было уделено тем аспектам его творчества, которые не просто уложить в существующие модели революционного реализма и революционного романтизма.

Начиная с 1977 года, появилось большое количество переводов европейской литературы: Виктор Гюго, Оноре де Бальзак, Джон Голсуорси, Чарльз Диккенс, Марк Твен и множество других писателей XIX и начала XX века опубликованы сегодня в Китае. Появился перевод полного собрания сочинений Шекспира. Трагедии Шекспира ставятся сегодня на театральной сцене, точно так же, как пьеса Бертольда Брехта «Жизнь Галилея». И хотя «Жизнь Галилея» не была показана широкой аудитории, но для интеллигенции, которой удалось посмотреть ее, она стала динамитом. Взаимосвязь, которую видит Галилей между развитием науки и необходимостью скепсиса, прямо перекликается с сегодняшней критикой догматических позиций в Китае. Немецкое издание, опубликованное в Пекине, характеризует пьесу цитатой из длинного монолога Галилея в 14-й картине: «Der Verfolg der Wissenschaft scheint mir (...) besondere Tapferkeit zu erheischen. Sie handelt mit Wissen, gewonnen durch Zweifel. Wissen verschaffend über alles für alle, trachtet sie, Zweifler zu machen aus allen».

В целом сегодняшние китайские издания обращают мало внимания на европейскую литературу в период между двумя мировыми войнами, а литература после Второй мировой войны почти неизвестна. Это объясняется не только политическими, но и практическими причинами. Современная европейская литература совершенно недоступна — ни в книжных магазинах, ни в библиотеках. А потому, если английская и американская литературы XIX века достаточ-

но хорошо известны, то никто не знает Джеймса Джойса или Вирджинии Вульф. Современная французская и немецкая литературы также неизвестны. Возможности для переводов новой русской литературы кажутся более широкими, поскольку в Китае большое количество знающих славистов (слишком большое, для того чтобы занять их всех в университетах); однако, насколько нам известно, нет никаких доказательств того, что интересные советские писатели, такие, как Василий Аксенов и Юрий Трифонов, были переведены в КНР. Основной интерес издательств в области переводов направлен на западноевропейскую и американскую литературу. Результаты, однако, пока невелики. Хотя в КНР проводится очень большая работа по восполнению потерь, нанесенных Культурной революцией, совершенно очевидно, что количество переводов современной европейской и американской литературы в Советском Союзе пока еще намного больше, чем в Китае.

5. Утверждение Мао (в «Яньаньских беседах»), что «все темные силы, которые мешают народным массам, должны быть разоблачены», сегодня получило своеобразную интерпретацию. Возможно, например, показывать темные стороны жизни общества в романах, но при этом обязательно приписывая их происхождение деятельности так называемой «банды четырех» (Чжан Цин, Чжан Цуньцяо, Яо Вэнь-юань и Ван Хун-вэнь), сразу же после смерти Мао подвергшейся опале и в 1980 году приговоренной к длительным срокам тюремного заключения. Сегодня такая критическая литература бурно растет, но она всегда связана с преследованиями и террором в период Культурной революции. После выхода в 1978 году романа Лу Синь-хуа «Шрам» (название романа также можно перевести как «Рана») было опубликовано множество произведений, лежащих в русле этой «литературы шрамов». Роман Лю Синь-у «Классный учитель» (1977) был опубликован до «Шрама», но обращается к тем же самым проблемам. К опыту Культурной революции обращаются также и писатели более старшего поколения, осужденные в 1957 г. во время кампании правых и реабилитированные после смерти Мао Цзе-дуна.

Большое количество публикаций «литературы шрамов» вызвало дискуссию о том, как писатели должны изображать негативный опыт Культурной революции. Так, в провинциальном журнале некий Ли Цзян доказывает, что неправильно уделять слишком много места подобным изображениям. Однако хорошо известный критик Ван Жо-ван (сам жертва кампании против правых) и Чжоу Янь (пострадавший в годы Культурной революции) оба защищают новую

литературу, основанную на осмыслении отрицательного опыта. Тем не менее, при всем разнообразии методов этого осмысления, критиковать партию не допускается.

6. «Теория человеческой природы» становится центральным местом различных дискуссий после смерти Мао. До сих пор подобные дискуссии еще не дали четких результатов. Например, Цянь Чжун-вэнь допускает существование человеческой природы, но сомневается в необходимости специальной теории человеческой природы. Фактически он полагает, что теория классовой борьбы и является в какой-то мере теорией человеческой природы. Иногда кажется, что марксистская и маоистская доктрины оспариваются в КНР с помощью искусственной риторики, создающей путаницу и распространяющей сомнения, с тем чтобы увеличить область для свободной дискуссии.

В пьесе Цзун Фу-сяня «Когда стихли все звуки» находят выход общечеловеческие чувства, поднимающиеся над классовыми различиями. Хэ Ши-фэй, сообщник банды четырех, отказывается в гостеприимстве тяжело больной женщине, Мэй Линь, так как ходят слухи, что много лет назад она предала партию. «Что? — говорит он. — Человеческие чувства? Я не могу принять в своем доме изменницу, мать контрреволюционера. Такова моя пролетарская позиция». Но сын упрекает его: «Человеческие чувства! Разве ты сам не человек?» Совершенно очевидно, что к пьесе не приложима концепция о том, что классовые различия стоят выше человеческой природы. Наконец, кроме несогласия с мнением отца, оценка сыном Хэ Ши-фэя классового статуса Мэй Линь также поддерживает мысль о том, что человеческие чувства могут играть роль вне зависимости от политических воззрений людей.

Теоретические взгляды китайских властей в области литературы гораздо менее консолидированы, чем в Советском Союзе. Китай проходит через период относительно открытых дискуссий, споров, в которых участвуют и члены партии, и ученые, не входящие в КПК. Возвращение к политике Ста Цветов вызвано стремлением партии увеличить свое влияние на интеллигенцию. После эксцессов Культурной революции многие представители интеллигенции еще не решаются снова приняться за прошлую деятельность, и сегодняшняя культурная политика стремится мо-

билизовать всю интеллигенцию для обновления страны. Другой причиной сегодняшнего антидогматического направления является то, что в продолжение Культурной революции догматическая интерпретация работ Мао Цзе-дуна служила оправданием террора против миллионов китайцев. Среди этих миллионов было много сегодняшних руководителей страны. И потому, хотя работы Мао все еще занимают центральное место в текущих идеологических спорах, это происходит только из-за отсутствия альтернативных теорий, и большинство представителей культурной элиты, по-видимому, согласно со скрытой критикой маоистской доктрины. Третья причина сегодняшней политики Ста Цветов связана с социологическим составом различных групп писателей и критиков, о которых уже говорилось. В результате реабилитации жертв как Культурной революции, так и кампании против правых и более ранних репрессий, жесткая маоистская политика по отношению к литературе стала невозможной. Сегодня, после освобождения Ху Фына (который с самого начала оспаривал узколобую концепцию литературы, выраженную в «Яньаньских беседах»), как и после освобождения других писателей, защищавших «широкую дорогу реализма», возврат к сектантской литературной политике времен Культурной революции представляется невероятным.

Социологические условия литературной жизни в Советском Союзе представляются несколько иными, чем в Китае. Во-первых, разрыв между членами партии и беспартийными интеллигентами значительно шире в Советском Союзе, чем в Китае. У тех и у других нет общего опыта, такого, как опыт Культурной революции в КНР, где он создает почву для серьезной дискуссии. И если КПСС делает серьезные попытки увеличить свое влияние в среде интеллигенции, результаты этих попыток довольно слабы: интеллигенция остается в значительной мере изолированной, пред-

ставляя собой довольно узкий круг, где циркулируют новые идеи и где марксизм едва ли играет какую-либо роль. Но она не может ни выйти за пределы этого круга, ни установить международные связи. Фактически, беспартийная интеллигенция в Советском Союзе находится в постоянной изоляции, которая может быть разорвана лишь эмиграцией из СССР. Во-вторых, партийные власти в Советском Союзе считают себя абсолютными выразителями идеологического и политического наследия Маркса, Энгельса и Ленина, а поэтому в их интересах защита главных марксистско-ленинских догм, которые оправдывают их социальное положение. Советская партийная машина значительно тяжелее и консервативнее, чем в КНР. Китайская партийная организация, расшатанная Культурной революцией, готова пересмотреть некоторые аспекты марксистского наследия. Наконец, в-третьих, в Советском Союзе нет такого количества людей, после реабилитации вернувшихся на вершины власти. В отличие от своих китайских коллег, советские руководители не испытали на собственном опыте отрицательных последствий догматизма. По всем этим причинам руководители КПК сегодня более открыты, чем их советские коллеги.

Руководители советской культурной политики, кажется, точно знают, как далеко они могут заходить. Целый ряд догматов не подлежит обсуждению: такие, как теория отражения, как примат содержания над формой, как метод социалистического реализма и партийного руководства литературой. В советских дискуссиях по литературе диалектика, по-видимому, играет гораздо большую роль, чем в Китае. Книга Н. А. Гуляева и др. «Теория литературы в связи с проблемами эстетики» (М., 1970) говорит о «диалектической связи партийности и художественного таланта».

Власть партии основывается на постулате, что она лучше любого отдельного писателя знает, какова

действительность и в каком направлении развивается мировой исторический процесс. При любом различии между взглядами партии и взглядами писателя, по определению, партия всегда права, в то время как писатель — жертва «мировоззренческих ошибок». Партия ожидает от писателей верного отражения действительности, а не создания «моделей мира» (последнее защищала московская школа семиотики). Если литературное отражение реальности отклоняется от партийных норм, то, вне зависимости от художественных качеств этого отражения, партия (которой непостижимыми путями всегда известна истина) может исправить писателя.

Аналогичные проблемы присутствуют и в теоретических спорах в современном Китае, но сегодня китайские власти менее монолитны и менее жестки в вопросах руководства художественной литературой. Если советскую ортодоксальную теорию можно сравнить с римским католицизмом, то ее китайский вариант — с протестантством.

Границы демаонизации в художественной литературе

Если достаточно трудно, но все же возможно сравнить состояние теории литературы в Китае и Советском Союзе, то почти невозможно сделать сравнительный анализ художественной литературы двух этих стран в рамках данной статьи. Социальные условия литературной жизни, определяющие роль и характер литературной теории в Китае и Советском Союзе, влияют также и на характер художественной литературы. В Китае новая литература, издающаяся после смерти Мао Цзе-дуна, по-видимому, одобряется партийными властями. Попытки охвата новых тем в современной китайской литературе не только не осуждаются, но приветствуются официальными властями,

почти так же, как «Один день Ивана Денисовича» (1962) был отмечен Н. С. Хрущевым, А. И. Микояном и Президиумом ЦК КПСС.

По-видимому, партийное руководство в Китае верит, что тематические новшества в сегодняшней литературе подчеркивают политику обновления; и, действительно, они довольно редко противоречат политике партии. В этом смысле совершенно неудивительно, что положивший начало «литературе шрамов» Лу Синь-хуа — член партии.

«Литература шрамов» может детально описывать террор Культурной революции и инструменты пыток, но никогда не нападает на партию как на институт. Мэй Лин, старая коммунистка из пьесы «Когда стихли все звуки», много лет провела в тюрьме, и ее сын рассказывает о пережитом ею: «В течение шести лет она была заперта в темной камере, в три квадратных метра, без единого окна. В продолжение четырнадцати месяцев она ни разу не видела дневного света. Ее били, таскали за волосы, топтали ногами. Ее заставляли нагибаться, и на тонкой веревке подвешивали ей на шею тяжелый камень... В течение тринадцати следственных ночей ее лишали сна и били, если она закрывала глаза». Но старая коммунистка, исключенная из партии по ложному обвинению, остается верной партии, храня свои членские взносы за последние девять лет, в надежде, что в свое время она сможет передать эти деньги на нужды партии.

Обычно трактовка темы верности партии менее мелодраматична, но всегда ответственность за коррупцию и несправедливости Культурной революции возлагаются на «банду четырех» и ее приспешников. Официально Культурная революция никогда не рассматривается как результат однопартийной системы, подавляемой человеком с диктаторской властью. Каждый, кто связывает ее с отсутствием демократии, рассматривается как диссидент и заключается в тюрь-

му. Так было с Вэй Цзин-шэном в 1979-м, так было с Хуан И-чже в апреле 1981-го.

Кроме темы Культурной революции, довольно свободно обсуждаемой в сегодняшних публикациях, с условием, что партия как таковая не подвергается критике, — после смерти Мао в китайской литературе стали возможны и другие темы: преступление и милосердие — разрабатывается Лю Синь-у в романе «Классный учитель», проблема коррупции описывается Гао Сяо-шэном в книге «Ли Шун-та строит дом», надежда и разочарование — Жу Чжи-чжуанем в «Плохо изданном романе», спорт, развлечения и любовь — Гун Дзэ-шэном в «Из-за нее». Всё это темы, которые не могли появиться в литературе в период Культурной революции, и, исходя из этого, их следует рассматривать как нововведения. Такие книги признаются ценными и громко приветствуются.

Сегодняшняя либерализация в Китае влияет не только на тематическое разнообразие, но также на композиционные и стилистические формы китайской литературы. Издаваемые сегодня романы используют, например, прием потока сознания, который образованный китайский читатель воспринимает как важное нововведение. Восхищение творчеством Ван Мэна частично вызвано его искусной техникой в применении этого метода. Ему же принадлежит открытие приема комической гиперболы, убедительный пример которого он дал в «Потоке посетителей». Некоторые авторы, такие, как Жу Чжи-чжуань и Лу Синь-хуа, используют в своих книгах метод нарушения хронологии описываемых событий. Используется также и прием «перевернутого мира», особенно применяет его Гао Сяо-шэн в «Ли Шун-та строит дом». Этот прием встречается и в традиционной китайской литературе, и в европейской традиции (как в карнавальной, так и в современной поэзии: например, Петер Хандке в «Перевернутом мире» или Адриан Хенри в «Сегодня ночью

при луне»). Гао Сяо-шэн применяет его в странных песнях Ли Шун-та, когда тот, находясь в совершенно подавленном состоянии духа, может выразить его лишь иррационально: «Мышь колотит в брюхо кошки (...) льва кусают блохи» и т. д. В отличие от Хандке и Хенри, Гао не прибегает к прямым политическим аллюзиям, но его невинные сцены могут позволять и политическую интерпретацию.

Для образованного европейского читателя сегодняшние формальные и тематические новшества в китайской литературе могут показаться не слишком впечатляющими, но в китайской действительности их относительное значение огромно. И все-таки критика негативного прошлого до сих пор не вышла в Китае за уровень «Оттепели» Ильи Эренбурга (1954-56), в которой бюрократа-директора (Журавлев) осуждает партийный секретарь, а декадент-артист (Володя Пухов) спивается. На саму партию Эренбург не нападает.

После «Оттепели» Эренбурга множество писателей в СССР анализировало болезнь сталинизма. Герой повести Дудинцева «Не хлебом единым» (1956) изобретатель Лопаткин еще является членом партии, однако главным в книге становится не его партийность или сделанное им техническое изобретение, а человеческие взаимоотношения. Постепенно официальные сюжеты: промышленное развитие, сельскохозяйственный урожай и героические подвиги советской армии в годы Второй мировой войны — отходят на задний план. Все больше растет внимание к «общечеловеческим качествам»: прямоте, чистоте, честности... Г. Бакланов в романе «Пядь земли» (1959) и другие писатели разрушают официальный образ великой патриотической войны. (Китайский антивоенный роман еще ждет своего опубликования.) Илья Эренбург и Константин Паустовский оставили несколько томов мемуаров: с большой точностью и удивительной прямотой они

пробовали реконструировать прошлое. (В Китае книги мемуаров о прошлом еще не появились.) Романы Пастернака и Солженицына, изданные за границей, широко распространялись и внутри страны, глубоко влияя на литературную жизнь в Советском Союзе. (О китайском самиздате только начинают говорить, и возможности издания книг за границей еще совсем не исследованы.) Самиздат ли вызвал отчуждение от партии многих писателей, или что-то другое сыграло здесь свою роль — но фактом остается то, что романы последних лет целиком посвящены описанию человеческих взаимоотношений и не принимают в расчет партийные директивы. Здесь в особенности следует упомянуть романы Юрия Трифонова, такие, как «Другая жизнь» (1975) и «Дом на набережной» (1976). Ничего подобного еще не появилось в Китае и вряд ли появится в ближайшем будущем, поскольку традиции психологического реализма там не существует.

В рамках данной статьи нет места оценочным критериям или прогнозам на будущее. Ее цель — проследить наиболее очевидные различия между современной китайской и русской литературами, главным образом, романом. Эти различия можно объяснить частично отличием китайской и русской культурных традиций, а частично особым положением партии в Советском Союзе и в Китае. В СССР наиболее крупные писатели научились игнорировать застывшие партийные догмы. В КНР писатели еще надеются, что партийной доктрине может быть придан человеческий облик, что факты научного опыта будут превалировать над постулированной первичностью материального мира. Исполнятся их надежды или же превратятся в разбитые иллюзии — невозможно предсказать.

Д. В. ФОККЕМА — профессор университета в Утрехте (Голландия), специалист по китайской литературе. Был на дипломатической службе в Китае.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССИКА»

Аркадий Аверченко. Три книги: «Нечистая сила», «Дети», «Пантеон советов молодым людям». 1921 — 1924. Переиздание. 303 стр. \$ 7.95.

Юз Алешковский. Рука. (Повествование палача). 314 стр. \$ 16.50.

Михаил Булгаков. Дьяволиада. М., 1925. Переиздание. Новая красочная обложка и рисунок А. Крынского. 160 стр. \$ 5.95.

Михаил Кузмин. Сети. Первая книга стихов. Берлин, 1923. Переиздание. Обложка по оригинальному рисунку Н. Альтмана. 208 стр. \$ 5.95.

Михаил Кузмин. Нездешние вечера. Стихи 1914 — 1920. Петербург, 1921. Переиздание. Обложка — по оригинальному рисунку М. Добужинского. 136 стр. \$ 5.95.

Неподцензурная русская частушка. Подготовка текста В. Кабронского. Предисловие проф. В. Раскина. 220 стр. \$ 6.95. Распродано.

Борис Николаевский. История одного предателя. Террористы и политическая полиция. 1932 г. Переиздание. 374 стр. \$ 12.00.

Алексей Ремизов. Россия в письменах. Том I. Берлин, 1922. Переиздание. С новым предисловием О. Раевской-Хьюз. 222 стр. \$ 7.95.

Русская лирика. Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака. Сост. Кн. Д. Святополк-Мирский. Париж, 1924. Переиздание. С новым предисловием проф. Глеба Струве. XIII, 211 стр. \$ 6.95.

Владислав Ходасевич. Собрание стихов. Париж, 1927. Переиздание. 184 стр. \$ 5.95.

Марина Цветаева. Избранная проза в двух томах. Предисловие И. Бродского. 2 тома, 835 стр. \$ 30.00. С 1 июля 1981 г. цена \$ 35.00.

Марина Цветаева. Стихотворения и поэмы в 5 томах. Том I. Иосиф Бродский. Об одном стихотворении. (Вместо предисловия). Виктория Швейцер. «Своими путями». (Биографический очерк). «Вечерний альбом». «Волшебный фонарь». «Юношеские стихи». «Версты I». (1916). Стихи, не вошедшие в сборники. 402 стр. Тв. пер. \$ 25.00. Бум. обл. \$ 20.00.

Анатолий Штейгер. 2 × 2 = 4. Стихи. 1926 — 1939 гг. Биогр. заметка А. Головиной. Предисловие проф. Ю. П. Иваска. 104 стр. \$ 6.95.

RUSSICA BOOK & ART SHOP, INC.

799 Broadway, New York, N. Y. 10003.

Тел. (212) 473-7480

(угол Бродвея и 11-й ул., 3-й этаж, комн. 301).

Факты и свидетельства

Виктор Тростников

УВОЛЬНЕНИЕ

Сидеть бы мне, философу, да философствовать. Куда как славно! Возьмешь какие-нибудь там категории или атрибуты, покрутишь их так и сяк, столкнешь между собою покрепче, вспомнишь, что говорили о них Кант и Владимир Соловьев, — и дело сделано. И самому интересно, и редакторы журналов довольны, и коллеги уважать начинают. Правильно мама мне когда-то говорила: учись, Витя, а то землю копать придется! Послушался я маму, выучился, наострил свой разум и безо всякой лопаты умею теперь копать-ся, и не в песке и глине, а в основах всего сущего! А поскольку эти основы преспокойно стоят на своих местах, что, казалось бы, может помешать мне в них вгрызаться? Подходи, да начинай работу.

Но нет, не тут-то было. Есть, оказывается, нечто такое, что этому мешает. Мешает наша жизнь, та самая коллективная экзистенция, которая нынче не позволяет о себе забыть. Чуть отвлечешься, она тут же болезненно о себе напомнит. Чуть пригреешься — она обрушит на тебя холодный ветер, а поскольку это бывает довольно часто, то твоя биография постепенно изменяет свое первоначальное естественное направление и, подобно тем северным деревцам, которые цепляются корнями за береговые скалы, начинает расти куда-то вбок. В результате, вместо того чтобы устремлять свой взор к вечным истинам, ты начинаешь разглядывать находящихся рядом с тобой людей и следить за повседневными событиями, удивляясь, почему

люди ведут себя не по-людски, а события не подчиняются никакой логике.

Но философ даже и в зоне сильных ветров остается философом. Чуть стихнет шквал, он переводит дух и начинает обобщать свои наблюдения. Он перерабатывает в метафизику все, что сыплет на него непогода, с таким же постоянством и упорством, с каким дрожжи перерабатывают сахар в спирт. Метафизика эта зачастую получается несколько доморощенной, но сравните-ка условия, в которых он действует, с теми, в каких находились Кант и Владимир Соловьев, сидевшие себе и рассуждавшие о чем им заблагорассудится! Впрочем, независимо от того, насколько профессиональными по качеству получаются его теории и имеют ли они общественное значение, он не может не развивать их. Я хорошо знаю это по себе. Я именно таков и был таким с детства. Меня можно посадить в тюрьму или казнить, но переделать невозможно — я всегда буду этим дрожжевым грибком. Какие именно люди и какие события станут для меня в тот или иной момент сырьем — это зависит от *внешних* обстоятельств, но в качестве продукта своей жизнедеятельности я всегда буду выдавать метафизические теории, так как это определяется моим *внутренним* устройством. Как бы убедительно ни советовали мне опытные люди образумиться, не витать, плюнуть, бросить и не пытаться, я всегда время от времени буду погружаться в неподвижную задумчивость и мучительно соединять в своем уме какие-то нити. Я просто не умею жить иначе! Хорошо это или плохо, я не знаю. Скорее всего, это не преимущество, а недостаток, не наличие, а отсутствие, не полнота, а ущербность. Но что делать, другим я стать не могу...

Так вот, в настоящий момент для меня оказались «сырьем» четыре человека, чье поведение мне пришлось наблюдать, и одно событие моей биографии. Имена этих людей я буду называть по мере изложе-

ния, а событие, которое я чувствую потребность философски осмыслить, состоит в том, что меня уволили с работы.

* * *

Началось все с литературного альманаха «Метрополь». По причинам, которые сейчас несущественны, я стал одним из двадцати трех его авторов. В начале 1979 года составители передали макет альманаха в Главлит (цензурное ведомство СССР), а через некоторое время, после того, как стало ясно, что разрешения на печатание здесь не дадут, его стали готовить к изданию в Америке. В этот период верхушка нашего писательского союза развернула бурную активность, чтобы пресечь зарубежную публикацию сборника, которую она, конечно, предвидела.

Философские обобщения мы начнем делать дальше, а пока будем накапливать для них материал в виде фактов и вопросов. Факт первый: *руководители союза писателей панически перепугались того, что в провинциальном американском издательстве выйдет ничтожным по нашим масштабам тиражом сборник, составленный из тех вещей советских авторов, которые лежали в свое время в советских издательствах, но были отклонены как неудачные. Следовательно наш первый вопрос такой: почему они этого так испугались?*

Большинство моих соотечественников сочтет этот вопрос смешным. Они воскликнут: — Да ты что, с луны свалился, что ли? где ты живешь? или ты не знаешь, что у нас таких вещей пуще огня бояться? — Все это так, но это ни в малейшей степени не есть ответ. Наш вопрос начинался со слова «почему», значит нас интересует *причина* явления, а тут дается лишь его *описание*. — Ясна и причина, — скажут житейские

мудрецы, — секретарь Московского отделения СП не хотел слететь со своего поста. — Что ж, может быть такое объяснение и верно, но оно сразу порождает новые вопросы. Людей снимают с постов в тех случаях, когда они не выполняют возложенных на них функций. По своему статусу СП есть общественная организация, основная функция которой — отстаивание интересов писателей. Профессиональные литераторы объединяются в свой творческий союз с той целью, чтобы через его выборные органы реализовать свое право на имеющиеся в нашей стране формы социального обеспечения, включая оплату по больничному листу и пенсию, и сверх того добиваться для себя целого ряда льгот — дополнительной жилплощади, дачных участков, путевок в привилегированные дома отдыха, внеочередной продажи автомашин, преимущественного перед не членами союза права публиковаться. Последнее особенно важно, так как никакой другой зарплаты, кроме гонораров, у писателя нет, и его благосостояние прямо зависит от объема его публикаций. Короче говоря, СП есть род профсоюза. Но в таком случае секретарь Московского отделения СП никак не должен был осуждать идею «МетрОполя», так как она возникла как раз в русле борьбы писателей за свои профессиональные и жизненные интересы. Им осточертели эти вечные цензурные рогатки, эти мелочные придирки к словам и фразам, и однажды они решили: раз не все наше печатают здесь, пусть хоть что-то из отвергнутого напечатают там. Однако человек, который по своей должности вроде бы мог их и поддержать, занял по отношению к ним самую враждебную позицию. Кстати, пора назвать его по имени.

Имя первое: ФЕЛИКС ФЕОДОСИЕВИЧ КУЗНЕЦОВ.

Этот человек открыто выступил против писательских интересов и при этом не только не опасался поте-

рять свой пост профсоюзного лидера, но даже намеревался его этим укрепить. Что же это может означать?

Опять я слышу голоса знатоков: — да это и ежу понятно, ведь СП только считается... — Знаю, знаю, хоть я и философ, но не настолько уж все-таки глуп, чтобы не знать, что руководство союза писателей подчиняется не писателям, за него голосовавшим, а государству, поскольку сам этот союз есть никакое не общественное, а обычное советское учреждение типа министерства. Мое внимание привлекает сейчас не это обстоятельство, а другое. Вдумайтесь: *считается*, что это общественная организация, а это министерство, и все знают, как обстоит дело в действительности. Но тогда возникает вопрос, кем же «считается», что это общественная организация? Можно ли так говорить, если не существует людей, которые бы так думали? Ведь обычно мы употребляем слово «считается» в тех случаях, когда люди заблуждаются. Например, мы говорим: «считается, что от жабы бывают бородавки, но это не так». А в данном случае заблуждающихся нет.

Но языковое чутье подсказывает нам, что это слово здесь вполне уместно. Просто у него появился некий новый смысл, специфический для сегодняшней России. Он выражает не ту ситуацию, когда кто-то ошибается, а другие знают правду, а ту, когда все до единого в одном месте говорят одно, а в другом месте другое, причем первое есть ложь, а второе — правда, и все это знают. Вот эту-то самую ложь, которую в определенных обстоятельствах у нас начинают говорить как по команде, и обозначают словом «считается». «Считается» означает у нас «никто не верит, но все делают вид, будто верят».

Занеся в свое досье это ценное лингвистическое наблюдение, двинемся дальше. Если СП есть простое государственное учреждение, то в лице Феликса Кузнецова сборника «Метрополь» испугалось наше государ-

ство, т. е. «система». Почему же? Антисоветской агитации в нем не было, тайны не выдавались. В основном в него вошла беллетристика и стихи, т. е. то, что не раз публиковалось нашими авторами за границей совершенно легально и не вызывало никакого шума. Тем не менее, испуг был очень велик. Это странное на первый взгляд обстоятельство может пролить свет на некоторые секреты нашей «системы».

Тут обязательно надо учесть масштаб испуга. Предположим даже, что руководителю союза писателей вменяется в обязанность воспитательная работа. Но ведь возможности воспитания взрослых людей весьма ограничены. Способен ли он так вышколить писателей, чтобы они не совершали никаких проступков? Разумеется, не способен. Но тогда он и не может нести ответственности за все их проступки. Однако на этот раз Феликс Кузнецов трепетал, и конечно не без оснований. Значит с точки зрения «системы» это был случай исключительный, так сказать, особо опасное преступление. Правильно говорят бывалые люди: таких вещей у нас страшатся больше всего. Но каких, собственно, «таких», что тут имеется в виду? Я задавал этот вопрос многим бывалым людям, и все они давали на него один и тот же ответ. В «Метрополе» было сразу два криминала — внутренний и внешний. Во-первых, это было *коллективное действие*, т. е. то, что рассматривается у нас как самое нежелательное. Видя, что официальный союз не только не помогает им публиковаться, но напротив, ставит всяческие рогадки, группа писателей образовала как бы свой независимый союз — пусть совсем маленький, но зато реально, а не фиктивно борющийся за их права. Вот это-то и ввергло начальство в панику. Оказывается, *в громадном теле наших общественных институтов нельзя допустить даже мельчайшего инородного вкрапления*. Видимо, всякое такое вкрапление грозит разрастаться, так как его жизнеспособность всегда

выше жизнеспособности официального общественного организма. Надо заметить, что солидарность «союза двадцати трех», действительно, была очень велика: несмотря на отчаянные усилия, ни одного человека так и не удалось отколоть! Во-вторых, в предисловии к альманаху было сказано, что его издание является реакцией на цензурные притеснения, которым подвергаются у нас писатели. Это было *вынесение сора из избы*. Мировая общественность получила доказательство того, что утверждение нашей пропаганды о свободе творчества ложно. Это усиливало переполох, который вызвал «Метрополь». Сделаем же вывод и отсюда: *для нашей системы очень важно, чтобы внешние люди всерьез верили, будто то, что у нас «считается», и есть наша действительность*. А теперь вернемся к цепи событий.

Ознакомившись с макетом «Метрополя» и похолодев от ужаса, Феликс Кузнецов предпринял энергичную попытку сорвать заграничное издание сборника или, по крайней мере, заранее его дискредитировать. На этой стадии оставался лишь один способ достичь цели — заставить кого-то из авторов выйти из числа участников и сделать по этому поводу публичное заявление. И вот на каждого из двадцати трех была предпринята отдельная атака. Всех употреблявшихся при этом видов оружия не перечислишь — они были весьма разнообразны. Одному, например, говорили: вы же русский, зачем же вам примыкать к этой еврейской шайке? Другого увещевали: вы же еврей, как же вам не противно быть в одной компании с этим антисемитом? Третьему доверительно сообщали: ведь Аксенов все это затеял для того, чтобы сделать себе на Западе рекламу, а потом эмигрировать, а вы-то; дурачки, поверили в его искренность! На кого действовали кнутом, на кого и пряником. Что же касается меня, то на мою работу, т. е. в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта,

где я был доцентом кафедры высшей математики, прислали, как у нас говорят, «телегу» — донос, соединенный с жалобой и требованием наказать. Прислал ее все тот же Феликс Кузнецов, а попала она к секретарю институтской партийной организации, чье имя и будет в нашем списке вторым.

Имя второе: АЛЕКСАНДР АПОЛЛОНОВИЧ ВЫГНАНОВ.

Он вызвал меня к себе в кабинет и больше часу с грозным видом выговаривал мне за то, что я, воспитатель молодежи, принял участие в таком грязном начинании, как «Метрóполь». Когда я ответил, что прочитал весь сборник и не нашел в нем ничего предосудительного, он заглянул в кузнецовскую «телегу» и привел доказательства того, что альманах явно антисоветский. Одним из аргументов был тот, что в нем участвует американский писатель Апдайк. В конце разговора он потребовал от меня выхода из сборника. Чтобы оттянуть время, я пообещал подумать, и этот ход оказался удачным, так как потом к этому разговору никто не возвращался. Но, конечно, моя судьба была в принципе решена. Ждали лишь удобного случая. Наконец он представился. Весной 1981 года по институту пошло сокращение штатов, и первым на нашей кафедре подпал под него я. Так произошло мое увольнение, и институтское начальство, у которого целых два года было неспокойно на душе, облегченно вздохнуло.

О том, как оформили мое увольнение, я скажу дальше, а сейчас мне хочется немного поразмышлять о Выгнанове. Говорят, чтобы понять поступки человека, нужно усилием воображения поставить себя на его место. Но в данном случае это для меня исключено. Я не раз делал попытки мысленно влезть в шкуру таких людей, как Выгнанов, играющих в жизни сегодняшней России столь громадную роль, но это никогда мне не удавалось. Учитывая, что такой человеческий

тип формируется годами, я старался вжиться в его судьбу: побывать и комсомольским активистом в школе, и вожаком стройотряда в институте, и подающим надежды начинающим партийным работником, и молодым выдвиженцем, опьяненным своей карьерой и готовым на все, чтобы продолжить ее дальше. Все это я мог себе представить, ибо находил в собственной душе зачатки и тщеславия, и цинизма, и карьеризма. Но в одном месте биографии я никак не мог «войти в образ», так как оно казалось мне противоестественным для человека. Я не был способен понять, как можно решиться сделать окончательный выбор и бесповоротно встать на *этот* путь.

Ведь каждый, абсолютно каждый человек, даже Выгнанов, был когда-то ребенком. Так вот, живет на свете ребенок, его все любят, заботятся о нем, балуют, дарят гостинцы. Он купается в нежности и доброте, ощущает себя в центре дорогого ему мира. Но как бы хорошо и тепло ему тут ни было, он знает, что есть и другой, большой мир, куда он попадет, выйдя из детства. Большой мир будет еще богаче, светлее и разнообразнее этого, и надо будет упорно себя совершенствовать, чтобы стать с ним вровень, проникнуть в его захватывающие тайны.

И вот ребенок вырос. Его желание понять большой мир встречает полное одобрение. Об устройстве вселенной, о значении исторических событий, о происхождении и природе человека пишут в популярных книжках, рассказывают по радио и телевидению, говорят в публичных лекциях. Он прислушивается ко всему этому, постигает новые термины и понятия. Наконец он доходит до *единственно правильного учения*. И тут... Я не могу представить себе, что тут в душе человека может не зародиться сомнение. Та часть учения, которая относится к историческому прошлому человечества, еще, может быть, способна понравиться юному сознанию, так как в ней все периоды и форма-

ции разложены по полочкам, а способы производства закономерно подготавливают друг друга. У давно умерших людей все так и должно быть — гладко, просто и ясно. Но когда речь заходит о современной жизни, о вещах, имеющих прямое отношение к вам и вашим близким, тут уж единственно правильная теория обязательно должна вызвать тревогу. Она, правда, по-прежнему остается ясной и логичной, но исторические и социальные закономерности, обеспечивающие эту логичность, кажутся теперь посягновением на вашу личность. Они отнимают у вас непередаваемое ощущение своего «я». Древний римлянин, конечно, мог быть представителем такого-то класса — люмпеном, плебеем или патрицием, — но вы-то никак не можете быть представителем класса, ибо тогда ваше поведение определялось бы классовой принадлежностью, а оно ничем, кроме вашей свободной воли, не определяется...

В жизни человека наступает критический момент. Его натура страстно хотела расправиться, и вдруг ощутила, что ее сжимают. Вместо ожидаемых богатств беспредельного мира ему предлагают скудный казенный паек. Мир не может быть устроен так нудно и скучно, иначе откуда в нем могло бы появиться, например, такое чудо, как тысячелистник? Ему показывают кое-как намалеванную плоскую картинку и говорят, что это и есть все сущее. Но ведь на этой фанерке могут поместиться лишь люди прошедших эпох, да и то лишь потому, что они уже мертвые, а значит настоящие. Настоящий же, живой человек там уместиться никак не может. А одна из дорог развилки ведет туда, где всю жизнь придется делать вид, будто и вправду веришь фанерному плакату. Как же живой человек может выбрать эту дорогу? Однако же выбирают... Непостижимо!

Не будучи в состоянии этого понять, я не могу анализировать фигуру Выгнанова с точки зрения пси-

хологии и вынужден подходить к ней с чисто внешней стороны. Но и такое обсуждение бесполезно — оно прояснит для нас значение среднего партийного звена в нашей государственной жизни.

Заметим, что меня вызвал для проработки не ректор института, которому я, собственно, только и подчинен, а секретарь партбюро. Отчего, с какой стати? Ведь я не член партии, и Выгнанов мне не начальник. До этого происшествия я даже не слышал его фамилии и не знал, где находится его кабинет. Объяснение может быть здесь только одно. Кляуза могла поступить либо в партком, либо в ректорат, больше ее присылать некуда. В первом случае на нее должен был реагировать тот, кому она прислана, что он и сделал. Во втором случае надо предположить, что, сразу или подумав, ректор решил передать дело в руки партийной организации. Какой именно вариант верен, я не знаю (хотя сильно склоняюсь к первому), но это, в общем-то, и не имеет значения. В обоих случаях вывод, который мы приобщим к нашему материалу, будет один и тот же: *в наших учреждениях наиболее важные вопросы решаются не администрацией, а партиями*. В самом деле, предположим, что Кузнецов пожаловался на меня непосредственно в партком. Что заставило его поступить таким образом — он же знал, что я беспартийный? Конечно, исключительная *важность* дела, которая, по его мнению, выводила его из компетенции ректора. Вспомним, что для Кузнецова это был прямо-таки вопрос жизни и смерти и он искал самые эффективные средства воздействия. Но если допустить, что формальная логика возобладала в нем над интуицией и он прислал «телегу» моему ректору, передавшему ее затем на рассмотрение партийного секретаря, то поступок ректора снова подтверждает наш тезис: самые серьезные дела решают у нас партийные активисты. Ректора тоже не смутило, что я не член партии, поэтому, если подходить чисто

формально, могу просто-таки не явиться на вызов Выгнанова. Такое не умещалось у него в голове.

Чтобы снова избежать упреков в наивности, я добавлю следующее. Я осведомлен о том, что партия является у нас руководящей силой и знаю, что это даже записано в Конституции СССР. Но, простите, разве у нас *считается*, что человек, которого члены какой-то производственной партийной ячейки выбрали своим секретарем, автоматически становится начальником и беспартийных работников этого производства, которые за него не голосовали и которых там подавляющее большинство? Нет, конечно. Механизм партийного руководства предполагается не таким. В моем случае Выгнанов должен был воздействовать на ректора, подчиненного ему по партийной линии, а уж ректор — принять по отношению ко мне нужные меры. Но Выгнанов не стал усложнять процесса и принял меры сам. Он говорил со мной таким тоном, будто именно он и был моим работодателем. При этом он был преисполнен чувства своей правоты. И он так и не простил мне участия в «Метрополе», хотя в «Литературной газете» вскоре была напечатана статья «О чем шум?», в которой утверждалось, что авторы альманаха никаким преследованиям не подвергались и подвергаться не будут. Как идеологический работник, тем более прямо соприкоснувшийся с альманахом, Выгнанов не мог не читать этой статьи. Но она не притупила его бдительности! Он не только ощущал законность своей власти, но и проявлял *активность*. Запомним же и это. Кто стал бы упрекать его, если бы после статьи «О чем шум?» он оставил бы меня в покое? Но он не оставил меня в покое... Впрочем, это не повод, чтобы говорить о нем так долго. Пора вывести на сцену следующее лицо.

Имя третье: ФРИДРИХ ИЗРАИЛЕВИЧ КАРПЕЛЕВИЧ.

Это — мой заведующий кафедрой, хороший математик, интеллигентный, воспитанный, с мягким характером. Видя в ком-то эти качества, всегда считаешь само собой разумеющимся, что это вполне порядочный человек. Но случаются и ошибки.

Мы проработали вместе около 10 лет. Я был его правой рукой, точнее — заместителем по научной работе. Совместно написали учебное пособие. Иногда по вечерам он звонил мне домой и по часу обсуждал кафедральные проблемы. Считал меня одним из лучших своих преподавателей и многим об этом говорил. Всегда был ко мне очень доброжелателен, а порой просто ласков.

15-го апреля 1981 года он пригласил меня в свою комнату на кафедре и между нами состоялся следующий диалог:

— Вы слышали, что в институте идет сокращение штатов?

— Да, как раз сегодня мне сказали.

— Вы подпали под сокращение и лучше меня знаете, почему. Советую вам подать заявление об уходе по собственному желанию.

— Я должен подумать, это дело серьезное.

— Думайте, но поскорее. Через два дня должны дать ответ.

На этом мы расстались.

Не буду притворяться человеком с железными нервами. Как ни готовишь себя к таким вещам (а я готовил себя к увольнению уже давно), они всегда приходят внезапно и вызывают некоторый шок. Весь остаток дня я всерьез раздумывал, не подать ли мне, действительно, «по собственному», чтобы не портить трудовой книжки. И только среди ночи, проснувшись как от толчка, всем существом почувствовал, что такого я сделать не могу и никогда не сделаю. Почему я должен облегчать задачу моим гонителям, которые боятся сказать вслух, за что они меня гонят? Нет уж,

пусть так и сформулируют: уволен за нелегальные публикации за границей. Поглядим, поднимется ли у них рука так написать!

Прошло два дня, потом еще три. Карпелевич много раз меня видел, но к разговору не возвращался. Потом как-то все же спросил:

— Так что вы решили?

— Знаете, ведь тут моя судьба на карте, хотелось бы поговорить с вами не на ходу, а как следует. Может, сегодня поговорим?

— Но у вас еще два часа занятий, а я не знаю, смогу ли дожждаться. Постараюсь дожждаться.

Однако по интонации я понял, что он не только не станет дожждаться, но нарочно уйдет раньше. Так оно и произошло. С тех пор и до самого заседания месткома, т. е. около двух месяцев, он избегал со мной всяких бесед. Однажды, идя навстречу по улице, сделал вид, что не заметил. Я догадался, что в наших институтских высших сферах что-то «химичат» — хотят придумать такую хитрость, чтобы и от меня избавиться, и не допустить огласки истинных причин увольнения. Карпелевич — не тот человек, которого начальство посвящало бы в свои замыслы, поэтому он выглядел несколько обескураженным. Но инстинктом я чувствовал, что он готов будет выполнить любое указание свыше, каким бы оно ни было. Вспоминая наши прежние отношения и удивляясь, как я мог так сильно ошибиться в этом человеке, я иногда пытался сам перед собой за него заступиться. А может быть, он все-таки порядочный? Я же пока ничего твердо не знаю... И я снова начинал перебирать в уме те три степени порядочности, которые в данной ситуации мог себе представить.

Высшая степень: он горой встает на мою защиту. Он заявляет начальству: я не позволю сократить лучшего преподавателя кафедры, моего заместителя; увольняйте тогда и меня!

Средняя степень: он не защищает меня, но устраняется от личного участия в этом грязном деле. Он говорит: хорошо, у вас есть какие-то высшие соображения по поводу его увольнения, вот вы сами и найдите способ его уволить; отстаивать я его не буду, но и помогать вам не стану.

Низшая степень: он уступает давлению сверху и сам представляет меня к сокращению, но сохраняет при этом «человеческое лицо». Он беседует со мной по душам: понимаете, дела обстоят так-то и так, на меня давят и я ничего не могу поделать, но, может быть, вам будет полезно уже то, что вы вовремя об этом узнаете; давайте, в конце концов, вместе подумаем, как вам следует сейчас себя вести.

На первое я, конечно, не рассчитывал. Нынче у нас осталось очень мало людей, которые так себя повели бы, хотя по прежним российским меркам это считалось совершенно естественным поведением. Второе отпадало, поскольку, предложив мне в начале подать заявление, Карпелевич показал себя послушным исполнителем воли администрации. Третье тоже отпадало — ни в какие разговоры он со мной вступать не хотел, а случаев к тому было много. А опускаться ниже третьего было некуда — там царила уже одна подлость. Так что, как ни крути, а выходило...

И только дня за два до развязки у меня возникла мысль, которая позволила мне снова убедить себя, что он не подлец. Я подумал: наверное, ту фразу о заявлении он выпалил сгоряча, под влиянием только что произошедшего бурного разговора с начальством, почти в стрессовом состоянии, а потом одумался и устранился от участия. Поэтому и молчит, и наверное, не только со мной, но и с ними. Вероятно, как раз потому все и застопорилось, что он забастовал.

На заседании месткома выяснилось, каким безнадёжным идеалистом оказался я в своих этих фантазиях.

Я чувствую, что нам никак не отмахнуться от одного серьезнейшего вопроса: в чем таится секрет существования таких людей, как Карпелевич? Для меня они еще загадочнее, чем люди типа Выгнанова. В случае Выгнанова мне непонятен лишь один момент его жизни — когда, будучи еще живым человеком, он добровольно встал на путь служения мертвой идеологии. В случае же Карпелевича мне непонятна вся его жизнь. Каждый день, проведенный им на земле, есть олицетворенное подтверждение таинственности нашего мира, в котором невозможное оказывается почему-то возможным.

Ведь те, кто скажут об этом человеке, что он никогда не лжет, не совершит предательства, всегда подаст ближнему руку в беде, скажут правду. Действительно, говоря о себе, Карпелевич очень искренен, рассказывая о чем-то, им виденном, точен в описании. Действительно, он не проболтается жене знакомого об измене мужа. Действительно, если кто-то из сотрудников окажется в нужде, он первым даст деньги по подписке, и даст щедро. И это для него не показное поведение, а глубоко органичное, вошедшее в плоть и кровь. И этот же самый человек, как мы скоро убедимся, глядя мне в глаза, говорил несусветную ложь и при этом даже не покраснел. Этот же человек тайно предал меня и после этого, подобно Иуде, оставался со мной любезным и дружелюбным. Этот же человек не пошевелил пальцем, чтобы помочь мне в очень трудную минуту моей жизни, хотя мог сделать это безо всякого для себя ущерба. Что же это за чудеса? Если несовместимое преспокойно совмещается, то стоит ли вообще придавать какое-то значение логике и использовать ее в своих рассуждениях? Не свидетельствует ли наличие подобных людей о зыбкости и неопределенности нашего существования и об условности связей и отношений, которые мы склонны абсолютизировать?

Может быть, это и так, может быть, и нет. Вдаться в исследование глубин человеческой натуры нам еще рано, так как мы еще не перешли к философским выводам, а только собираем факты. Впрочем, исследовать эти глубины и бесполезно. Если уж мы не способны разгадать природу электрона, где нам понять природу человека! Что же касается нашей коллекции фактов, то она, несомненно, обогатится, если мы взглянем в Карпелевича повнимательнее.

Люди этого типа отличаются от всех прочих людей одним-единственным признаком, но как раз в нем и состоит их суть. *Им свойственно убеждение, что существуют как бы две разных жизни — частная и служебная, причем в частной жизни поступки оцениваются по одним критериям, а в служебной — по другим, большей частью противоположным.* То, что в частной жизни считается недопустимым и вызывает омерзение, в служебной жизни может заслуживать похвалы, а то и восхищения. Продав меня с потрохами, Карпелевич не ощущал себя негодяем лишь потому, что сделал это на службе, где, по его мнению, господствует особая шкала оценки человеческого поведения, и по этой шкале он вел себя не «гнусно», а «ловко». Да, все дело именно в наличии двойных критериев! Как эти люди ухитряются не перепутать их, мне неизвестно, но факт состоит в том, что это им удается. И таких людей очень много. Я встречал их и в издательствах, и в академических институтах, и в вузах, так что они образуют как бы племя неких биологических мутантов, обладающих специфическим свойством. Любопытно, что все они интеллигенты и почти все беспартийные. Последнее, впрочем, понятно: ведь вступив в партию, берешь на себя обязательства вести себя определенным образом и во внеслужебное время, а главный принцип, на котором держится это племя, — несмешиваемость служебного и частного критериев поведения.

В психиатрии известен синдром «раздвоение личности», при котором больной чувствует себя то одним человеком, то другим, и эти двое, поочередно живущие в одном теле, ничем между собою не схожи. Переход от одной личности к другой происходит произвольно, иногда в самый неподходящий момент, и болезнь сильно угнетает свою жертву. Карпелевичи же трансформируются, когда сами того захотят, и совершенно безболезненно. Их приспособленность к двойной жизни просто удивительна. Но вот окружающим бывает трудно к ним приспособиться. Это я испытал на себе, когда сидел на месткоме.

Заседание вел председатель месткома — человек до примитивности простой и неинтересный. Но из-за своей типичности он тоже заслуживает персонального упоминания.

Имя четвертое: АНАТОЛИЙ КАСЫМОВИЧ АСАНОВ.

Он попросил Карпелевича сообщить присутствующим мотивы моего сокращения. Карпелевич сказал:

— Я представил Виктора Николаевича к сокращению по той причине, что его научная специальность не соответствует профилю научной работы кафедры.

Я слушал и ушам не верил. Неужели он говорит это обо мне — человеке, которому сам же поручил всю организационную работу, связанную с научной деятельностью кафедры? Я ожидал чего угодно, только не этого. Мне вдруг показалось, что Карпелевич совершил грубую ошибку, и мне ничего не стоит теперь выиграть дело. Я вспомнил, что недавно мы сдали отчет, в котором указывалось, что за последние 5 лет коллектив кафедры издал две монографии. В отчете этого не говорилось, но автором обеих монографий был я. Сейчас я расскажу и о них, и о других моих публикациях, о докладах, прочитанных мною там-то и там-то, о том, что на недавнем заседании кафедры моя научная деятельность была единодушно

одобрена, о том, что некоторые мои математические результаты используются в такой-то лаборатории, а прикладные работы как раз соответствуют профилю нашей кафедры, — и все станет ясно... Как видите, я все еще не понимал сути происходящего!

Асанов (мне): — Вы согласны с формулировкой?

Я: — Во-первых, я сразу же поставлен в неравное положение в сравнении с администрацией. Я только сейчас узнал о мотивах сокращения. Почему мне не удосужились сообщить их хотя бы накануне, чтобы я мог подумать, посоветоваться с друзьями, с юристом, наконец? Если профсоюз действительно защищает интересы трудящихся, то пусть члены местного комитета обратят внимание на это грубое нарушение моих элементарных прав. Мне наносят удар, подготовленный в течение двух месяцев, а на ответное движение мне дается лишь несколько секунд. Разве это справедливо? Ну да ладно, я отвечу без подготовки.

И тут я изложил все возражения против текста представления, которые казались мне очень вескими. Их набралось довольно много — я даже сам не ожидал, что их так много. И вдруг Асанов перебил меня:

— Вы еще долго собираетесь говорить? Вы говорите уже пять минут.

Тут я, наконец, прозрел. Ах вот оно что! Вот каков Анатолий Касымович, защитник трудящихся. Он устал меня слушать! Распускайте Учредительное собрание — караул устал. Анатолий Касымович очень ценит свое время, а тут какой-то трудящийся, которого выгоняют с работы, отнял у него целых пять минут, пытаюсь себя отстаивать. Ну и нахал!

С Асановым мне все стало понятно, и через две минуты я свою речь закончил.

Асанов (Карпелевичу): — Что вы на это скажете?

Карпелевич: — Виктор Николаевич — кандидат философских наук, а у нас кафедра математики.

Поэтому я и утверждаю, что направление его научной работы не соответствует профилю кафедры.

Пока он это говорил, я вглядывался в его лицо. Видя его лицо, я не мог не воспринимать его как порядочного человека. Я слишком привык к тому, что это лицо — лицо порядочного человека. Но то, что он сейчас говорил, мог сказать только законченный подлец. Это было предательство, это была ложь. Он прекрасно знал, что в моей диссертации исследовались не отвлеченные философские категории, а основания математики, к тому же я защитил ее давно, и теперешняя моя кафедральная научная работа определялась не темой диссертации, а чисто математическими интересами, возникшими у меня после защиты. Передо мной в чистом виде демонстрировался феномен раздвоения личности, но мне трудно было вместить его в сознание. На душе стало тяжело и тоскливо. Все сделалось мне безразличным, и я ждал только одного: когда же закончатся эти никому не нужные формальности. Мне противостояла слепая сила, и я на мгновение оробел перед ней. А может, и правда — почему «подлость»? Может быть, и в самом деле просто «чистая работа»? Вообразите: человека выгоняют за философские публикации за границей, но никто не только не обсуждал их содержания, а даже и не произнес о них ни единого слова!

Формальности закончились, и я был уволен.

* * *

Что ж, нет худа без добра. Поскольку я теперь нигде не работаю, у меня есть время поразмышлять, да и материал поднакопился.

В ходе моего изгнания передо мной открылись некоторые такие стороны нашей действительности, на которые в нормальных обстоятельствах не очень

обращаешь внимание и поэтому в них не очень-то вдумываешься. А они отражают самую суть нашего жизнеустройства. Подумав, я начал понимать, в чем эта суть заключается.

Фундаментальнейшим свойством нынешней российской действительности является ее иллюзорность, выдуманность, искусственность. На языке философии это точнее всего передается термином «небытийность».

Причина небытийности нашей жизни состоит в том, что она управляется призраками, порожденными фантазией нашего коллективного сознания. Конечно, поскольку эти призраки обрели у нас такое огромное могущество, их нельзя назвать чем-то вообще не существующим. Но существуют они в особом смысле.

Термин «существует» неоднозначен, и можно выделить по крайней мере три его значения. Существование высшего ранга, или бытийность, есть принадлежность к той объективной реальности, которая составляет имманентную основу мира в целом. Именно в этом, полнейшем, смысле существует, например, закон всемирного тяготения или молекула ДНК с ее такими-то свойствами. Существование среднего ранга, или полубытийность, есть принадлежность к субъективным данностям, но таким, которые порождаются самой человеческой натурой. Это — имманентность, относящаяся не ко всему космосу, а только к человеческому роду. Такого типа данности не обязательно соответствуют чему-то находящемуся вне нас, но избавиться от них мы не вольны. В этом смысле существуют, скажем, детское омерзение к паукам, подростковый негативизм, юношеская влюбчивость. Третью же, небытийную, форму существования можно назвать *конвенциональной*. Эта форма присуща тем вещам, которые люди лишь согласились считать существующими, причем это их соглашение было продиктовано не врожденными особенностями их мышления и

восприятия, а чисто случайными обстоятельствами. К сожалению, как раз в таком, наинизшем, смысле существует то, что властно подчинило себе нашу жизнь. Нами управляет не то, что действительно есть, а то, что «считается». Отсюда и проистекает очень низкое качество нашей жизни, ее мелкость, ее дешевизна.

Это странное небытийное бытие не свалилось к нам с неба, а явилось закономерным завершением длительного исторического процесса.

Как известно, корни нашего общества тянутся в европейское Возрождение, когда впервые были выдвинуты идеи коренных социальных преобразований и построения на земле рукотворного рая. Наше государство основал Ленин, Ленин — ученик Маркса, Маркс — последователь французских просветителей, те — преемники социалистов-утопистов. Именно утопии были первым звеном цепи, приведшей к тому, что мы видим сейчас в России. Наши теоретики этого и не отрицают. Они честно признают своими вдохновителями Томаса Мора, Кампанеллу, Сен-Симона и Фурье и даже выбили их имена на стелле, высящейся в Александровском саду прямо напротив Кремля. Однако если мы заглянем в Советский Энциклопедический Словарь, мы прочтем там, что утопия есть «обозначение всех сочинений, содержащих нереальные планы социальных преобразований». Вот тебе раз! Какие же они «нереальные», если их удалось *реализовать*? Даже в школьных учебниках мы пишем, что светлая мечта Кампанеллы и Сен-Симона осуществлена в нашем обществе. Конечно, некоторые детали не совпали, но можно ли было 400 лет назад предвидеть все мелочи? Достигнуто главное: уничтожено социальное неравенство, все люди объявлены братьями, на место веры поставлена наука, установлен принцип «кто не работает, тот не ест», и т. д. Христианство первых веков тоже отличалось от современного, как в вероучительном отношении, так и в обрядовом, но

мы же не говорим, что это разные вещи, и обозначаем их одним и тем же словом. Почему же мы отказываемся применить термин «утопия» к нашему укладу жизни, который меньше отличается от изобретенного Кампанеллой, чем сегодняшнее католичество или православие от веры апостола Петра?

Дело начнет проясняться, если мы обратим внимание на слово «планы», имеющееся в цитированном определении, и прочитаем еще одно определение, взятое оттуда же: утопия есть «изображение идеального общества». Слово «идеальное» означает здесь не столько «хорошее», сколько «нематериальное», «воображаемое». Утопия Кампанеллы была, конечно, нематериальной — она существовала лишь в его голове. Кроме того, она была *планом*, т. е. относилась к будущему. Вообще, все первые утопические системы были не только продуктом воображения, но и относились к будущему. Привыкнув к этому, мы стали связывать утопию с *проектом*, а более существенное ее свойство, т. е. *воображаемость*, просто подразумевать. Ведь будущее всегда воображаемо, так как еще не наступило. Сначала воображаемость подразумевалась, а потом и забылась. И этот перенос акцента и мешает нам понять то, что мы видим вокруг себя. «Утопичность» состоит именно в «идеальности», т. е. в воображаемости, но отнюдь не верно, что всякая воображаемость лежит в будущем. Воображаемая общественная система может существовать и в настоящем, и это как раз и есть наш случай. Нереальное общество обрело у нас реальность, соединив в себе все то, что мы обозначаем словом «считается», и утопия тем самым осуществилась, оставаясь типичной утопией. Много столетий она располагалась в грядущем, и ее поклонникам стало наконец обидно. Они поднаружились и перенесли ее в сегодня. Конечно, воображаемость не позволила ей получить другого ранга

существования, кроме самого низшего, но хорошо, что хоть это удалось устроить!

Впрочем, вскоре стало выясняться, что все не так уж и хорошо, во всяком случае, не спокойно. Спокойствие может корениться только в бытийности, ибо существование бытийных вещей обеспечивается существованием самого нашего мира. Небытийные же вещи держатся на произвольном соглашении, и тут надо постоянно заботиться об его возобновлении. Стоит чуть-чуть ослабить бдительность, и призрачная реальность начнет растворяться в океане подлинной реальности. Чтобы этого не случилось, прежде всего надо как можно тщательнее отгородить ее ото всякой реальности высшего ранга. Надо сделать воображаемой *всю* людскую жизнь, а не какие-то отдельные ее аспекты, иначе то, что осталось в ней бытийным, станет источником порчи для небытийности, и последняя начнет гнить. Надо закупорить *все* каналы, связывающие людей с космическим кругооборотом; надо абсолютно *в каждой* области человеческого функционирования создать свое «считается». Эта программа неукоснительно выполнялась у нас с самого первого дня. Как только грядущее было решено перенести в настоящее, так сразу же были приняты крутые меры к тому, чтобы изолировать наше общество от главных источников бытийности.

Таких источников три: национальное чувство, земля, религия. Нация, в отличие от толпы, представляет собой живой организм, поэтому ведет себя не так, как ей предписывает схема, а как направляют ее вечные и нерукотворные законы жизни. Земля, чудесным образом дарящая нам свои плоды, хранит в себе тайну воспроизводства сущего, прикосновение к которой делает человека мудрым. Религия прямо соединяет нас с Началом Бытия. Ни одному из этих факторов нельзя было позволить действовать на наше общество, иначе вся затея провалилась бы. И вот русских людей пре-

вращают в не имеющий национальности передовой отряд мирового пролетариата. И вот под лозунгом уничтожения кулачества уничтожают крестьян и разрывают связь народа с землей. И вот подвергают яростному гонению православную церковь, рушат храмы, жгут чудотворные иконы...

Наряду с этим надо было защититься и от других факторов, может быть не столь значительных, как эти три, но тоже достаточно серьезных. Вывести из пределов воображаемого мира к подлинности могут высказывания людей, не принадлежащих утопическому обществу и поэтому не связанных обязательством соблюдать конвенцию, а также простой человеческий здравый смысл, иногда все-таки различающий, где истина, а где фальшь. Поэтому пришлось создать мощную систему фильтров и заглушек для информации, поступающей из-за границы, и установить строгий принцип «невынесения сора из избы», чтобы создать за рубежом иллюзорные представления о наших реальностях и тем самым обезвредить иностранную информацию уже на корню. А еще — людей лишили всех средств к существованию, кроме одного: окошечка кассы, к которому каждый должен подойти раз в две недели и которое может захлопнуться, если человек вдруг начнет руководствоваться не фантомами, а собственным здравым разумением.

Параллельно с этим начали создавать ту псевдо-реальность, которая должна была заменить искорененную подлинность, т. е. которая отныне должна была «считаться» существующей. Тут все надо было конструировать противоположно бытийности, так как ее смешение с небытийностью недопустимо. Выдуманное должно быть все, только тогда люди прочно привыкнут к самой идее выдуманности и будут смотреть на нее как на универсальный мировой принцип, против которого не пойдешь. Этим и определилось содержание того, что у нас «считается».

Поскольку наше государство авторитарно, считается, что оно является самым демократическим государством в мире.

Поскольку общественные организации играют у нас самую незначительную роль, считается, что они представляют собой основную движущую силу нашего общества.

Поскольку наши профсоюзы всегда защищают интересы администрации, считается, что они зорко стоят на страже интересов трудящихся.

Поскольку наше население относится ко всем партийно-правительственным программам с полной апатией, считается, что оно встречает их с восторгом и энтузиазмом.

Поскольку церковь подвергается у нас сильным притеснениям, считается, что она выполняет свои функции совершенно свободно.

Поскольку у нас на произведения искусства и литературы наложена жесточайшая цензура, считается, что нигде нет такой свободы творчества, как у нас.

Поскольку наше иллюзорное общество не имеет никаких перспектив, ибо оно все-таки иллюзорно, и с магазинных прилавков навсегда исчезает один продукт за другим, считается, что оно имеет самые блестящие перспективы и мы быстро приближаемся к коммунизму, при котором прилавки будут ломиться от снеди...

Конечно, придумать эту воображаемую реальность мало — ее надо постоянно воссоздавать. На это тратятся у нас огромные усилия, и в необходимости такого воссоздания заключается причина необычайной активности наших идеологов. В это дело вовлечены у нас миллионы людей — как профессионалов, так и добровольцев-любителей.

Главной и определяющей силой является здесь средний и низовой партийный актив — секретари производственных партийных бюро, члены парткомов и

те из рядовых коммунистов, которые по тем или иным причинам проявляют особое рвение и выполняют конкретные партийные поручения. Резервом этой армии служит комсомол и всякого рода молодые карьеристы, которым чуть ли не со школьной скамьи умело прививают вкус к «руководящей работе». А примыкают к этому регулярному войску отряды волонтеров — людей, слишком свободолюбивых, чтобы записываться в полки, но достаточно небрезгливых, чтобы быть на подхвате.

Я предвижу, что многие даже из тех читателей, которые до этого места следили за моими мыслями сочувственно, здесь запротестуют и начнут возражать. — Полно, — скажут они, — к чему взваливать все на исполнителей, к чему обвинять стрелочников, освобождая тем самым от ответственности тех, кто им приказывает? Представление о том, будто уклад нашей жизни организуется «сверху» с помощью голого принуждения, распространено чрезвычайно широко и у нас и за границей. Но это как раз тот случай, когда всеобщая убежденность не является признаком истинности. Это представление в корне ошибочно и... слишком оптимистично. К несчастью, все обстоит у нас много хуже.

Ах, если бы дело происходило так, что захватившие верховную власть диктаторы приказывали нам делать то-то и то-то, а мы лишь под страхом наказания и скрепя сердце подчинялись бы! Это было бы еще куда ни шло, во всяком случае тут возникала бы надежда. Можно было бы уповать на то, что власти-тели образумятся, прислушаются к голосу народа, найдут себе умных советников или просто уйдут на пенсию и уступят место более толковым людям. Но надо взглянуть правде в глаза. Как это получилось и когда началось — вопрос отдельный, но сегодняшняя российская действительность состоит в том, что тут выросла огромная популяция людей, которые полно-

стью разучились жить в бытийном мире и могут жить только в мире воображаемом. Они-то и занимаются производством всего воображаемого. Их можно уподобить бескислородным бактериям, приспособившимся жить в атмосфере из азота, которые начали потом сами производить необходимый им азот. Утверждение нашей пропаганды, что «за годы советской власти появился человек нового типа» в некотором смысле правильно, только его надо уметь истолковывать.

Поскольку «людей нового типа», разучившихся дышать кислородом, у нас очень много, да к тому же они занимают все более или менее ключевые посты, шансов на скорое посвежение нашего воздуха мало. Наше небытие порождает не злоумышленники, а стихия, а с ней, как известно, даже царям не совладать. Если даже завтра сверху посыплются очень мудрые распоряжения, направленные к искоренению всякой показухи и взаимного обмана, огромная масса средних и низших активистов после некоторого периода замешательства и ропота выработает какой-нибудь новый обман, в котором все и завязнет. Для них это не трудно, ибо фактическая власть в наших градах и весях находится в их руках. По незыблемой традиции все самые важные местные дела всегда передаются на их рассмотрение. Это, конечно, не случайно, в этом имеется глубочайший смысл. Только активисты могут действовать не по букве, а так, как этого требует дух постоянно изменяющейся утопии. Чистая государственность непременно связана с буквой, т. е. с законом, а закон, каким бы он ни был, после его принятия становится чем-то материальным, объективным, т. е. обретает существование высшего ранга, поэтому начинает мешать созданию фантомов. Партийные же активисты не связаны формальностями. Они располагают тысячами средств давления на граждан — например, могут повысить человека в должности или снять его с работы в зависимости от того, как он будет себя

вести и что говорить. Они умеют решать дела посредством телефонных просьб и неофициальных распоряжений, к которым у нас относятся гораздо почтительнее, чем к казенным бумажкам, приходящим из высших инстанций. И девяносто, если не больше, процентов всего того, что у нас «считается», производится либо непосредственно этим новым уездным дворянством, либо теми его двуликими прислужниками, которые охотно содействуют ему в служебное время.

* * *

Итак, все выглядит вроде бы очень мрачно. И все же я хочу закончить разговор на другой ноте. Если бы я был социологом или политиком, я сделал бы вывод, что все очень плохо. Но поскольку я философ, я такого вывода не сделаю. Философия — замечательная вещь: она при всех обстоятельствах приводит к одному и тому же умонастроению, которое можно назвать «сдержанным оптимизмом». Я как раз и есть сдержанный оптимист.

Для философа ясно, что небытийные данности могут продержаться лишь какое-то время, а затем обязательно лопаются. Значит, непременно лопнет и тот фантом, который подчинил себе нашу жизнь. Мой оптимизм «сдержанный» не потому, что я в этом сомневаюсь, а потому, что фантом может лопнуть не очень скоро.

Говорят, можно обманывать долго одного или недолго всех, но нельзя обманывать долго всех. У нас случай несколько другой — мы сами себя обманываем, поэтому может показаться, что это можно делать вечно. Но беда в том, что при этом надо обманывать еще и космические законы. Хотя на нашем корабле тщательно задраены все иллюминаторы и заткнуты

все щелочки, однако по все возрастающей качке мы начинаем догадываться, что идем не в благословенный порт «Коммунизм», а в бурное море, где нам долго не продержаться.

У нас есть много разных «считается», но главное из них такое: считается, что мы строим общество изобилия и что в ходе этого строительства люди становятся все сознательнее. Но каждый из нас знает, что в души людей все глубже проникает цинизм, что общество наше захлестывается коррупцией и что наша пища становится все однообразнее и все дороже. В «Программе партии», принятой 20 лет назад, 1980-е годы рисовались в виде гастрономической лавки, заваленной продуктами, а когда это время пришло, та же самая партия заговорила о «Продовольственной программе», которая является, по-существу, программой спасения от голода. Что же будет еще через двадцать лет?

Хотя небытийные вещи неизбежно лопаются, все же кто-то должен помочь им лопнуть. Какая же сила может пересилить у нас ту стихию, которая ежедневно порождает призраки и миражи?

Таких сил две — народ и правительство, т. е. то, что лежит ниже и выше слоя, продуцирующего воображаемую реальность. Если они навалятся на этот слой с разных сторон да как следует поднажмут, то инерция самовоспроизводящейся лжи будет преодолена.

Политики закричат мне: что за глупости, как можно рассчитывать на правительство, которое само вышло из среднего партийного слоя и на него опирается, и на российский народ, пребывающий в полной пассивности. Но я говорю не о наших конкретных сегодняшних возможностях, а лишь высказываю теоретическое положение, которое подтверждается историческими данными. Всегда, когда над Россией нависала серьезная угроза, народ, вчера еще вялый,

быстро активизировался, а правительство, подчиняясь инстинкту самосохранения, начинало осуществлять народные чаяния, обрушиваясь с репрессиями на тот промежуточный господствующий слой, который его же и выдвинул. В такие моменты интересы высшей власти и простого народа начинали совпадать, и они действовали совместно. Метафизические предпосылки такого альянса понятны — они состоят в том, что обе силы обладают *бытийностью*. Народ обладает ею уже потому, что занимается материальным производством, а материя бытийна. Правительство, правда, становится бытийным при одном дополнительном условии: если оно является *национальным* правительством. Нация, в отличие от всех других форм соединения людей, которые призрачны, реальна, поэтому и правительство, возглавляющее нацию, тоже обретает реальность. Оно становится как бы мозгом живого существа, и в нем, откуда ни возмись, появляется и мудрость, и интуиция, и даже способность к мистическим прозрениям. Без такого правительства нам своей жизни не переделать, следовательно пока можно сказать только одно: *прежде всего мы должны снова стать русскими*. А поскольку русских нет без православной веры, как, впрочем, и вообще нет ни одной нации без национальной религии, значит, не обойтись нам и без духовного и церковного возрождения.

То, что я сейчас сказал, может послужить поводом для обвинения меня в «национал-большевизме». Хотя этот термин несет в себе внутреннее противоречие, ибо большевизм, основанный на безбожии, и русский национализм, основанный на православной вере, несовместимы, и хотя совсем уж нелепо наклеивать этот ярлык на меня, все же я скажу на этот счет несколько слов, чтобы поставить все на места.

Словечко «национал-большевизм» облюбовано сейчас людьми известной категории и используется ими как пугало. Эти люди хотят предотвратить воз-

можное воскресение России, так как ненавидят ее и боятся. Они хотят окончательной гибели России, полагая, что после этого на земном шаре станет лучше — по крайней мере, им. Вероятно, у них есть для такого мнения веские основания. Но, будучи русским, я не могу вместе с ними желать гибели России, а напротив, мечтаю о ее воскресении, и они должны понять мои чувства, как я понимаю их чувства. Так что с этими оппонентами разговор и простой, и короткий, и понятный обеим сторонам. Но есть и другие люди, опасющиеся «национал-большевизма», которые желают России добра. Они считают, что единственным прекрасным будущим для России была бы буржуазная парламентская демократия западного образца, а религиозные и национальные тенденции лишь отвлекут ее от этого светлого пути. Заметив в скобках, что вряд ли есть резон догонять тех, кто по их же собственному признанию движется к пропасти, хочу обратить внимание и на логическую несостоятельность таких возражений. Когда мы говорим о национальном возрождении России, мы имеем в виду не политические реалии, а категории совсем иного рода — внутреннее ощущение себя русским, любовь к родной истории, к родной культуре, к родному языку, к родной природе, уважение к заветам предков, к национальной вере. На этой базе могут произрасти самые разные политические формы, кроме, правда, марксизма. В том числе, разумеется, и буржуазная демократия. Соединялась же она с русским национальным и религиозным чувством в Новгородской республике XIII века...

Таковы некоторые философские мысли, навеянные недавними событиями моей жизни. Резюмируя их, я рискну сделать прогноз. Так как жизненные силы России еще велики и погибать она не захочет, ей так или иначе придется встать на путь национального и духовного возрождения. Никуда нам от этого не деться,

никак нам от этого не отвертеться. Никакого другого способа избавиться от призраков, заманивающих нас все ближе и ближе к краю бездны, и обрести надежную бытийность не существует.

Начнется ли в ближайшие годы такой подъем и в каких формах он будет протекать — поживем, увидим.

1 июля 1981 г., Москва

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕР

Ежемесячная литературная газета

Главный редактор Михаил МОРГУЛИС

В издании участвуют авторы всех волн эмиграции, всех литературных направлений. Единственным критерием оценки материалов для редакции служат слова Бориса Пастернака: «Талант — единственная новость, которая всегда нова». В ближайших номерах: И. Башевис-Зингер, В. Максимов, И. Бродский, В. Аксенов, М. Булгаков, Н. Коржавин, Л. Ржевский, В. Марамзин, И. Елагин, А. Антонович, С. Блох и многие другие.

Годовая подписка: для жителей США и Канады — 12 долл.,
для жителей Европы — 15 долл.,
для жителей России — бесплатно.

Цена отдельного номера — 1 доллар.

Заказы и письма направлять:

Literary Courier, 106 Rivington St.
New York, N.Y. 10002, USA

или

B. SHLAEN,
38, rue Martre, apt. 101, 92110 CLICHY, FRANCE

«ГРИНЦАНЕ КАВУР» — РУССКОМУ ПИСАТЕЛЮ

В мае месяце сего года в Италии будут присуждены две Первые премии за лучшие книги для молодежи: по одной — итальянскому и иностранному авторам — по пять миллионов лир. На днях жюри конкурса «Гринцане Кавур», в составе видных итальянских писателей и критиков, опубликовало имена шести финалистов, книги которых выдвинуты на дальнейшее рассмотрение совместно с молодежной общественностью страны. Среди иностранных авторов, выдвинутых на соискание Первой премии, два — представители России и Восточной Европы: Владимир Максимов («Баллада о Савве») и Тадеуш Конвицкий («Малый апокалипсис»). Вне зависимости от исхода конкурса оба уже имеют право на получение двух вторых премий в один миллион лир.

В финальном обсуждении были рассмотрены также книги Эрнесто Ферреро, Франко Пичинелли, Долорес Прато, Мануэля Скорца, Курта Воннегута и нескольких других итальянских и зарубежных авторов.

ИСТОКИ

Кястутис Йокубинас

НЕПОБЕЖДЕННЫЕ

Перевод с литовского автора

КОПЫТО

В поселке, окружавшем лагеря, кроме администрации, жили и вольнонаемные. Вместе с заключенными они работали на шахтах инженерами, техниками, а иногда и рабочими. Среди них были не только приехавшие добровольно, но и ссыльные, в большинстве немцы Поволжья. Симпатии этих людей были на стороне заключенных. За открытый показ таких симпатий угрожала кара — через 24 часа оставить поселок. Но, невзирая на все запугивания и попытки администрации представить политзаключенных монстрами и убийцами, среди вольнонаемных всегда находились доброжелатели.

На Инте в 50-е годы кассирша 13-14-й шахты Жуковская, рискуя потерять работу, набивала портфель, предназначенный для денег, хлебом и кусками сала, которые затем раздавала заключенным. Бухгалтер Ильза Маурер на свое имя заказывала из Москвы по почте английские книги и передавала нам в зону. Таких «вольных» заключенные очень ценили и старались выполнить их просьбы: сделать какую-нибудь вещь, инструмент, помочь в работе. Многие «вольняжки» жили не лучше зэков. Поэтому им почти нечем было платить за услуги.

Одному новоселу из поселка потребовалась кровать. Электросварщики на шахтах довольно изобретательно умели их изготавливать из железных прутьев. За работу вольнонаемный предлагал необычное вознаграждение — лошадиное копыто. Оно как-то напоминало мясо, которое в лагере было лишь далекой мечтой. Ничтожный паек мяса обычно варили в мешке и разделяли между собой повара. В огромном котле оставалось лишь немного запаха.

Предложением «вольняжки» заинтересовался Павел Мельник. Осужден на 25 лет за участие в партизанском движении на Западной Украине, которая, как и Литва, целое десятилетие после войны упорно сопротивлялась укреплению так называемой советской власти. Павел был молод и вечно голоден. Поэтому не упускал любого дополнительного заработка. Целую неделю, урывками, во время перекуров и обеденных перерывов, Мельник, обычно называемый Пашкой, трудился со сварочным аппаратом, собирая кровать вольному новоселу.

Наконец работа выполнена, и он получил обещанное копыто. У подножья терриконика развел огонь, поставил на двух кирпичах котелок, согнутый из консервных банок, и принялся варить добычу. Шел от этого варева довольно подозрительный запах, но Павел терпеливо собирал уголь и хворост в надежде что-нибудь выварить — может быть, суп или что-то похожее на холодец.

Хотя место было укромное, то ли почуяв запах, то ли случайно забрел туда один из блатных. Увидев, что в жестянке что-то варится, крикнул: «Эй, мужик, пожрем!» И ушел, видимо, поделиться новостью с керьухами. Сразу, один за другим, появилось еще четверо и, бросив взгляды в котелок, не забыли напомнить о себе обиходным в лагерях замечанием: «Пожрем вместе, мужик!» Эта фраза, чаще всего применяемая среди курильщиков («покурим»), означала, что надо

делиться. Отказаться было бы не только невежливо, корыстно, но и опасно. Конечно, Павел мог бы отрезать тоже ходовым замечанием: «Кто пожрет, а кто х... пососет». Но тогда не миновать драки, и... прощай холодец. Поэтому Мельник пропустил мимо ушей «заявки», буркнул под носом, что, мол, всем не хватит, и продолжал варить дальше. Копыто пенилось, на поверхности воды появился кое-какой навар, и запах напоминал как будто мясное...

Спустя добрых два часа Павел решил, что хватит, взял котелок и ускоренным шагом направился к инструменталке, где работал его друг. Казалось, никого не было поблизости, но блатные выросли, словно из-под земли. Павел пустился бежать, стараясь не пролить варева, поэтому был скоро схвачен. Содержимое котелка разлилось, покатилося копыто. Упав, Мельник схватил его и судорожно сжимал, но силы были неравные...

С разбитым носом, почерневшим глазом и синяками на руках, шатаясь, Павел добрал до инструменталки. Здесь, печально улыбаясь, рассказывал он о своей неудаче, о том, как много труда вложил, изготавливая кровать тому «вольняжке». Долго Пашка Мельник не мог забыть злосчастное копыто. С таким трудом заработанное и утерянное, оно представлялось вкусным и сытным, словно настоящее жаркое или миска холодца, а не лошадиное копыто.

МУДРОСТЬ ГРУЗИНА

Администрация особых лагерей больше всего опасалась единства заключенных, их взаимного доверия. Чтобы помешать этому доверию, она прибегала к различным уловкам, меняла правила распорядка. В одно время был приказ: больше трех не собираться.

Но вдруг издавался новый: ходить только побригадно, толпой. Кто был замечен во время прогулки по зоне вдвоем, должен был прощаться с напарником. Одного из двух отправляли в другой лагерь. Популярность какого-нибудь заключенного, его попытки опираться на закон вызывали резкую реакцию администрации, особенно оперативного отдела. Непокорных и шумливых «правдоискателей» переводили в другое место, где условия жизни и работы были еще хуже.

На 3-м лаготделении Интлага (позже Минлага) особую известность приобрел Александр Ильич Схиртладзе, инженер по технике безопасности шахты № 9. Он был высшим авторитетом не только для всех грузин в лагере. К его советам и помощи прибегали многие заключенные и даже вольнонаемные. Почти ежедневно после работы к Александру Ильичу собирались люди разных национальностей — получить совет, услышать интересный рассказ. Грузин внешнею, но не темпераментом, 50-летний Схиртладзе находил спокойное и мудрое слово для каждого. Владея несколькими тюркскими языками, и к казахам, и к узбекам обращался он на родном наречии.

Несколько лет косились оперативники на всеми уважаемого грузина. Видя, как к нему собираются люди, горел ненавистью и начальник колонны Лукин, «трубкой» прозванный, «капо» с садистскими наклонностями. (В 1953 г. его зарубил топором так и не найденный заключенный.) Попытки «трубки» отправить Схиртладзе на этап не удавались. Начальник 9-й шахты Штиппельманн без такого инженера не мог ступить и шага. Поэтому он всегда уговаривал начальника лагеря оставить грузина на месте.

Наконец, в одно осеннее утро 1952 г. команда: Схиртладзе — на этап. Он стал собираться, но попросил идущих в первую смену известить начальника шахты и посоветовал, в крайнем случае, звонить начальнику управления полковнику Халееву. На этот раз,

видимо, уперлись не только оперативники, но и представитель МГБ, и отказались вычеркнуть Схиртладзе из этапных списков. Кто работал в зоне или в ночной смене, собрались проводить Александра Ильича к воротам. Но они не открывались. Начальник конвоя разговаривал по телефону с какой-то высшей инстанцией. Затем приказал этапникам вернуться пока в барак. Через пару часов — опять к вахте и опять назад. После обеда еще раз, казалось последний, простились с Александром Ильичом. Ворота открылись, вызвали несколько эков, отправляемых в центральную больницу и... в последнюю минуту: Схиртладзе оставить! Насупились оперативники и их приспешники. А «трубка» даже стал лицемерно утверждать, что якобы и он добивался, чтоб Схиртладзе не отправляли... Истинная причина стала известна лишь узкому кругу друзей Александра Ильича. Оказывается, у него был именно тот «блат», который, как говорится, «выше наркома». Еще до учреждения особых лагерей начальник Управления Халеев (зять Кагановича) использовал Схиртладзе не только как инженера. Летом 1946 г. извозчик забирал его из лагеря и отвозил в дом высокого начальника. Александр Ильич должен был обучать жену Халеева французскому языку.

Оперативники, очевидно, что-то почувствовали и до конца срока оставили Схиртладзе в покое, не пытались больше отправить на этап.

Обязанности инженера по технике безопасности для заключенного были трудными и ответственными. От его слова зависело, посадить ли в карцер нарушившего шахтные правила или нет. 9-я шахта относилась к категории взрывоопасных, и курить под землей строго запрещалось. Но кто не знает курильщиков, да еще в неволе. Хотя при входе в шахту днем и ночью дежурил «табакотрус», все равно заключенные проносили и спички, и махорку. Инженеру по технике безопасности приходилось удерживать равно-

весие между администрацией, заключенными и настоящей заботой о безопасности рабочих. Задача необычайно трудная. Но Схиртладзе обладал редким даром, о котором Киплинг писал как об идеале: to «talk with crowds and keep your virtue, or walk with Kings — nor lose the common touch». Даже в тех редких случаях, когда за нарушение правил на глазах начальства Схиртладзе должен был наказать заключенного, ни один, вернувшись из карцера, не злился и не ругал Александра Ильича.

Это был человек незаурядных способностей и сложной судьбы. В 1929 г., работая в Азербайджане, благополучно перешел в Иран и жил там под своей фамилией, был даже на дипломатической службе. Во время войны, когда Советский Союз стал «дружить» с Ираном, Схиртладзе был выдан и «за измену Родине» получил 10 лет. В 1943 году он очутился в Инте, которая тогда началась строиться. Знаток горного дела, со стажем работы на шахтах Бельгии и Германии, Александр Ильич был действительно незаменим. Ни один вольнонаемный не мог с ним сравниться. Поэтому Схиртладзе не пришлось работать киркой. Что редко среди технических специалистов, у Александра Ильича были и широкие гуманитарные интересы. Кроме основных европейских, он владел несколькими восточными языками, интересовался литературой, искусством, поэзией. Только английский знал недостаточно и стал его улучшать в лагере. С этого и началось наше знакомство. От Схиртладзе я получил и первую английскую книгу Jerome K. Jerome «Three Men in a Boat». Начав ее читать, я понимал лишь половину, но постепенно разобрал каждое слово. Некоторые советы из этой книги запомнились навсегда: пусть лодка твоей жизни будет легкой, чтобы не перевернулась, а если и перевернется, чтоб ненужный балласт не потащил ко дну.

По окончании срока жизнь Александра Ильича изменилась мало. Уехать из Инты не разрешалось, и он стал ходить на ту же работу, только через другие ворота — для вольнонаемных. Робу заключенного сменил на костюм с галстуком. Сейчас, когда он стал вольным начальником, казалось, еще труднее согласовать обязанности и симпатии. Ведь отношения между эками-«фашистами» и вольнонаемными строго регламентированы. Но Александр Ильич и здесь не покорился обстоятельствам. Несколько раз мне довелось стоять в коридоре административного здания, когда из шахты после осмотра возвращалась свита начальства. Среди них был и Александр Ильич. Проходя мимо, он, словно ничего не изменилось, останавливался и подавал руку. Для вольнонаемного — это запрещенный жест. Начальство хмурило брови, но все же мирилось с явным нарушением правил.

Летом 1954 г., выйдя из лагеря, я навестил Схиртладзе в Инте, которая уже стала городом. В то время начальник 9-й шахты Штиппельманн был в отпуске и доверил присмотр своей пятикомнатной квартиры Александру Ильичу. Принял он меня, словно турецкий паша: в цветистом восточном халате, угощал грузинскими яствами, присланными матерью с Кавказа. Включил огромный приемник, и тут я впервые услышал Би-Би-Си. Оба радовались, что большинство слов было понятно. Во время моего пребывания приехала к нему 86-летняя старушка-мать. Ее сопровождала жена нашего общего знакомого Константина (Котэ) Джавришвили, доцента Тбилисского университета. Он еще тянул 10-летний срок.

Неделю провели, слушая музыку, новости, обмениваясь воспоминаниями о недавнем прошлом. Я отправлялся в Сибирь, к месту ссылки родителей. По дороге на станцию всё продолжали обсуждать будущее. Передавая мне свои советы и пожелания, Александр Ильич вдруг задумался и прибавил: «Если бы

можно было начать жизнь снова, я никогда не оставил бы своей матери».

ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ

Надзиратели, обыскивая вновь прибывших на 7-е лаготделение в Мордовии, поразились: вместо курева, книг и других обычных пожитков, чемодан одного заключенного набит старыми письмами. В конвертах, со знаками цензуры, некоторые уже пожелтевшие... — Александр Райдалу, статья 58-1а, срок 25 лет.

— Что за письма?

— Из дому, — со свойственным большинству эстонцев акцентом объясняет Райдалу.

— Зачем таскаешь такое барахло?

— А разве нельзя?

— Можно, но какого чёрта? Лучше бы сало или хлеба кусок положил. Наверное, того... не все дома, — бормочут, переворачивая сотни писем, надзиратели.

Александр Райдалу, лет под сорок, голубоглазый с нордическими чертами эстонец, возил по лагерям единственную драгоценность — письма от возлюбленной, с которой до ареста был едва знаком. Он получал письмо каждый день. Не только первое полугодие по прибытии в лагерь. Вначале многие получали письма очень часто: жены или невесты обещали ждать вечно. Однако письма скоро начинали редеть, пока и совсем прекращались. Содействовали этому и власти. Развод с «врагом народа» был предельно упрощен: достаточно было заявления жены, и спецчасть лагеря немедленно оповещала заключенного, что у него уже нет семьи... Отношения одних прерывались тихо — не приходили больше письма, и всё. Другие же получали разные объяснения, оправдания. Например: мой дорогой, отправила тебе последнюю посылку — завтра выхожу замуж. Не сердись! Один

московский инженер получил и, не скрывая возмущения, всем в бараке показывал такое письмо: «Мой дорогой! Вчера ходила к врачу. Сказал — обязательно надо иметь дело с мужчиной. Иначе моим недомоганиям конца не будет...» Такими и подобными письмами заканчивалась верность и любовь, обещанная быть вечной.

Но у Райдалу любовь была другая — настоящая. Ежедневные письма от возлюбленной приходили вот уже 8 лет. Если она ехала в отпуск или просто не успевала отправить письмо сегодня, в следующий день непременно поступали два письма... Райдалу проводил большую часть свободного времени, сочиняя ответы. Имел специальный складной столик собственного изготовления. Каждый день после работы он заполнял два-три больших листа бумаги в клетку. Весь барак знал об этом. Начальник отряда капитан Гурьянов пытался втянуть Райдалу в так называемые «самодетельные организации», особенно в секцию «внутреннего порядка». Члены этой секции должны были помогать администрации и носить красные нарукавные повязки. Райдалу всё отказывался — некогда. Покопался было Гурьянов на ежедневно письма пишущего чудака и, махнув рукой, уходит.

Наши нары были рядом, и после нескольких лет я осмелился спросить у Райдалу, о чем же он пишет в тех длинных письмах и так часто. Ведь он не был интеллектуалом, способным философствовать о чем угодно. Райдалу охотно пояснил: 2/3 письма — любовь, остальное — о быте. Показал фотокарточку возлюбленной: молодая, красивая женщина, зав. гастрonomом в Таллине. Пока разрешалось, она посылала в лагерь лучшие продукты, курево, книги. Мир Райдалу так и вертелся вокруг этих писем и книг. Когда переписку ограничили, он всё равно писал ежедневно, но отправлять мог только два раза в месяц. Получать письма разрешалось без ограничений. Райдалу

был прекрасный столяр-краснодеревщик и выполнял индивидуальные заказы для вольнонаемных. Согласно любому сложнейшему чертежу, Райдалу изготавливал шифоньеры, трюмо, комоды. Поэтому вольные иногда ему и письма выносили за зону, минуя цензуру.

После запрещения посылок возлюбленная Райдалу стала вкладывать в корешки книг 10-25-рублевые банкноты. За них, хоть и тайно, можно было кое-что купить. Особенно был важен чай, пачка которого, вместо 30 копеек, стоила 3 рубля. Однако Райдалу тут не повезло. Под ним, на нижних нарах, жил старший дневальный Иван Федорович Попов. Бывший полицей при немцах, он цинично утверждал, что не имеет значения, кому служить. Сейчас служил администрации лагеря. Кроме других хозяйственных работ, он носил от цензора почту для всего отряда. Был действительно хитер, как змей. Письма и особенно бандероли тщательно пропускал через свои руки: что не находила официальная цензура — пронюхивал Попов. Из корешков книг все рубли прибирал в свой карман. За эти деньги он получал и чай, и масло. Пировал тут же, рядом с Райдалу. Последний должен был довольствоваться килькой, которая была такого качества, что в лагерной столовой некоторое время выдавалась без нормы. Позднее из писем Райдалу узнавал, сколько рублей было послано ему в бандеролях, за корешками книг, но не осмеливался зацепить Попова. Утешался, в шутку, что на голодный желудок мысль работает яснее.

Прошло 15 лет. Любовь не погасла, не прекратились письма. 25-летний срок Райдалу снизили до 15, согласно новому Кодексу. Уже изрядно поседев и постарев, но с юношеским сердцем, летом 1966 года он отправил последнее любовное письмо из лагеря. Книжки и другие вещи Александр Райдалу раздал остающимся, а выходя за лагерные ворота, взял с собой

только письма возлюбленной. Сейчас их было уже два полных чемодана.

ОТЕЦ СТАНИСЛОВАС

50-е годы на комбинате «Интауголь» — оживление деятельности. Быстро растут вверх новые шахтные копры. Эшелоны с углем днем и ночью мчатся на запад. Лагеря наполняются. На 3-м уже 4 тысячи заключенных. Его начальник подполковник Ермолаев показывает необычное усердие. Как настоящий «хозяин», он лично наблюдает за прибытием нового этапа. Важно тщательно отобрать самых сильных и здоровых, а также специалистов для строительства шахт.

Шмон и опрос проходит сразу у ворот, возле вахты. За длинным столом, словно покупатели рабов, сидят начальники, прорабы и «кум», или «опер» — мефистофельского вида капитан Борисов. Это ветеран, с 23-летним стажем «оперработы».

Здесь, как и на свободе, многое зависит от смелости человека, его целеустремленности. Хороший, но скромный инженер-мостовик не осмеливается назваться строителем шахт или домов. А те, которые не страдают скромностью, записываются в самые ходовые профессии: строители, электрики, печники, маляры. Их сразу же назначают бригадирами и даже прорабами, хотя эти люди часто не умеют прочесть простейший чертеж. Но они получают право подобрать бригаду рабочих. Поэтому скромный инженер становится подчиненным безграмотного бригадира. Этот дает инженеру более легкую работу — что-нибудь подсчитать, заполнить наряды, чертежи. Инженеру ближе к сердцу карандаш, чем лопата. Так и трудится бедолага, а «лавры» и самая большая пайка достается тому напористому ловкачу.

Прием новых рабов нередко затягивается до позднего вечера. Проверяют по схеме: Ф. И. О., год рождения, статья, срок, конец срока (для большинства это — 1972-75 годы), затем специальность. Одна фамилия, хоть и литовская, но легко произносимая и русским: Добровольскис, Миколас, 1918 г. р., срок — 25. Специальность? — Священник, монах. Таких немного. Купцы начинают перешептываться...

— Здесь тебе не с монахинями шашни водить, — бросает «кум» Борисов. — Что умеешь делать, белоручка?

— Прошу меня назначить в бригаду на самые тяжелые работы.

Приемщики рабов удивлены. Они к таким не привыкли. Умолкают насмешки. Ведь в лагере чуть ли не каждый жалуется на здоровье, всеми способами старается избежать тяжелых работ.

Прораб самого трудного объекта — «Шахтстроля» спешит записать фамилию Добровольскиса. Приказывает выдать ему немедленно валенки, одеяло, бушлат. В бригаде не хватает людей, поэтому — завтра же на работу.

Строительство шахт зимой (рытье фундаментов, бетонирование) тяжело потому, что приходится целый день работать на холоде, на ветру. В разгул северных морозов строители прикрывали лица кусками материи, но не могли избежать отморожений. А лечили их одним способом — мазали «зеленкой». Поэтому лица заключенных производили фантастическое впечатление: покрытые зелеными пятнами или совсем зеленые, только глаза не окрашены.

Место работы было за несколько километров от лагеря. По возвращении оттуда, вечером, ни на что не оставалось ни времени, ни сил. Только вскарабкаться на нары и дремать. Но Добровольскис, чаще отцом Станисловасом называемый, находил энергию не только для ежедневных молитв, иногда и для мессы, но и

для изучения Священного Писания. Было у него словно чудом сохраненное издание Библии на французском языке. Никогда не переставая учиться, отец Станисловас с энтузиазмом взялся изучать испанский. Мы оба имели одного учителя — бывшего испанского капитана, который после поражения в гражданской войне в 38-м году прибыл в Одессу со своим кораблем. Несмотря на это, в 1947 г. вынужден был отдать дань Сталину: получил сравнительно небольшой, 10-летний срок.

Отца Станисловаса уважали все, кто его знал. Он, в свою очередь, никому не отказывал в помощи духовной, в ободряющем слове, не жалел также и того дополнительного куска хлеба, который он изредка получал из Литвы. Посылку всегда делил с окружающими.

Встретил я отца Станисловаса 20 лет спустя, на родине. Назначенный в отдаленную Паберже, где когда-то был настоятелем один из руководителей восстания 1863 г. Мацквичюс, Добровольскис остался настоящим Христовым солдатом. Время почти не оставило следов на его лице. Всё те же по-юношески блестящие глаза. В маленькой комнатке — деревянный лежак, покрытый лишь тоненьким одеялом. Рядом — полки с книгами на разных языках: философия, искусство, религия. Другие комнаты приходского дома — своеобразный музей. На кухне — коллекция старинной медной посуды. Дальше — мастерская, где отец Станисловас проводит ежедневно не один час. Здесь вырезаются, куются из металла кресты, орнаменты. Ими украшено кладбище в Паберже, завешаны стены дома священника. Редкий гость уходит отсюда без подарка — креста или другого сувенира работы отца Станисловаса. Сколько древней посуды он собрал и передал в музеи Вильнюса и других городов! В костеле полно редких картин, которые заботой Добровольскиса реставрируются.

Хоть и в далеком захолустье, особенно трудно достигаемом во время осенней распутицы, дом настоятеля костела Паберже всегда полон гостей. Посещают его молодежь, студенты, целые семьи. Приезжают поглядеть и коммунисты. Может быть, не все с добрыми намерениями, но отец Станисловас искренно принимает всех. Угощает, как и в те лагерные времена, раздавая все, что подарят ему прихожане. Часто ничего не оставляет себе. — Я только ваш слуга и хранитель ваших богатств, — любит он повторять.

Многие восхищаются мыслями, поведением отца Станисловаса, ищут у него советов, утешения. Но вряд ли кто согласился бы жить так, как он. Взглянув на его светлый лик, скромное окружение и более чем скромное ложе, приходит мысль, что нет на свете такой власти, которая могла бы победить этого человека.

КАК ЗАЩИЩАЮТ КОРАН

По-восточному подобрав ноги, полное печали и тоски лицо обратив туда, где, по его мнению, должен находиться город Мекка, на верхних нарах молится Багир-Задэ. Поэт, бывший министр культуры во временном правительстве Иранского Азербайджана, когда-то страстно воевавший против тирании шаха, за соединение иранской части с советским Азербайджаном. После репрессий бежал в Советский Союз, край мечты, но вместо свободы нашел тюрьму. Освободившись из нее, Багир-Задэ стал сочинять антисоветские стихи, пытался вернуться в Иран, за что опять был осужден на 7 лет.

Сегодня Багир-Задэ, вылечившись от политических иллюзий, усердно выполняет обязанности правоверного мусульманина: пять раз в день прославляет Аллаха. Никогда не расстается с изрядно потрепан-

ным экземпляром Корана. Так же усердно выполняет ритуал омовения — постоянно таскает с собой плоскую солдатскую флягу, наполненную водой. Коран — священный предмет, и никакой «нечестивец» не имеет права к нему прикоснуться. Сам Багир-Задэ берет эту книгу, только тщательно вымыв руки, дословно понимая надпись на обложке: «Да не прикасаются к ней неочистившиеся». Исключение изредка делал для меня, изучавшего арабский, и то позволял читать только из его рук.

Сегодня четверг — день политзанятий. В лагерях Хрущева и Брежнева эти занятия — важная часть политики «перевоспитания», обязательная для всех заключенных. Конечно, находятся и такие, которые не только не поддаются «перевоспитанию», но осмеливаются пренебречь даже угрозами администрации. Они отказываются от поощрений — двух дополнительных рублей в ларьке, свидания с родственниками и т. д. Бывают такие, которые прямо отвечают: «Не лезет эта хуйня в голову, начальник!»

Чтение Корана для мусульманина, ясно, важнее политических происков «шейтана». Багир-Задэ поэтому спокойно продолжает читать и не обращает внимания на повторные крики старшего дневального: «Все на политзанятия!» Начальник 7-го отряда капитан Косаткин недоволен числом собравшихся. Тяжело дыша от излишнего веса, он сам обходит бараки, выгоняя увиливающих. Багир-Задэ и на его замечания не обращает внимания. Тогда капитан резким движением выхватывает из рук иранца Коран и уносит с собой...

За столом, проверив пофамильно собравшихся, капитан начинает читать передовицу «Правды». Читает, запинаясь, неправильно расставляя ударения, что вызывает у русских и других грамотных заключенных приглушенные смешки. Кое-как дочитывает и начинает проверять «усвоение». Задает вопросы из текста о

мудрой политике Советского Союза на Кубе и требует ответов в соответствии с выкладками «Правды».

Вдруг сквозь ряды заключенных протискивается Багир-Задэ и дрожащим от возбуждения фальцетом спрашивает начальника, обращаясь к нему без уважения, на «ты». — Где мой Коран? Отдай мой Коран! Капитан Косаткин только машет рукой — не мешай! Багир-Задэ еще пару раз повторяет свой вопрос. Капитан, уже рассердившись, приказывает выйти, не мешать занятиям. — Я тебе покажи, как защищают Коран, — ломая русскую речь, шипит Багир-Задэ. Еще мгновение, и этот тщедушный человек бросает на пол телогрейку и с выставленными кулаками бросается к столу. Капитан бледнеет и, пытаясь избежать удара, падает со стулом назад. — Постой, постой... потом отдам, — выдавливая он в испуге. Но Багир-Задэ не успевает ударить как следует. Председатель совета отряда Лапенко, его заместитель Цыбин хватают нарушителя за спину. Багир-Задэ плюется, лягается, но более сильные руки сжимают и держат его, пока, кем-то вызванный, появляется надзиратель. «За попытку сорвать политзанятия» бедного мусульманина водворяют на 7 суток в ШИЗО. Вернувшись оттуда, он все же получает обратно свой Коран и чувствует себя победителем.

Во времена хрущевской «либерализации» в лагере можно было получать периодику из стран «народной демократии». Однажды попался мне выпуск «Нойе Берлинер Иллюстрирте», в котором было описание поездки по Европе шаха Резы Пехлеви со снимками. Увидев их, Багир-Задэ выпросил у меня портрет шаха и заботливо хранил его вместе с Кораном. Часто глядел на этот образ бывшего тирана, а сейчас, по мнению Багир-Задэ, самого умного правителя, и мечтал получить от него прощение, когда вернется на родину.

Увы, не дождался того дня блудный иранец. Пары ацетона в лакировочном цехе, где он в последнее время работал, окончательно разрушили здоровье. В 1966 году бывшая мятежная душа Багир-Задэ покинула измученное тело и направилась, как он верил, к Аллаху.

Кястутис ЙОКУБИНАС (Kęstutis Jokubynas) — родился в 1930 г. в Литве, в семье крестьян-середняков. В 1947 г. окончил гимназию в гор. Мариямполе (ныне Капсукас) и осенью того же года поступил на историко-филологический факультет Вильнюсского университета, отд. английского языка и литературы. В последних классах гимназии организовал антисоветскую группу, которая издавала подпольный машинописный журнал. После раскрытия этой деятельности, 8 декабря 1947 года был арестован и постановлением Особого Совещания приговорен к 10 г. ИТЛ. Срок отбывал в Интлаге и Минлаге (Коми АССР).

В июне 1954 г. по Указу Президиума Верховного Совета СССР (о несовершеннолетних) освобожден досрочно и направлен в место ссылки родителей (пос. Маклаково, Енисейского р-на, Красноярского края). Работал старшим бухгалтером Управления Маклаковского Лесокомбината.

9 августа 1957 г. был арестован и «за попытку бегства из СССР и антисоветскую агитацию» приговорен к 10 годам лишения свободы. Наказание отбывал в Озерлаге (Иркутская обл.) и Дубровлаге (Мордовская АССР). По окончании срока вернулся в Вильнюс и в июне 1968 г. поступил на работу в Республиканскую научно-техническую библиотеку. До 1974 г. был старшим редактором, позднее — главным библиотекарем. Выполнял переводы и участвовал в составлении нескольких информационных изданий. Одновременно обучался на заочном отделении исторического факультета Вильнюсского университета (специальность — библиотековедение и научная информация), которое закончил в 1974 г.

В Вильнюсе находился под постоянным наблюдением КГБ, несколько раз подвергался допросам и обыскам в связи с участием в подпольной печати и другой правозащитной деятельностью. В 1977 г. эмигрировал в Канаду, где живет его брат. Из Канады переехал в Нью-Йорк и начал работать составителем программ в литовской редакции Радио Свобода там, а позднее — в Мюнхене.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ПОСЕВ»

МАКСИМОВ

Владимир Емельянович

Выдающийся современный русский писатель. Его творчество одухотворено христианским восприятием жизни и любовью к человеку. Его язык богат своей простотой, а художественные образы впечатляют своей доступностью. Даже советская цензура не могла исказить его творчество, и изданные в Советском Союзе произведения пользовались известностью и любовью читателей. Но особенно ярко раскрылся его талант в произведениях, изданных на Западе. Прежде всего, в романе «Семь дней творения» — эпохальном произведении о судьбах России. Этот роман выдержал четыре русских издания и, переведенный на иностранные языки, вышел в 11 иностранных издательствах. Все художественные произведения В. Е. Максимова вошли в его шеститомное собрание сочинений.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

6 томов, в общей сложности 2300 с., в твердых переплетах, с тиснением.
Том I: Сага о Савве (повести, изданные в Советском Союзе и сейчас изъятые из всех библиотек).

Том II: Семь дней творения.

Том III: Карантин (роман, в котором глубокая символика переплетена с реальной жизнью сегодняшней России).

Том IV: Прощание из ниоткуда (романизированная автобиография, передающая богатейшую переживаемыми, событиями и встречами жизнь писателя).

Том V: Жив человек. (Пьесы, пробивавшиеся на сцены театров, несмотря на «крамольные идеи», в них содержащиеся).

Том VI: Ковчег для незваных (роман, написанный уже за границей и показывающий, что эмиграция не нарушила творческих импульсов автора; образ Сталина в этом романе — один из интереснейших в современной русской литературе).

Стоимость всех 6 томов — 180 н. м. Каждого отдельного тома — 30 н. м.

В отдельных изданиях в продаже все произведения автора за исключением «Прощания из ниоткуда» и «Карантина», которые распроданы. Подробности в каталоге издательства, который высылается по первому требованию.

Книги Максимова на русском языке разошлись в количестве 14 тысяч экземпляров. На иностранных языках они вышли в 35 различных изданиях, не считая специальных «клубных», в таких странах, как США, Англия, Западная Германия, Франция, Италия, Испания, Япония, Израиль, Голландия, Норвегия, Швеция и др.

Книги можно приобрести в любом русском книжном магазине или непосредственно в издательстве:

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt a. M. - 80

Литература и время

Василь Барка

ПО ТУ СТОРОНУ БЕЗДНЫ (Трагическая лирика Павло Тычины)

Сын сельского дьячка с Черниговщины, Павло Тычина после духовной семинарии и коммерческого института целиком посвятил себя поэзии. По справедливому мнению некоторых критиков в Чехословакии, Польше и Англии, читающих по-украински, Тычина — один из самых лирических поэтов славянского мира.

Поэт, эссеист, переводчик-полиглот, знаток классических и современных западных языков, в частности — идиша, а также арабского, персидского, грузинского, армянского и других — до двух десятков, академик, специалист по истории литературы, музыкант, владевший десятками инструментов, — Павло Тычина, к сожалению, пошел дорогой политики к ее темным вершинам. Он был орденоносным председателем Верховного Совета УССР в самое тяжелое время всяких культов.

Обзор творчества Тычины и образцы его лирики содержатся в капитальном труде украинского литературоведа Юрия Лавриненко «Расстрелянное Возрождение» (Париж, Библиотека «Культуры», 1959).

Вершины творчества Тычины — его первый сборник «Солнечные кларнеты», 1918 (от этого названия возникло определение «кларнетизм» для неповторимо оригинального стиля П. Тычины); начальные варианты драматической поэмы «Сковорода» — о странствующем философе XVIII века, которая создавалась

в течение всей жизни автора; «Вместо сонетов и октав», 1920; поэма того же времени «В космическом оркестре» (журнальная публикация, 1924); сборник «Ветер с Украины», 1924; «Крымский цикл» (журнальные публикации нескольких последующих лет).

А затем, после сборников «Чернигов», «Партия ведет» и других, — его гений, павший в атмосфере террора до уровня плакатного рифмоплетства, встретил свою духовную смерть.

Ниже мы предлагаем заметки о ранней поэзии Павло Тычины.

«ЗОЛОТОЙ ГОМОН»

Написанная в 1917 году, в период общественного пробуждения, поэма «Золотой гомон» выпевает лирический манифест Тычины: с новыми ценностями современного языка, с закромами музыкальности для стиха — вольным рисунком.

Радость возрождения, после веков неволи, экстатически выговорена в неоглядности видения: нивы неба, храм души человеческой, дороги от всех весей — к Киеву; метафоры вселенской гармонии и литургическая торжественность, живописная тоника самой речи, через отдельные созвучия ведущей к целостной звуковой фреске.

Вначале — основная тема: Киев с ясными хоругвями, Днепр в час праздника, Андрей Первозванный с крестом, «осиянный, в сердце ласкою раненный», выходит из челна, благословляя горы и реку.

Затем проступают мотивы скорбные, полные боли и отчаяния, словно мрачные тени. Два черных гроба и один светлый. Вокруг голодные калеки ползают и тянут скрюченные пальцы, зверя в себе лелеют, намереваясь проклясть солнце. Черная птица прилетела с боя и каркает над всею Украиной. Брат

брату смертью грозит, и предки с ужасом отстраняются.

Прорастает иной мотив: свет и мощь, пробуждение в недрах и выход к солнцу — в стихах, напоминающих партитуру.

Наконец, снова — тема столицы в час праздника и титаническая картина духовного освобождения. Внутреннее состояние и внешняя реальность соединены в мистику пробуждающегося дня.

«Золотой гомон» вырастает в апофеоз Духа, в поэму всепобедности Его животворящего сияния.

Создав православно-идеалистическую концепцию новейшего ренессанса, Тычина увенчал ею освобождение от московско-имперской неправды, состоявшееся между крайними проявлениями света и мрака: в поэме — словно инструментальном полифонизме с жгучими голосами души.

ОДА ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ

К «кларнетическому» периоду относится и дума-ода в честь провозглашения УНР* 22 января 1918 года. Позднее и ода Провозглашения, и небольшая, тематически близкая к ней, слегка футуристическая поэма (на мотив: тремя раструбами фанфар — Шевченко, Уитмен, Верхарн) исчезли с печатных страниц.

Как настоящий бард УНР, Тычина вдохновенными строфами рисует ее праздник: с ангелами, витаю-

* УНР — Украинская Народная Республика, независимое демократическое государство, возникшее на основе свободных выборов. Ленин сначала заключил с УНР мир, но вскоре, с изменением обстоятельств, организовал военное нападение на него (ничем не спровоцированное с украинской стороны), уничтожил украинскую демократию и установил диктаторский тоталитаризм с насильственно поставленным правительством. Подобная же судьба постигла демократические республики на Кавказе.

щими в вышине, колоколами Софии и знаменами, массой народа и войсковой лавой, присягой и пением шевченковского «Завещания». Политической теме сопутствует подлинный энтузиазм — позднейшие произведения, наполненные славословием краснопартийному царизму, останутся формальной тенью прежней лирики самостийника, без искреннего подъема, лишь с чередованием трафаретов.

Например, образ солнца стал признаком «вождя», и рифмованное пресмыкательство перед тронем достигло уровня, о котором не мечтали и старые эквилибристы Востока. В 1918 году солнце сохраняло естественную роль в стихах Тычины, озаряя народные знамена.

Тычина писал свободно — то, что было на сердце. Однако, абсолютный лирик, эту думу с политической темой, необычайно отрадной, он не взрастил таинственно в глубинах души, как собственно «кларнетические» стихи того времени. Страсть и жар временами «техничны» в исполнении: не хватает тайны, иррациональных глубин, когда сама поэзия выпевается наново, как в «Золотом гомоне», тоже посвященном государственному и духовному рассвету народа.

Однако дума-ода в честь Провозглашения сохраняет первостепенную историко-литературную ценность как свидетельство о поворотном событии: открыты двери в грядущее, полное борьбы, в которой народ отвоюет ключи своих судеб.

БУДЕТЛЯНСТВО И «КЛАРНЕТИЗМ»

Футуризм был явлен дважды и по-разному: «велимирной» ролью Хлебникова и знаменосностью Маяковского.

Группа «Гилея», по определению Вольпе, составляла «ядро футуристического движения до 1914 года».

Ее вдохновила выставка современной живописи, привезенной из Парижа, в которой искателям открылась «героическая эстетика». Колыбелью группы стала обитель Бурлюков в Причерноморье; от праисточников «история создавалась наново», — писал Лившиц. Древняя Гилея приобретала «значение символа».

Подо льдом империи тронулось подводное обновление, родник которого таился в духовных недрах с отблесками старины: в Таврии и на Левобережье, с его незримым наследием Востока; на киевско-черниговских просторах, памятующих достижения христианской государственности; в западных краях, с их почти кельтской энергией и последовательностью. Отход лирики от многих формальных ограничений стал неизбежен. Он полно осуществился в «кларнетизме», в его чудесной универсальности мировоззрения и стиля, к которой сквозь противоречия развития стремились все, а особенно Гоголь.

Гоголь как поэт сделал решающий шаг: от зачарованности «русалочьим языком» наших повестей он, «как подсолнух, повернулся к Господу всеми листками души» (Хлебников). Гоголь-художник пришел к вселенскости христианского света и наметил дорогу современникам. Автор «Кобзаря» завещал: «Наш Гоголь — истинный провидец сердца человеческого! Мудрейший философ и возвышеннейший поэт должен благовествовать перед ним!» Два земляка сотворили зеркало эпохи.

Вослед пошел Тычина-кларнетист; при всей зачарованности «русалочьим языком», который у него получил самоцветную красоту и эллинскую гармонию, он внес в изображение вселенной торжественность литургии. В его лирике, словно из рассветной росы, — искры солнца, более устойчивые, чем отсвет футуристического вулкана.

К футуристам в целом Тычина не природнился — будетлянство же обминуть не мог. Это с досадой

отмечал С. Ефремов, вспоминая тычиновские неологизмы как необязательную стилистическую дань, без перепахивания языковых пластов.

Тычина скорее ближе к символистам, в частности к Белому, автору «Симфоний». Однако «кларнетизм» многим отличается от символистской симфоники ницшеанского потока в прозе; в частности — «истовостью» (термин Хлебникова, для которого «чары слова, даже непонятного, остаются чарами и не утрачивают своего могущества...»). То, что Хлебников называл «персидско-гафизской упоенностью словесными кущами в чистоте их цветов», раскрылось в песенности и картинности кларнетизма: «Тополі арфи гнуть / обсіпалась душа твоя / вранішня вишня»; «полум'я квіток»; «ой, там зірка десь впала, як згадка»; «спустила хмара на луги / мережані подолки»; «чорнобривий день»; «звучить земля, / як орган».

Действие в кругу метафор чаще всего сохраняет предельную ясность мысли. Но чары стихов рождаются из «упоенности» образами, невозможными в рамках привычной логики. Не перепахивая почву семантики, Тычина приближается к «Индии слова», которую имел в виду зодчий будетлянства. Временами Хлебников и Тычина работают локоть к локтю над старославянскими залежами языка или над музыкальностью лирики.

Хлебников достаточно случайно сошелся с футуристами, однако «будетлянином» был закономерно и в большей мере, нежели все тогдашние русские поэты. В его гении взлет над логикой и чудачество — как бы от тихого юродства, которое некогда, звеня веригами и светя голыми плечами сквозь отрепья, мучилось на снегу, в лютый мороз, босое, у церкви и в искренней безгневности говорило страшные истины царям.

К сожалению, поэзии Хлебникова недостает величайшей силы давних юродивых — веры! У него и несчастье судьбы, и увечность таланта с сокрови-

шами «ведунства», и феноменальная интуиция, внесенная в филологию и в поэтическое творчество; а ко всему этому — еще и надумывание сумашествия и одичания отшельника-эрудита.

Он провозгласил себя: «королем времени Вели-миром I» (как бы основал научно-мифическую династию).

Противоположность ему — Тычина: с солнечной ясностью мысли и чувства, без единой черты маниакального несчастья, без надумывания богоцарственности поэта. Он, наоборот, избегал первенства:

Товариство, яке мені діло,
чи я перший поет, чи ні?

Правда, это одиночество гуманиста было забыто тем, кто воссел на «президентском» кресле СССР, политический вес которого, по иронии судьбы, оказался ничтожным, чисто декоративным.

Но в ранний период далеко было до предчувствия драмы. Тычина жил иноком в монастыре поэзии, с византийскими сводами духовного космоса, наполненном световыми созвучиями. Лирика процвела, как пламенеющая ветвь из костра, над которым — кресты Лавры.

* * *

Футуризм ссорился с красотой классического наследия (за борт!), не понимая значения ее для грядущего, которое сам славил. О начале XX века известный мыслитель вспоминает: «освободительной, революционной роли красоты мы не понимали». То же самое было с футуристами.

Зачеркнув духовную красоту, первый «язык», которым правда будущего откликается нам, создатели футуризма ожидали значения своей поэзии — для

грядущих времен! И они потерпели катастрофу: их установка, при всей одаренности отдельных поэтов (например, Михайло Семенко), была чужда тому самому будущему, о котором они мечтали.

НОВАЯ ВЕТВЬ «КЛАРНЕТИЗМА»

Посвященный Григорию Сковороде сборник «Вместо сонет и октав» появился тогда же, когда и «Плуг» (1920). В обоих есть параллель к некоторым стихам «Солнечных кларнетов» — в апокалипсических настроениях эпохи. Оба отклоняются от первой фазы «кларнетизма»: «Вместо сонетов и октав» еще сохраняет для поэтической мысли мировоззренческую орбиту предыдущих лет — «Плуг» отходит дальше, сбивается к образу «полночи-севера»*.

Известный проповедник епископ Ф. Шин в эссе «Архитектура и куртуазность» заметил, что орнамент — это особый символизм, указывающий на иной мир. Многомерная орнаментальность языка расцветает в сборниках Тычины, хотя жестокость революции врывается с полночи-севера, разрушая жизнь; еще не отдает сердце того, что любит, хоть морозные когти раздирают кружево, в котором зримо отсвечивает солнце — с невидимого неба.

Уже в «Плуг», где тоже сохранились, пусть и меньше, наделенные смыслом прикрасы, автор включает стихи, в которых сердце дрогнуло. И сама их «поверхность» временами становится металлически ровной, с отблесками пожара, с тенями фигур с винтовками и кровавыми лентами.

* Украинское слово «север» — «північ» включает в себя и значение «полночь». Для сохранения этого смысла мы переводим «північ» двойным словом. — Прим. пер.

Присвоенное чужое губит истинно ценную красоту и внутренний мир поэта, губит очертания свойственного ему представления о событиях. На путь лирики протопала маршевая колонна из соловьино-разбойничьих лесов, разнося по ветру лозунги ненависти. И полукларнетное освещение возвеличивает их:

Туркоче сонце в деревах,
голубка по карнизу...
Червоно в небо устає
новий псалом залізу.

Но, вопреки коммунистическому мессианству, в «Плуге» еще тверды и звучны тона народной правды: о свободе и ценности отношений личности, души к отчизне, — и перед этим отступают самые щедрые лозунги коллективистов севера. Им противопоставлены и подвиги нашего прошлого — в двух личностях, воплощающих собственную революцию, социальную и духовную.

Кого ж нам на Україну ждати?
— Кармелюк.
— Сковорода.

* * *

Сборник «Вместо сонетов и октав» стоит между чистой лирикой (например, вступление — сонет, сокращенный на одну строку в каждой строфе) и острой инвективной. Построение словно идет от партий хора греческой трагедии. Но выразитель народной мысли и взгляда поэта уже не хор — сам поэт эхом откликается лихолетью, творящемуся вокруг, в трагическом спектакле жизни.

Все время попарно идут: обращение, или «стихи» в прозе, по-разному называемые, и постоянная антистрофа к ним.

Проза-стих — это чаще всего этюд современности, жуткая страничка ее, грубая бытовая сценка, которая разрушает привычные понятия человечности и закон. В антистрофе мысль с глубокой скорбью движется к общему выводу, сопоставляя религиозно-философские истины с действительностью. Иногда поэт отступает от правила: в обращении автор касается морали или политики, а в антистрофе дает набросок отчаянного существования.

Отказавшись от канонической строфики (прежде всего вершинной — в сонете и октаве), Тычина одновременно противопоставляет традиционным темам и возвышенному воспеванию их — ужасную повседневность революции на самых ее низинах. Он провозглашает «прокляття всім, хто звіром став! / Замість сонетів і октав».

Сквозь лирико-символический рисунок ясно звучит резкое осуждение современного одичания, идущего от самого естества красной выюги...

Этот сборник — образец совершенного лаконизма, с предельной «злободневностью» мыслей. Он весь горько иронизирует над событиями, а возмущение выражено воистину «штыковыми» словами.

* * *

Слово о печали — давнее в нашей лирике. С нескáзанной болью, после схимнических скорбей средних веков, напоминая латинскую прозу Петрарки, звучит она у Сковороды, в XIX песне «Сада»:

Ах ти тоска проклята! о докучлива печаль!

Гризеш мене ізмлада, как моль плаття, как ржа сталь.

Ах ти скука! ах ти мука! люта мука!

Пламенем разгорается скорбь и в «Кобзаре», в картинах современного греха и неправды новейших иродов, возглашенная с такой мощью, как когда-то у монаха Ивана Вишенского, выкрикнувшего: «О, земле запустілая і зарослая тернієм безвір'я і безбожія... Плачте боголюбці і стогніте...» Там, где даже не употреблял инок Иван слова «печаль», «тоска» или «мука», чувство его — безмерная скорбь при виде омерзения и греховности его времени, поддавшегося искушению «дьявола-миродержца».

Та же мощь скорби породила Шевченковские стихи — перед лицом имперского греха. Его «печаль» горит почти как отчаяние, но все-таки не одолевает пророчьего сердца.

Унаследовав мотив скорби, Тычина музыкальностью смягчает боль и перебивает ее, замыкает в мастерские повторы, сдержанно, по-крестьянски выражает ее, сосредоточенно вслушиваясь в звукоряды.

В разгар гражданской войны, в 1919 году, когда русские с русскими грызлись по степям и сама Украина, кроме битвы против них, охватилась усобицей, виновницей поражения, а над всем этим, естественно, возвышался красный террор, — Тычина записал:

Велика ідея потребує жертв. Але хіба то є
жертва, коли звір звіра їсть?

Силы, раздробленные до последнего, гибли в самоубийственном пожарище. Приведенные слова сегодня звучат тревожно, как и тогда. Всем, кто поглощен смертельной ссорой и воспеванием ее, Тычина сказал:

Жорстокий естетизме! — й коли ти перестанеш
любувати з перерізаного горла?

Видимо, наиболее устойчивое у нас — арена усобицы, неудержимой вражды, даже если истоки ее иссохли. Романтизируются различия и поводы для

отвращения, с уверенностью в праве на превосходство, без намека на компромисс, словно он — грех. От несогласия всех иных групп или лиц на чужие требования бурлит непрерывный раздор. При таких качествах вождей, как ум, отвага, деловитость, патриотизм, при достижениях единиц и сообществ, каждый, обладая самым верным направлением и подпадая под проклятие усобицы, невольно расстраивает дело в его целостности.

Когда-то автор «Слова о полку» сказал всю правду о несчастье, которое с тех пор развилось в историческую болезнь.

* * *

Укоряя людей в том, что они скоры проливать кровь, карая за провинности, Владимир Мономах напоминал: «Господь наш, владеячи и жизнью и смертию, согрешения наши сверх головы нашей терпит».

Основа мировоззрения Мономаха — заповедь милосердия. На формально «воинственный» взгляд, она могла размагничивать, на самом же деле — наоборот: битвы, руководимые государственными мужами, верившими в милосердие Христово, были победными: при Ярославе Мудром, Сагайдачном. В том же слава Сечи, поклонявшейся Пресвятому Покрову.

Вера в небо Христово воодушевляет тысячелетнее миросозерцание словесности. Сборник Тычины звучит в унисон «Поучению» Мономаха и писаниям Сковороды, даже когда поэт отступает от веры.

Описание гармонии мироздания в «Поучении» словно предваряет песни Сковороды и лирику Тычины: «...как небо устроено, или как солнце либо месяц, или как звезды, и тьма и свет, и земля на водах положена, Господи, Твоим промыслом!» Ощущение чуда — будто в кларнетизме.

Силой милосердия и самопожертвования завоевывается самая большая победа над зверским в людях; прежде всего при семейных торжествах, хранительница которых — мать; недаром обращение к ней многократно повторено. Как и в «Кобзаре», основная идея: «Будьте люди!» — проходит в разнородности образов, как огненной нитью пронизывая цикл.

Возвешение общечеловеческого у Тычины — не уход в абстракцию от горькой повседневности, где страдают люди. Нет, он выражает неизбежную потребность обуздать усобицу — причину губительной неурядицы. «Вместо сонетов и октав» — последняя в те времена и отчаянная попытка гения в нашей лирике: предостеречь и усовестить, чтобы опомнились; обратиться к самому заветному семейному воспоминанию. Поставить одних перед другими, чтобы посмотрели друг другу в глаза; затронуть словами, источающими слезы и кровь; пробудить добрые чувства, заваленные обломками душевных руин жизни каждого.

«Вместо сонетов и октав» — высочайший манифест человеческой личности, которая тогда воплощала в себе совесть нации.

* * *

Арнольд Тойнби писал: «Мы находим основы нашей западной веры в индивидуальных правах человека, если последовательно прослеживаем эту веру до ее исторических истоков. Исторически она происходит от иудаизма, по которому души людские созданы Богом и имеют *высшую ценность в Его глазах* (выделено мной. — В. Б.), и от дополнительной христианской веры в то, что Бог проявил Свою любовь к человеческим душам, искупив их в высшем подвиге самопожертвования».

Это (исключая неточность слова «дополнительной») — определение того, в чем христианский Запад расходится с силами красного «социотизма» с его эрзацем религии — культом бездуховного прогресса.

Запад, в высших проявлениях, не сводит литературу к службе при политике, оставляя ее на страже индивидуальности с ее правами — души как ценности вечной, высшей на земле. Старый русский знаток Запада заметил: там общество имеет много способов свободного выражения и поэтому — «не для чего брать себе в прислуги художественную литературу».

Из левацкого крыла русской мысли XIX века просочился в литературу Украины взгляд, возникший из экзистенцистской концепции жизни. Он чужд первопривзванию искусства, которое, не отказываясь от подвига во имя свободы, лучшей жизни, справедливости, мира, прежде всего держит путь на Вифлеемскую звезду.

У нас начался спад могучего вдохновения из-за неверного баланса ценностей. Литература мельчала, теряя великие духовные формы и факторы творчества.

Тычина обновил подлинные первоисточники поэзии и именно поэтому осветил общественную тему благословенно, как и не мечталось позитивистам и тем, кто чужим умом крепок.

Стихотворение «Высшая сила» (сб. «Вместо сонетов и октав») скупое высвечивает философскую «кровлю» — универсализм Тычины, где правда национального освобождения соединена с идеями христианской культуры и противопоставлена движению, расстрелами мстящему за противоположные убеждения.

Отказ от мести, братское прощение — идеальный образ кларнетизма, световой фокус его содержания. Отсюда — обращение к Высшей силе, от которой «добрело небо» и над городом «огромный рояль играл», провозглашая Светлое Воскресенье жизни. Против безумия-братоубийства приходит мощь —

добрая, полная духовной красоты, выявляющей себя в музыке, без которой социализм «никакими пушками не установить».

Между двумя предложениями о музыке: «Молосье не одному лишь Духу — но и не материи». В этом поэтическом монизме — продолжение образа солнечных кларнетов, панмузыкальной мощи, явленной в световой гармонии, хотя теперь она приглушена и вся световая аккордность потонула в вооруженной метели. Кумир самоценной эстетики полупомерк и полумонемел.

Но и потеряв экстаз первого сборника, кларнетизм сохраняется как жизненная «мера вещей» мира сего.



Мотив вражды между братьями был постоянным уже в «Золотом гомоне». Когда писался сборник «Вместо сонетов и октав», озверелая вражда разрослась в хищничество и уничтожение всех, кто против нее. В сумраке слышен мрачный окрик: «Одевайся на расстрел!»

Стихи Тычины противостоят лагерю, который пушечно внедряет «перестройку» — насилие во имя призрака. Поэт осудил всякую бесчеловечность, особенно — красную, ибо она превратила террор в адскую систему и даже во сне преследует души. Тщетно!

Путь к лучшему будущему лежит через Светлое Воскресение каждой души. В аллегорическую апологию музыки, противопоставленной пушечности, Тычина вплел высшую идею возрождения — идею о праве души на не контролируемый вооруженными лагерями отчет перед Высшей Силой; он славил эту идею как противницу коммунистической, пришедшей с полночи-севера и вцепившейся жадными до власти

когтями в святая святых духовного мира личности.

Последующие десятилетия засвидетельствовали: отступив от Евангелия, бессилён был Тычина, как и его западные единомышленники, устоять на почве гуманизма и дать настоящую отповедь «мутным чарам» коммунистических искусителей.

«Гуманисты без неба» попали в духовный плен и оказались в кризисе бездорожья.

Вместо культуротворящей деятельности, из перетряхивания империи с самого начала полезла красная татарщина: «комячейки», «ревкомы», «совдепы», весь чудовищный гротеск, где жестокость находила особый жаргон, будто язык бюрократически-душегубного символизма. Она перебродила в пафос партийно-чиновничьего деспотизма, через ликвидацию прав личности, добытых за столетие, начиная от декабристов.

«Действо» коммуны отрицается Тычиной, который утверждает противоположную концепцию: человек — сокровище мира. Поэтому:

Революція єсть трагічна лірика...

Пожарные кулисы полночно-северной «драмы» обвалились на Украину, и вот уже готово обвинение: вы — «контрреволюционеры».

Об оправдании зла высокой целью говорится в другом стихотворении, где под плакатом «Бей саботажника!» протягивают руку голодные старухи. Тычина пишет об этом с резкостью и горечью, вслед за Достоевским, который не соглашался на счастье, построенное на безвинной крови и тем заранее осужденное стать грядущим несчастьем.

Плакаты часто хулили «гидру», но гидрой обернулась революция для неисчислимых жертв, бессудно казнённых по случайному подозрению и не реабилитированных до сих пор.

Молочка! — плаче дитина, а тут же й хліба
за душею нема.
Хто скаже: що єсть контрреволюція?

Эти строки — пророческие: Октябрь открылся как пожиратель детей, при всем его «детолюбивом» гриме. Миллионы малых сих погублены за годы его «пира» (1918-22), еще миллионы — во времена ликвидации крестьянства и в годы голода на Украине (1932-33) и на Кубани (1933-34), коварно организованного; в уничтожении целых народов (1944-46) и в позднейших разорах.

Неизвестно, чтобы хоть раз коммунизм пожалел кого-нибудь из несметного числа невинных ради их детей, наоборот, он годами очернял детей, мстил безответным за свое преступление против их отцов и, наконец, тоже уничтожал.

Догадка поэта, что первейший «контрреволюционер» — это голодное дитя, выросла в символ безмерного трагизма.

* *
 *

Образная система сборника не подогнана ни под какие стилистические рамки. Верность ее — выше понятий о «реализме» и представляет собой ценность, известную поэзии задолго до появления всяких «измов». Сборник Тычины, по существу, далек от контрреволюционности в виде «жупела» и в смысле «крамолы» — идя от жизненного горя, поэзия отразила явление в самой его сути.

Образ мира еще не утратил для человека духовной природы своей, не сдвинулся со своего средоточия, где, кажется, надмирный голубь прилетает к святыне укреплять ее световою силой, — он близок к правдивости вековых молитв и песен. Не обеднел еще

образ и не приземлился на мертвые линии, прочерченные материалистической книжностью, что тужилась объяснить мир через кружева бездуховных абстракций, отводя мысль от самого истинного.

Еще воистину «избранные» слова вызревали из чувства, как плод, и, сжавшись до чистых зерен, заключали в себе весь смысл живого вырастания, полного боли.

ГОЛОВОНОГ, ГАСЯЩИЙ ДУШИ

Обрядив события в лирическую одежду, окутав их разговорами и раздумьями, Тычина определил самое горькое в тогдашней общественной мысли — конфликт между личностью и чужой силой, люто спянной в государство под видом нации.

Вспомним горький анализ в «Национализме» Р. Тагора: «Я ценю и люблю англичан как людей. Они дали миру много мужей великого сердца, великих теоретиков и практиков. Они дали великую литературу. (...) Как нация же — это для нас густой удушливый туман, что застилает и само солнце». При этом Тагор оговаривает, что английская система правления принадлежит к лучшим.

Уважения заслуживают личности россиян, целые их плеяды: композиторы и ученые, религиозные мыслители и писатели, без которых литература новейшего времени не ведала бы самого важного в освещении бездонной глубины душевной жизни; естественники, философы, историки, языковеды, артисты, художники — множество чудесных личностей пришло в мировое творчество, принеся благородные черты национального характера, совершая подвиги на дело всего человечества. Это личности великого народа, вне связи с государственной машиной.

Однако вспомним Достоевского: он сложил вещи слова об аллегорической гоголевской «тройке»: она «несется стремглав» и, возможно, к гибели «в бешеной беспардонной скачке», от нее шарахаются «совсем не от уважения», а «от страха, а возможно, и от омерзения»; наконец, встанут стеной и остановят «сумашедшую скачку нашей разнузданности, высматривая спасение себе, просвещению и цивилизации».

Вскочив в Украину «тройкою»: эркапе, совдеп, чека, — красная имперщина внедрила убийство как норму, как исторически оправданное деяние, без оглядки на невинность человека, на его семью, на его право добиваться куска хлеба, хранить свою истину, волю, веру; без оглядки на сущность человека, жизнь которого должна опираться на этику.

Всюду расклеен рисунок: «человек человека закалывает».

Упраздняя извечные основы морали, красная машина вселяет свое крикливое «содержание», в котором нет человечности, ибо она вытеснена той, по определению Тагора, подобной головноугу, «абстрактной властью, распространяющей свои присоски во все стороны и даже в далекое будущее». Краснопартийный царизм низвергает души схваченных народов и гасит их духовный свет, заменяя призраками — лишь бы господствовать.

На юге коммуна — как концепция — терпит поражение, побеждает же силой северных штыков. И сердца своих «мавров» рушит в кладбищенские руины.

Тычина предсказывал, что революция, принесенная с севера, на свой стандарт перештамповывая души, вызовет гибель добрых чувств человеческих и люди нравами приблизятся к хищникам.

Одновременно в Индии поэт, уже упоминавшийся нами, заметил о человеке: этот «современный продукт» до такой степени отмечен «печатью фабричного производства, что Создателю нашему не легко будет

признать... существо духовное, существо, созданное Им по Своему образу и подобию».

С разных сторон современности изменения совершились в одном направлении: угасания человеческой души.

Сборник «Вместо сонетов и октав», тоненькая книжечка, как манифест украинской идеи гуманитарной революции больше весит на весах правды Божьей и человеческой, чем все стотомные шкафы произведений так называемых «классиков» марксизма и людоморства — тех самых, читать которые Есенин справедливо не желал «ни при какой погоде».

Грати Скрябіна тюремним наглядачам — це ще не є революція.

По представлениям тогдашнего Тычины, автократизм как раз и есть страшная *контрреволюция* против жизни души, требующей музыки как соединения с гармонической и чудесной красотой правды Всевышнего. Вместо этого, лишившись правды и замкнув жизнь тюремщиной, исполняют симфонию «Прометей» надзирателям. Да если бы даже и узники услышали, более того, по приказу тюремщиков бросились бы слушать, — их действительностью останется неволя!

Отнимая истину и свободу, автократизм не переосуществит и не повернет жизнь в свое русло навсегда — он ей чужд, хоть и подстраивается.

Орел, Тризубец, Серп и Молот... Ї кожне виступає як своє.

Что наши «самоотверженные» служили не под своими созвездиями — это известно. И все-таки Трезубец остался что ни на есть своим для большинства: об этом свидетельствует, между прочим, и «твердокаменный» антинационалист М. Скрипник, в то время друг Ленина и адепт северной революции для Украи-

ны: «Вообще интеллигенция — особенно сельская, мелкая интеллигенция, а также крестьянство и мещанство и даже довольно широкие слои рабочих — все это *большинство местного населения Украины* (выделено мной. — В. Б.) с первых шагов революции было под нарастающим влиянием разных партий социал-патриотизма украинской окраски». М. Скрипник отметил также, что это всенародное движение было силой по-настоящему революционной.

Хоть шел Трезубец как свой, в своем суверенном праве, но пришло поражение, ибо разноимперские лагеря в вооруженной усобице сошлись к красному знаменателю — украинские же дробились беспрерывно.

Мало того — разрушена наибольшая ценность. О ней Тычина пишет:

Своє ж рушниця в нас убила.
Своє на дні душі лежить.

Как мать посреди мостовой, с простреленной грудью, — в руке полфунта хлеба для ребенка, заждавшегося у окна.

Убили человечность — от этого распад и поражение на долгий исторический период; поэтому в последней фразе заключительного стихотворения сборника «Вместо сонетов и октав» Тычина с мертвецкой усмешкой, под которую спрятал незаживающую душевную рану, вслух задумывается: а не поцеловать ли и ему туфлю красного «папы»?

Ему казалось: все окончено, раз убили свое сердце. Вместо Парсифаля выбрали куколь. У гробницы народной правды жизни нет, лишь несколько теней, не имеющих исторического значения.

Он ошибся, ибо силы грядущего зреют.

А красная туфля, которую он поцеловал, таила в ткани отраву, что проникла в него, вызвала духовный паралич и умертвила орфические струны в сердце.

*Сокращенный перевод с украинского
Татьяны Житниковой*

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Почетный директор Зинаида Шаховская

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	45	85	150
Заграница	54	95	170
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн.			
Америка, Южн. и			
Центр. Африка	76	140	250
Сев. Африка,			
Греция, Турция,			
СССР	56	102	190
Иран	64	118	215
Австралия, Китай,			
Япония	95	180	340

Литературный архив

ЛИСТКИ ИЗ АЛЬБОМА

Публикация Л. Черткова

В отделе манускриптов Парижской Национальной Библиотеки хранится альбом, принадлежавший сотруднице известного издательства З. И. Гржебина — Надежде Александровне Залшупиной (Даниловой). Альбом этот, начатый в годы первой мировой войны в Петрограде и ведшийся в 20-30-е годы в эмиграции — в Варшаве, в Берлине и в Париже, — содержит много стихотворений, записей и рисунков, принадлежащих видным деятелям культуры этих лет. В большинстве эти автографы никогда не публиковались. Среди участников его мы встречаем такие имена, как Б. Пастернак (стихотворение «Gleisdreieck»), В. Ходасевич («Большие флаги над эстрадой»), Ф. Сологуб («Бога милого крылатого»), А. Белый, Н. Минский, А. Ремизов, Б. Зайцев, Б. Пильняк, Л. Рейснер, О. Л. д'Ор, Анат. Каменский, С. Нельдихен, Г. Адамович, Р. Блох и другие. Среди иностранных писателей — немецкий поэт Oskar Loerke, французский прозаик Henry Poulaille.

Записи перемежаются рисунками таких мастеров, как Д. Митрохин, Б. Григорьев, Н. Альтман, Ю. Анненков, В. Масютин, И. Пуни.

Мы публикуем здесь некоторые неизвестные ранее стихотворения и записи. Вначале — из петроградского периода.

Не очень значительные вещи А. Ахматовой и Н. Гумилева, в чем-то, однако, дополняющие их облик:

Отлетела от меня удача,
Поглядела взглядом ястребиным
На лицо, померкшее от плача,
И на рану, ставшую рубином
На груди моей.

Анна Ахматова, 1921 г.

ЭКСПРОМТ

Надежда
Александровна!
Она,
как прежде
Саламандра, мне
Дана.

Н. Гумилев

Стихотворение близко связанного с ними издателя
журнала «Гиперборей», впоследствии знаменитого
переводчика Михаила Лозинского:

Так много милого и сердцу не снести
Счастливой памятью накопленного груза,
И стала слабая, на пламенном пути,
И просит слепоты, и просит ночи Муза.

Да. Можно всё убить. Но был крылатый час,
Когда над юностью бессмертье пролетело.
Пусть день отверженный уже давно погас,
Пусть в ризах вечера уже светлеет тело.

Когда оно уснет во прахе черных лет
И будет, страшное, к истлению готово,

В замершие глаза все тот же хлынет свет,
Все тот же царственный, неодолимый бред
Пустынной площади и ветра золотого.

М. Лозинский, 1921 г.

Откровенно альбомное, но не лишенное лиризма
«прощальное» стихотворение М. Кузмина:

Ведут веселые дороги
И на Берлин и на Париж,
Но от любви и от тревоги
Ведь все равно не убежишь!

Вот отправляется Надина!
Всего! Махнете Вы платком...
Прости привычная картина:
«Петрополь», на Бассейной дом.

Любезны ль будут иностранцы?
Найдете ль блеск иль тусклый мрак?
Счастливей всех счастливых станций,
Поверьте мне, — счастливый брак.

Михаил Кузмин, 15 августа 1921 г.

С оптимистическим тоном этого «прощания»,
однако, контрастируют стихи, написанные в эмигра-
ции. Например, это:

Зеленою кровью дубов и могильной травы
Когда-нибудь станет любовников теплая кровь,
И ветер, что им шелестел при разлуке: «увы»,
«Увы!» — прошумит над другими влюбленными вновь.

Прекрасное тело смешается с горстью песка
И слезы в родной океан возвратятся назад...

— Моя дорогая, над нами летят облака,
Звезда зеленеет и черные ветки шумят.

Зачем же тогда веселее земное вино
И женские губы целуют хмельней и нежней
При мысли, что даже и нам посетить суждено
Холодную область беспамятных бледных теней?

Георгий Иванов, 1 марта 1921 г.

Вот еще стихотворение забытого, но своеобразного Петра Потемкина, одного из главных участников журнала «Сатирикон», но вместе с тем поэта подлинно лирической ноты, чьи стихи до сих пор, к сожалению, остаются несобранными:

Ну, да, живу! По каплям дни
Текут в бадью пустой надежды,
И нету праздничной одежды
Для тех, кто, как и мы, одни.

Есть солнце, но оно не наше,
Есть ветер, но не ласков он...
Один охрипший граммофон
Кудахчет, и под хрип и стон
Вся жизнь вокруг руками машет.

И место действия — Москва,
И время — девятьсот двадцатый...
Ах, если б о косяк проклятый
Хватилась насмерть голова!

П. Потемкин, Берлин, 14 ноября 1922 г.

И вот еще несколько записей:

Нигде не говорят так много о любви к человеку, как у нас, на Руси, и нигде не мучают человека так гадко и сладострастно, как у нас, на Руси.

Максим Горький. 25. XII. 1922.

Сто пятьдесят два миллиона и ни одного Наполеона.

К. Миклашевский, август 1921 г.

Запись известного немецкого писателя Якоба Вассермана, автора знаменитого романа «Каспар Гаузер», но также и интересных новелл о России времен Александра I:

Den russischen Dingen fern,
den russischen Seelen nah.

Jakob Wassermann, November 1922.

(«Русским делам далек, русским душам близок»).

И наконец:

Большое и сердечное спасибо Вам, дорогая Надежда Александровна, что и меня пустили в Ваш исторический альбом. Очень Вас благодарю, очень!

Ваш К. Мочульский, 13. XI. 1924.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ПОСЕВ»

МАКСИМОВ
Владимир Емельянович

САГА О НОСОРОГАХ

Сборник публицистических произведений В. Е. Максимова. Состоит из двух частей. В первой части — памфлет «Сага о носорогах» и ответ на ту «бурю», которую этот памфлет вызвал. Клеветники и ненавистники России, «прогрессивные интеллигенты», закрывающие глаза на преступления коммунистов, «мостостроители», идущие по пути «разрядки» к капитуляции, люди с атрофированным чувством Добра и Зла, наконец те, кто не воспринимает судьбоносность наших дней, — все обрушились на автора. У Максимова-публициста темпераментное и злое перо. И это только обостряет столкновение. В более спокойной второй части, посвященной, однако, той же тематике, содержатся статьи и выступления автора как в Москве, так и в эмиграции. Они отличаются искренностью и непримиримостью, что в сочетании с публицистическим талантом Максимова доставляет огромное удовольствие читающему.

Карманный формат. 256 с. С фотографиями.
Цена — 25 н.м.

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt a. M. - 80

Автор помещенной в № 30 «Континента» заметки «Красота есть природа жизни» (раздел «По страницам журналов») — М. Вайнштейн. Фамилия его выпала по досадному недоразумению, за что приносим извинения и автору, и читателям. — Р е д.

Наша почта

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В ЖУРНАЛ «КОНТИНЕНТ»

Уважаемая редакция!

Жажда написать вам вызвана двумя, лишь на первый взгляд противоречивыми чувствами: любовью к журналу, его направлению, его основным авторам — и возмущением...

Вы назвали журнал «литературным» и «религиозным», в вашей редколлегии — и серьезные писатели и верующие христиане, в том числе православный священник и архиепископ. Но не только благожелательное обсуждение вопроса об употребимости мата в литературе, но и сам мат — не редкость на страницах «Континента».

Этот диссонанс — духовные статьи, свидетельства подвижников правды, серьезнейшая политика и площадной мат — оглушил нас при чтении 27 номера (хотя и в предыдущих номерах встречалось то же самое). В. Аксенов считает, что «мат может обогатить произведение, может и разрушить. Это зависит от чувства меры и от разных других причин, еще не выясненных теорией прозы». В. Рыбаков бесстрастно констатирует: «А русская литература вообще еще не привыкла к мату, хотя попытки его использовать предпринимались уже нашими классиками. Также немногим писателям удавалось, особенно в христианских странах, не превращать любовный акт между мужчиной и женщиной в порнографию».

Первое, чем, наверно, можно ответить на наше «ханжеское» возмущение вашей терпимостью — это утверждением бесцензурного, свободного стиля зару-

бежной литературы, предполагающей и эксперимент и широкий спектр дискуссий... Нас легко уличить в узости и в столь привычном советскому человеку «комплексе цензуры».

И мы бы, априори приняв эти упреки, не писали бы вам, если бы не видели, что «Континент» не только хранит память о ценностях русской культуры, но и развивает ее, кроме того, — утверждает и религиозные ценности.

В терпимости редакции мы видим некритическое усвоение западного идеала «свободного творчества», отсюда, естественно, и чисто теоретический подход (с позиций «теории прозы») к этим «явлениям». Русская же культура, заквашенная христианским видением человека, при всех сомнительных «опытах» потому «еще и не привыкла к мату», что выработала не просто реалистически трезвое изображение человека, но всегда помнила об этической ответственности писателя. И проблема здесь не в «теории прозы», а в духовности, в этике и писателя, и читателя. «Не то оскверняет человека, что входит в него извне...»

Вторжение мата в современную русскую литературу внешне вызвано, скорее всего, стремлением точнее и без прикрас отразить окружающую нас «счастливую» реальность: уличное сквернословие юнцов и шпаны, «домашний язык» пролетариев, модный в богеме и образованщине «матерок». А внутренне — это свидетельство глубинных метастаз, проникших из уголовщины через советский бюрократический аппарат (выражающий своим матом «единство с народом») — в самые широкие слои населения, вплоть до «интеллигенции» и нашей бесцензурной письменности. И еще одно достижение у отечественного сквернословия: оно стало интернациональным, объединяющим малые наши народы в «новую историческую общность» — русский мат на языке и узбека, и башкира, и якута...

Подростковой болезнью словоблудия заражено сегодня все наше общество.

И вот свободный *«литературный, религиозный»* журнал лишь «объективно фиксирует» эту страшную нашу болезнь... Объективизм массовой культуры Запада, находящегося сегодня в духовном безволии, несовместим ни с христианскими, ни с общекультурными идеалами: провозглашенный *во имя* человека, он разрушает человека.

Журнал, защищающий, как нам кажется, не только политические права человека, но и его духовное достоинство, обязан быть «необъективным» в этом вопросе.

В конечном счете, есть ведь и другие зарубежные русские издания, не стесненные этико-религиозными идеалами, — не печатая мат и порнографию на своих страницах, вы не нарушите принципов демократии.

В заключение еще раз хочется повторить, что наша пристрастность к «Континенту» вызвана прежде всего чувством единства с основным его кредо. И писать это письмо больно. Но мы верим, что сказанное Владимиром Максимовым в том же 27 номере — не просто фраза: «Воспрянь, духовный человек, и преобрази самого себя. Только так ты преобразишь мир!» Мы верим, что свободная русская интеллигенция действительно сможет утвердить в мировой истории *«путь вверх»*.

*Группа христианской молодежи России
(православные и баптисты)*

Ноябрь, 1981 г.

ФОНД ПОМОЩИ СОВЕТСКИМ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ

Весной 1979 года во Франции создан Фонд помощи советским узникам совести и их семьям (Фонд помощи им. Александра Гинзбурга). Президент Фонда — г-жа Лепренс-Ренге, жена известного ученого, члена Французской Академии и деятеля Европейского федеративного движения Луи Лепренс-Ренге. Вице-президент — г-жа Картан, жена одного из крупнейших французских математиков Анри Картана, известного своей активной деятельностью в защиту советских политзаключенных.

В комитет поддержки Фонда вошли лауреат Нобелевской премии проф. Андре Львов; президент Международной лиги против антисемитизма и расизма Жан-Пьер Блок; известный певец Жорж Брассанс; католический священник, член Французской Академии о. Карре; пастор Андре Дюма; владелица картинных галерей, где часто устраиваются выставки русских художников, Катя Гранова; г-жа Альперн, вдова узника нацистских лагерей, хирурга и члена Французской Академии Бернара Альперна; г-жа Янкелевич, жена философа Владимира Янкелевича; члены Французской Академии (и члены редколлегии «Континента») Эжен Ионеско и Пьер Эмманюэль. До своей кончины в комитет поддержки входил также герой французского Сопротивления протоиерей о. Николай Оболенский.

Александр Гинзбург, после своего освобождения, согласился войти в комитет поддержки Фонда, названного его именем и возникшего под влиянием руководимого им в СССР Фонда Солженицына.

Содержание работы Фонда — отправка продуктовых и вещевых посылок семьям политзаключенных и ссыльным. Первые отправления, в основном, уже достигли адресатов.

Адрес Фонда: F.A.A.G., 95 bd. Jourdain, 75014 Paris.

Деньги для деятельности Фонда просьба посылать на почтовый счет: C.C.P. 8 330 03 U Paris.

МИСТИКА СОЦИАЛИЗМА

Мне кажется, что социализм как идея, как идеология, как, если хотите, социальное или экономическое учение являет собою лишь терминологическое продолжение одного из двух противоборствующих начал, которые составляют и определяют смысл и дух христианской цивилизации вообще. Выражаясь метафорически, первая дискуссия между социализмом и либерализмом отражена уже в Новом Завете: Человеку было предложено Искушителем три фундаментальных соблазна для его последующего бытия — хлеба, чуда и власти, но Человек устами Спасителя отверг их — эти соблазны — и выбрал Свободу, определив ее как непреходящую ценность своего существования.

Но начатая в мистической плоскости дискуссия вылилась затем в истории в непрерывную цепь глобальных потрясений, религиозных расколов, идеологических ересей и революций: во всех этих катаклизмах Человек подсознательно боролся прежде всего с самим собой, со своей смертной плотью и терзавшими ее социальными химерами.

Казалось бы, весь наш предыдущий практический опыт, как на Востоке, так и на Западе, должен был бы навсегда отвратить нас от столь сомнительного эксперимента, ибо ни в радикальной, ни в демократической своей ипостаси он, этот опыт, не принес человечеству ничего, кроме, с одной стороны, слез и крови, а с другой — медленного, но неотвратимого духовного и материального обнищания. Но Человек снова и снова, наподобие животного, пред глазами которого вешают соблазнительную морковку, чтобы заставить его везти воз, пренебрегая любым, самым убедительным опы-

том, устремляется все к той же весьма заманчивой, хотя и недостижимой цели.

В этих своих постоянно повторяющихся заблуждениях теоретики социализма уподобляются, по меткому сравнению русского поэта Наума Коржавина, тем самым авиаконструкторам, которые, построив летательный аппарат, не удосужились изобрести для него соответствующего горючего и при этом удивляются, почему машина не взлетает: им не приходит в голову, что машина не взлетает потому, что она просто-напросто тяжелее воздуха.

Так не пришла ли пора отказаться наконец от бесплодных попыток запустить на орбиту человеческого существования это социологическое перпетуум-мобиле?

Прошу понять меня правильно, я верю в благие намерения теоретиков, снова и снова возобновляющих давно и окончательно провалившийся эксперимент, я верю в искренний порыв людей, готовых стать подопытными пациентами для такого эксперимента, я вместе с ними люблю воздушными замками, которые они строят в своем воображении, но, к сожалению, благими намерениями, как известно, уложена дорога в ад, иллюзии не кормят, а воздушные замки не дают надежной крыши над головой.

Опыт новейшей истории показал, что перераспределение материальных благ не только не решает проблемы смысла и цели человеческого бытия, но и оставляет по-прежнему неразрешенными те же материальные проблемы. Нетерпеливым социальным реформаторам следовало бы раз и навсегда заучить проверенную веками китайскую мудрость: «Когда богатый голодает, бедный умирает с голода». По-русски это звучит еще лапидарнее: «Пока богатый сохнет, бедный сдохнет».

Как это ни парадоксально, многие из тех, кто исповедует социалистическую веру, не хуже меня —

индивида, прошедшего сквозь ее опыт, осознают возможные политические и социальные последствия конечных результатов этого опыта, но — увы! — большинство из таких людей видят себя в будущем ГУЛаге не заключенными, а надзирателями, и это самоощущение компенсирует им предлагаемые издержки эксперимента. Убежден, что в предреволюционной России большинство честолюбивых радикалов утешало себя теми же самыми иллюзиями. Чем это кончилось для них теперь, после Солженицына, общеизвестно: на их костях мелкий и хищный буржуа, переждав время, пока они взаимоуничтожили друг друга, выполз из социального подполья и создал одно из самых бесправных, если не самое бесправное общество в мире, используя социалистическую терминологию только как инструмент управления и власти.

Но, чтобы остаться свободным, человек должен прежде всего осознать, что Свобода — та ценность, во имя которой необходимо, если потребуется, пожертвовать всем, даже жизнью, ибо Свобода, за которую никто не хочет умирать, — обречена.

В современной России горько шутят, что социализм — это та приманка, которую легко проглотить, но очень трудно выплюнуть.

От себя добавлю: попробуем выплюнуть эту приманку сегодня, завтра будет уже поздно, ибо социализм, на мой взгляд, во всех своих ипостасях — это современное олицетворение энтропии человеческого духа и конец Человека в его истории вообще.

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb

8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA**

**Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

Критика и библиография

БУДЕТ ЛИ ВСЕМИРНАЯ КАТАСТРОФА?

Интеллектуальная биография Касториадиса исключительно интересна. Он подростком, еще до войны, вступил в Греческую коммунистическую партию, но вскоре примкнул к ее крайне левой фракции, симпатизируя троцкизму. Однако во время войны, а особенно после нее, растет его недовольство бюрократизированной греческой компартией, и он рвет с ней, примыкая к троцкистскому IV Интернационалу. С 1949 г. Касториадис живет в Париже, издавая небольшой журнал «*Socialisme ou barbarie*» («Социализм или варварство»), вначале являвшийся французским органом IV Интернационала. Но Касториадис начинает ясно видеть все внутреннее противоречия троцкизма, превратившегося, как это ни парадоксально, в небольшую вспомогательную силу сталинизма и защищавшего СССР как «выродившееся рабочее государство», которое, однако, может быть изменено внутрипартийными реформами. После длительной полемики группа «Социализм или варварство» отходит от троцкизма, превратившись в независимую левую группу. Однако и на этом не останавливается внутренняя эволюция Касториадиса. В период 1960—1964 гг. он приходит к выводу о несостоятельности марксизма, в особенности его экономического учения, которое он как экономист подвергает сокрушительной критике. Он видит в марксизме основной источник того, к чему пришли революции в СССР, Китае и других местах. Отход от марксизма не делает Касториадиса контрреволюционером и правым. Он начинает проповедывать немарксистский социализм, согласно которому революция должна сразу привести к уравниванию всех в материальном и социальном положении без каких-либо бюрократических организаций, вроде партии. Рабочие должны сами управлять производством. Целью социализма не является экономический рост, рост материальных благ, рост досуга. Касто-

Cornelius Castoriadis. *Devant la guerre*. Fayard, Paris, 1981.

риадис признаёт, что западные рабочие живут очень зажиточно, но для него революция является категорическим императивом, неким экзистенциальным долгом.

Для него, однако, главное зло мира в настоящее время — это не Запад, а СССР и коммунистический блок. Именно отсюда исходит главная угроза миру и человеческой свободе, в то время как слабый, парализованный Запад не может противостоять советской экспансии. Советский Союз уже добился массового превосходства во всех видах оружия, как обычного, так и ядерного. Касториадис посвящает много места в своей книге подсчетам соотношения оружия массового уничтожения во всем мире, доказывая, что перевес, которого добился СССР, уже необратим. По мнению Касториадиса, вооруженные силы НАТО как таковые могут представить для советских сил лишь очаги сопротивления, в то время как советские танки в течение нескольких дней могут достичь Биаррица.

Касториадис очень низко оценивает уровень западных армий. На возражения тех, кто указывает на многочисленные слабые места советской армии, он отвечает, что дело не в абсолютной силе той или иной армии, а лишь в силе относительной. Кто будет противостоять советской армии? Американская армия, о которой Касториадис очень низкого мнения. Он, однако, отдает себе отчет в том, что в кризисной ситуации США вынуждены будут реагировать, и поскольку перевес в традиционных силах целиком на стороне СССР, у США не будет иного выхода, как прибегнуть к ядерному оружию. Касториадис язвительно отзывается обо всех «моделированиях» будущей войны ввиду полной неизвестности и случайности факторов, которые ее вызовут, и непредсказуемости реакции сторон, припертых к стенке.

«Война, перед которой мы находимся, не будет войной клаузевицкого типа», перевес в ядерном вооружении ничего не стоит, говорит Касториадис. Каждая сторона может уничтожить друг друга многократно. Он крайне презрительно отзывается и о «ядерной независимости» Франции. «В худшем случае, — говорит он, — русские будут знать, что, если они захотят войти во Францию и если Америка проявит к этому равнодушие, то в худшем случае (!) будет уничтожен Харьков».

Чем обуславливается агрессивность СССР? По мнению Касториадиса, советское общество представляет собой «стратократию», т. е. общество, в котором правит армия, к которой Касториадис относит весь военно-промышленный комплекс СССР. По его словам, не имеет никакого значения, находятся ли военные в составе Политбюро или ЦК. Важно одно: советский военно-промышленный комплекс представляет собой такую силу, которая автоматически влияет на все политические решения самым фактом своего существования. Партия же, как полагает Касториадис, давно превратилась лишь в администратора-исполнителя, выполняющего волю «стратократии». Но она уже не является «центром» или «душой силы». В СССР, утверждает Касториадис, нет единой экономики. Там есть две экономики: отсталая, неэффективная гражданская экономика и могущественная, эффективная военная экономика. Весь пафос советской системы направлен на укрепление ее военного потенциала. Как говорит Касториадис, развитие советской экономики — это развитие «грубой силы ради грубой силы». Она развивается иррационально, в силу внутренней инерции. Именно поэтому она хочет захватить весь мир и подчинить его себе. «На службе чего находится эта сила? — спрашивает Касториадис. — На службе ничего, на службе силы как таковой, силы, которая не видит ничего, кроме наращивания себя как силы». Касториадис крайне пессимистически относится к возможности внутренних изменений в СССР. Милитаризация советского общества, говорит он, «не только исключает всякую возможность самореформы, но делает бесконечно малой вероятность ее успеха и даже самого появления... Перспектива внутреннего изменения России, это перспектива: все или ничего».

Тут мы подходим к другому ключевому утверждению Касториадиса. Идеологии в СССР будто бы нет никакой, кроме культа грубой силы. Вся словесная советская идеологическая мишура является лишь искажением и извращением языка. «Представление русского режима как «социалистического» или же имеющего какое-то отношение к социализму — является самой большой мистификацией известной истории». Отсюда он переходит к самому сомнительному своему утверждению: «Единственная 'идеология', которая выжила или может выжить в России, это великорусский шовинизм».

Зэки в ГУЛаге, говорит Касториадис, делали себе на лбу татуировку: «Раб КПСС». Может быть, настало время татуировать на лбу каждого советского гражданина невидимыми чернилами: «Раб Великой Армии и Русской империи». Вместе с тем Касториадис утверждает, что в настоящее время русская «нация» является пустой формой, за исключением того, что она является вместилищем интересов и отталкиваний, отрицательно обращенных против «других». Все традиции в ней, как думает Касториадис, давно уничтожены.

Итак, мы находимся перед книгой Касториадиса как перед фактом большой внутренней силы, которому присущи, однако, серьезные внутренние противоречия — как от недостаточного знакомства с советской или же русской действительностью, так и от стремления во что бы то ни стало реабилитировать слово «социализм», скомпрометированное СССР, коммунизмом и марксизмом.

Его предостережение Западу (вернее, даже оплакивание Запада) звучит с огромной силой и убедительностью. Он ничем не противоречит здесь подобным же предостережениям, исходящим, например, от того же «Континента».

«Коммунистическая идеология» является по сей день главным оправданием советской экспансии и главным средством мобилизации радикальных сил в объектах экспансии. Советская экспансия в Анголе, Мозамбике, Южном Йемене, Эфиопии, Афганистане опиралась, пусть на меньшинство, но все же на внутренние радикальные силы: молодежь, армию, интеллигенцию, желавшие установить у себя тоталитарные режимы, а не просто призвавшие русских, как варягов, править у себя в странах.

«Русский» же национализм в настоящее время проявляется прежде всего в изоляционизме и стремлении сохранить status quo из-за боязни того, что дальнейшая советская экспансия еще более ухудшит демографическое положение русских внутри своей многонациональной страны, и так уже резко ухудшившееся из-за падения рождаемости и роста нерусского населения страны, в особенности, мусульманского. Это не значит, конечно, что нету русских националистов-экспансионистов, преклоняющихся перед грубой силой и не думающих о будущем собственного народа.

Одной из перспектив, которая могла бы остановить советскую экспансию, был бы приход в СССР к власти изо-

ляционистских сил, которые все же в СССР имеются. Но эта перспектива Касториадиса, как революционера, не устроит.

Так или иначе, я ни в коей мере не хотел бы сбавить впечатление от этой книги, обладающей большой внутренней силой, как, впрочем, и от всех идей Касториадиса, высказанных им ранее в других книгах, как, например, «La société bureaucratique» — «Бюрократическое общество» (Christian Bourgois, Paris, 1973). Различия во взглядах, причем очень глубокие, если взять всю его систему мировоззрения: взгляды на исторический процесс, на религию и пр., — должны превращать их анализ не во враждебные нападки, а в выяснение общих ценностей, которые имеются.

Что же касается предсказания Касториадисом ситуации, подобной тому, которую описал Рей Бредбери в «451° по Фаренгейту», где люди, пережившие ядерную войну, по крохам восстанавливают то, что тысячелетиями создавало человечество, мы всегда должны быть к этому готовы, но при этом помнить историю пророка Ионы, предсказывавшего гибель Ниневии, которая все же не произошла. И кто знает, разделит ли наш мир участь Ниневии или же Содома и Гоморры? Касториадис верно говорит о том, что нельзя предсказать ход ядерной войны, но нельзя также с полной уверенностью предсказать и саму ядерную катастрофу. И уж во всяком случае это не избавляет людей от борьбы за то, чтобы эта катастрофа не случилась. Закрадывается, однако, лукавая мысль. Быть может, Касториадис, не веря в реальность революции, возлагает эсхатологические надежды на ядерную катастрофу, которая, наконец, создаст возможность для коренного изменения жизни?

Михаил Агурский

АПОЛОГИЯ АВТОЛОГИИ

Обычно поэты выпускают книги стихов с большей или меньшей периодичностью, и от книги к книге можно про-

Н. Коржавин. Сплетения. «Посев», 1981, Франкфурт.

следить изменение манеры, стиля, видения мира — всего того, что и создает живое и вечно подвижное единство, имеваемое личностью поэта. И поэтому далеко не с первых книжек можно точно сказать — чем этот вот, данный поэт не похож на других, чем с ними связан, то есть что он есть, в чем его единственность.

Итак — кто же есть в поэзии Н. Коржавин, каково его место в сегодняшнем литературном процессе? Место не в смысле выше-ниже, лучше-хуже, а какова она, его собственная поэтическая земля, его остров, не похожий на острова других нынешних русских поэтов? Для ответа прежде всего надо обратиться к заглавию этой статьи и вспомнить полузабытый термин — а в т о л о г и я. «Поэтический словарь» Л. Квятковского определяет автологию, как «употребление в поэтическом произведении слов и выражений в их прямом, непосредственном значении»; далее говорится о том, что метафоричность, обилие эпитетов, ассоциативность мышления — все это явления, противостоящие автологии. «Ищем речи точной и нагой». В основном это верно, особенно если как примеры автологии взять «Графа Нулина» или «Я вас любил, любовь еще быть может / В душе моей угасла не совсем». Более спорным представляется, когда понятие автологии отождествляют с понятием «реализма в поэзии». Тогда эта, я бы сказал, крайняя ветвь поэзии находится наиболее близко к прозе, граничит с ней, а граница эта весьма размытая, и собственно поэтическим явлением в этих произведениях остается лишь их ритмически-музыкальная структура. Вообще можно считать, что реализм, как бы его ни понимать, в принципе чужд поэзии — он область прозы. Так же на противоположном конце нашей условной шкалы можем мы поместить стихи крайне абсурдистские, в которых ассоциативность настолько пунктирна и субъективна, что граничит с чисто музыкальным впечатлением, потерявшим смысл, выражаемый словами. Тут — один шаг дальше, и мы опять за пределами поэзии, ибо вступаем в область музыки вне смысла слов, вне понятий, вне образов, логически доходя до хлебниковского «ляо-ляо». Можно, видимо, считать поэтому, что улица поэзии неширока — это романтизм во всех его разновидностях. По одной стороне улицы — дома. Там живет проза. Порой в них заходят, исчезая с поэтической улицы, Твардовский, к примеру,

или тот же Коржавин. По другую сторону в дома, откуда никогда не звучит Слово, а лишь мелодии, забегают — опять же к примеру, В. Хлебников или А. Волохонский... Вся сложность в том, что ни по той, ни по другой стороне нет четких порогов, что двери в дома расплываются в тумане и, когда именно поэт вышел за пределы поэзии и незаметно для себя ушел в иной вид искусства, определить жестко невозможно. В случае с Н. Коржавиным мне представляются такими «заходами» в область прозы «Московская поэма», «Танька» и некоторые другие совершенно сюжетные вещи, которые по сути представляют собой рассказы или публицистические статьи, лишь ритмом и рифмой напоминающие нам о том, что это — в форме стиха. Итак, Коржавин идет по тротуару, касаясь плечом стен прозы или публицистики, во всяком случае многие его произведения, при всем звучании неназойливых классических ритмов, живут на границе жанра. Но, к счастью, он редко переходит эту границу, которая, как я уже сказал, достаточно размыта...

Сравним два отрывка.

Жить! Слышать рельсов радостные стоны,
Стоять в проходе час, не проходя,
Молчать и думать... И в окне вагона
Пить привкус гари в капельках дождя.

Деталь, брошенная нам в глаза крупным планом, становится символом. Символом чувства, символом настроения, переданного нам прямо, без называния, которое ограничило бы все своими логически-смысловыми рамками, читатель сопереживает, тоже не называя. Это и есть инструмент чистой поэзии. Емкость метафоры, в которой каждый чувствует то же, что другой, но все же сопереживает по-своему, и нет двух читателей, как нет двух личностей, полностью дублирующих друг друга в восприятии этих поэтических строк. А вот другой пример:

Вновь будут неверными средства и цели,
Вновь правдой все то, что мы сердцем хотели,
Вновь логика чувствами будет подмята,
И горькая будет за это расплата.

В этих строках из поэмы «По ком звонит колокол» явно чувства «подмяты» логикой. Все предельно ясно, отформулированно, как в образцовой публицистической статье. И тут мастерство — в четкости формулировок, в предельной однозначности выраженного, которое любой читатель воспримет лишь так, как ему сказано. Никаких тут домысливаний или сотворчества: для них существуют метафоры. Это же — «точные и нагие» слова. Но именно потому это иной жанр. И рифмы, как и ритм, тут играют лишь служебную роль, являясь чем-то вроде средства, помогающего впечатать формулы в логический участок мозга. Или строки из «Московской поэмы», к примеру: «Где сдает поименно / нас по спискам Зе-Ка / вертухаю с вагона / вертухай с воронка». Четкая, сухая проза, бытовая речь, настолько естественная, что вполне сравнима она с суховатой бунинской прозой. Но отвлечемся от этих «пограничных» примеров. Возьмем чисто лирический аспект в поэзии Коржавина, точнее именно поэзию его, о которой и следует говорить, если речь идет не о прозаике, не о публицисте, а о поэте. Не о рассказах, не о статьях или трактатах, а о стихах.

Я плоть, Господь, но я не только плоть.
Прошу покоя у Тебя, Господь.
Прошу покоя... Нет, совсем не льгот,
Пусть даже нищета ко мне идет.
Пускай стоит у двери под окном
И держит ордер, чтоб войти в мой дом.

Это стихотворение, этот лирически напряженный монолог — почти молитва, где мелодия, торжественная и печальная, порождает слова, где она, мелодия, первична и тем вызывает не логическое сопонимание, а истинную поэтическую реакцию читателя — сопереживание. В этом смысле одним из самых эмоционально напряженных стихотворений Коржавина мне представляется «Эмигрантское». Это восьмистишие, которое по своему эмоциональному накалу «томов премногих тяжелей», емкостью символов, их неоднозначностью, напряженностью звучания и картины в их неразрывности выражает метания и сомнения, поиск духовной истины и мелькание кадров личной человеческой судьбы:

Не назад же! — Пусть тут глупость непреклонна,
Пусть как рвотное мне полые слова.
Трюм планеты, зло открывший все кингстоны, —
Вот какой мне нынче видится Москва.
Там вода уже над всем, что было высью,
Там судьба уже ревет, борта сверля...
...Что же злюсь я на игрушечные мысли
Здесь на палубе того же корабля?

Видимо, поэтому не случайно, что воинствующие сатирические интонации все время звучат и в публицистических стихах Коржавина, и порой в лирике его заметна жесткая ирония. Кроме того, есть у него несколько стихотворений целиком написанных в жанре сатиры, как озорное и меткое «Подражание господину Беранжеру», написанное действительно в стиле ядовитых песен французского поэта, столь популярного у нас и неясно почему забытого французами. Все левацкие скандалы и «революции» в стаканах вина или кружках пива получают оценку поэта, который смотрит на все эти «события» как человек, страна которого уже давно стала взрослой, давно прошла через все эти «великие» ничтожные катаклизмы. Поэт давно знает, что почем, и смотрит на эти опасные игры, наперед зная, к чему они ведут. Потому и рефрен этой «песни» бьет точно, куда следует:

Нет, не зря не хочу я к ним ехать,
Пусть к ним едет советская власть.

А вот когда «товарищу Дэвис Анджеле доверяют правленья бразды», то результаты достаточно однозначны и подальше от этого всего, «под сенью банальной свободы», отчего бы даже не быть снисходительным:

Я тогда о судьбе их поплачу,
Правоте своей горькой не рад,
И по почте пошлю передачу
Даже Сартру — какой он ни гад.

Так и в сатире Коржавин остается верен своей позиции. Не топор, а духовное возрождение. В это он верит. Этого он ждет. Этому старается помочь. Вероятно, такая форму-

лировка наиболее точно объясняет суть его позиции. А если и не совсем так — то надо учесть, что поэты о поэтах, как правило, пишут и субъективно и вообще чрезвычайно редко. Множество — потому, что, как сами признаются, «ничьих стихов, кроме своих, не читают», иные — потому, что воспринимают другого поэта в крайне субъективном преломлении (и это не вина, так уж они устроены, это часть их поэтической личности), а некоторые — и это опять же не вина их — яростно полемизируют с другими только за их непохожесть на себя, о чем в свое время сказал Дмитрий Кедрин: «У поэтов есть такой обычай, / в круг сойдясь, оплевывать друг друга». И если поэт постарался понять другого и по его, другого, мнению не так его обрисовал, как он сам себя видит, то это вполне закономерно. Если при всем стремлении к объективности, ты субъективен, то это неотъемлемое свойство поэта. Жизнь по определению живая, а не каменная, и человек не компьютер, иначе он бы не был человеком. Вот этими оговорками я и завершу свою попытку определить, кто же он такой — поэт Наум Коржавин.

Василий Бетаки

КРИЧАЩАЯ ПАМЯТЬ

Шестьдесят четыре года пытаются убить в России историческую память народа, разрушить мосты между прошлым и будущим. Но это не удастся и никогда не удастся, выход же в свет уже четвертого сборника «Памяти» — прямое тому подтверждение. Подобно трем предшествующим, этот последний насыщен уникальными документами, яркими свидетельствами эпохи и ценными материалами для работы ученых в различных областях знания.

Общественная память — составное огромной массы слагаемых. Вот почему в сборнике, наряду со свидетельствами таких выдающихся личностей, как В. Шульгин, Н. Бердяев, Б. Пастернак или З. Гиппиус, даны блокадные днев-

Память. Исторический сборник. Выпуск 4, Москва, 1979. Париж, YMCA-Press, 1981.

ники безвестной ленинградской учительницы Е. Кочиной и письма поры 1916—1918 гг. рядового румынского фронта Н. Филатова. И оказывается, что между философски насыщенные письмами молодого Бердяева и бесхитростным рассказом солдата существует незримая связь, потому что и тот, и другой — дети единой несчастной матери. Горько сознавать, что почти все авторы сборника — жертвы, что родина обернулась для них Сатурном, пожирающим своих детей. Но так было: Шульгина пожирала свора антисемитских мракобесов, Мандельштама, Анциферова, Бахтина, Наталью Костенко — Архипелаг ГУЛаг, учительницу Кочину — голод в городе, обреченном на муку бездарностью владык. «Память» отразила этот страшный процесс, но она отразила также отчаянную борьбу «детей» с демонами, вселившимися в мать, и, при внешней сдаче, как это ни странно, — моральную их победу. Публикация «Бейлисиады» В. Шульгина прорвала многолетнее замалчивание жгучей темы «Русский национализм и еврейский вопрос». Знаменательно, что человеком, пошедшим против течения, оказался именно тот, кто был в одном стане с организаторами «дела Бейлиса», т. е. сам Шульгин. Он понял, что путь лжи и погромных инстинктов ведет страну к краху, вот почему восстал и был побит камнями с гораздо большей жестокостью (как свой), чем противник из враждебного лагеря. Этот человек спас честь русского имени, подобно тем крестьянам-присяжным, которые оправдали Бейлиса и о которых он писал: «Несмотря на то, что было сделано возможное и невозможное, были пущены в ход самые лукавые искушения, простые русские люди нашли прямую дорогу».

Если имя В. Шульгина хорошо известно, то этого нельзя сказать об ученом-краеведе Н. Анциферове, который в конце двадцатых годов, подобно многим тысячам безвинных, оказался в заключении и, по его словам, стал «статистом в грандиозном и кровавом фарсе». Об этом «фарсе», то есть сфабрикованном властями «Академическом деле» ученых-историков, еще будут написаны исследования. «Воспоминания» Н. Анциферова — первая брешь, пробивающая стену молчания, окружившего процесс, прозванный «Шахтинским делом научной интеллигенции». Во времена относительного затишья, предшествовавшего массовому террору, без излишней шумихи и треска ломался хребет отечественной

интеллигенции, которую требовалось превратить в стадо покорных рабов. Практически это удалось. Но прошедший все круги Дантова ада Анциферов все же не случайно заключил свои воспоминания столь знаменательной фразой: «Я пережил чувство гордости за своих коллег. Мы, представители «гнилой интеллигенции», — в большинстве устояли». Многие сдались и продались, многие погибли. Некоторые, подобно Анциферову, выжили и передали эстафету истины будущим поколениям. «Воспоминания» Анциферова интересны и с другой точки зрения. Подобно опубликованной в сборнике переписки М. Бахтина с М. Каганом, они открывают любопытную страницу в истории развития русской культуры двадцатых годов. В обстановке относительной свободы, пока засилье идеологии не сделалось тотальным, стали возникать кружки живших общими культурными интересами людей. К ним относится религиозно-философский кружок А. Мейера в Петрограде, куда входил и Анциферов, и «Кантовский семинар» М. Кагана в Невеле. Просветители, читавшие лекции по философии и эстетике, пытались таким образом перебросить мостки между культурой предоктябрьских лет и новой социальной реальностью. Понадобилось не так много времени, чтобы «новая социальная реальность» задумала наивных мечтателей.

«Человек неотделим от коллектива», — твердит советская пропаганда. «Человек один должен уметь бороться с жизнью и смертью», — утверждает ленинградская учительница Е. Кочина. Ее «Блокадный дневник» уникален, ибо писался «для себя» без ориентировки на конъюнктуру, почему и стал несравненно более ценным свидетельством блокады Ленинграда, чем все официальные мемуары, стихи и сценарии вместе взятые. То же самое можно сказать о письмах рядового Н. Филатова, не ординарных хотя бы уже потому, что их сочинял не воспетый продажными писателями «красный дезертир» и «строитель новой жизни», а простой, но здравомыслящий, умеющий трезво оценивать события человек. Его умозаключение звучит даже несколько изысканно для крестьянского парня: «Я теряю надежду на спасение России». Утонченная интеллектуалка Зинаида Гиппиус выразилась по этому поводу гораздо прямее и грубее: «Ощущение вони, клоаки, где мы тонем». Кстати, опубликованная здесь в виде «Выписок из дневника» вторая, считавшаяся поте-

рянной часть «Петербургского дневника» знаменитой поэтессы станет настоящим подарком для историков отечественной литературы. Как, впрочем, и представленные в публикации Д. Бараса письма молодого Бердяева и в публикации К. Невельской материалы из архива М. Кагана, касающиеся неизвестных страниц биографии М. Бахтина. Впервые на русском языке публикуется «Открытое письмо Ульянову-Ленину» Константина Гамсахурдиа, которое звучит так актуально, словно написано в наши дни.

«Судьба Натальи Костенко» в записи Ларисы Богораз хронологически заключает развернутую в сборнике картину многолетней народной трагедии, начиная с ГУЛагов времен революции, затем двадцатых и тридцатых годов. Перед нами как бы логическое их завершение — страшный ГУЛag сороковых. Перевернута последняя страница *этой* «Памяти». А впереди пятидесятые, шестидесятые, семидесятые... А ГУЛag все еще длится, и длится отчаянная борьба с ним лучших сил нации. И как живой родничок, бьется народная память.

Майя Муравник

ЗАГАДОЧНЫЙ КУРЬЕЗ

Книга Ричарда Пайпса, переведенная на русский язык В. Козловским, весьма интересна для русского читателя: она дает редкую возможность увидеть самый момент зарождения того, что впоследствии становится мнением Запада о нашей стране. То, что теории проф. Пайпса суждено стать одной из самых популярных на Западе, мне кажется, несомненно. Особенно если учесть то положение, которое проф. Пайпс занимает сейчас в Америке. Большинство этих теорий четко окрашено политическими или более общими мировоззренческими симпатиями и антипатиями их авторов. Поэтому-то таким безнадежным трагизмом веет от отчаянных попыток Солженицына переубедить западных интеллектуалов. Самые убедительные доказательства в лучшем

Ричард Пайпс. Россия при старом режиме. Кембридж, Массачусетс, 1980.

случае могут заставить их отказаться от тех или иных доводов и искать доводов иных, но никак не могут заставить их поверить в то, во что им верить не хочется.

Теория Ричарда Пайпса, если не ошибаюсь, не такова. Создается впечатление, что здесь мы имеем дело с человеком, более идеалистически настроенным, интеллектуально более честным, со своего рода бескорыстным рыцарем архива, с таким чистым эстетом-библиофилом. Проф. Пайпс пленен раз и навсегда идеей, родившейся у него в священной тиши библиотечного храма. Свою теорию он излагает любовно и увлеченно и, надо отдать ему должное, не только любовно, но и мастерски, — стиль его прозрачен и легок, формулировки изящны. Он страстно верит в свою теорию не потому, что к этому его толкают политические предубеждения, а потому что это *его* теория, потому что это *его* открытие, столь удачно блеснувшее ему сквозь библиотечную пыль.

В чем же его открытие? Ричард Пайпс с точностью установил, где и когда зародился мировой тоталитаризм. Родился он в России, и родителей у него не два, а три — три российских юридических документа: Уложение о наказаниях 1845 года, Секретный циркуляр от 1 сентября 1878 года и «Распоряжение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия и приведении определенных местностей империи в состояние Усиленной Охраны» 1881 года (два последних документа вызваны к жизни волной неслыханного до того в истории революционного терроризма, далеко превосходившего своей эффективностью нынешний, заставляющий сегодня демократические страны тоже прибегать к чрезвычайным законам). Это документы, смысл которых сводится к тому, что они ставят политическую полицию над законом и позволяют ей арестовывать людей на основании одного лишь подозрения. Документы эти, как с гордостью заявляет проф. Пайпс, никто до него не смог должным образом оценить, никто не смог увидеть их величайшего исторического значения. Не надо, я думаю, особой мудрости, чтобы увидеть, всю наивность такой гордости. Открытие проф. Пайпса гораздо скромнее: он открыл лишь, что принципы тоталитаризма настолько примитивны, что могут быть с легкостью сформулированы любым чиновником, что тоталитаризм — самое простейшее решение

проблемы власти и управления. Настолько простое, что как только исчезают в обществе силы ему противостоящие, он начинает завладевать жизнью. Но жизнь мало интересует проф. Пайпса. Ему и дела нет до того, что в жизни Россия, как он сам признает, не была ни полицейским, ни тоталитарным государством, что открытые им законы никогда полностью в жизнь не проводились (не потому ли и не были они никем замечены до проф. Пайпса?), что реализовались они лишь ограничено и неэффективно. Все это не важно. Важно, что в Собрании Узаконений и Распоряжений между директивной, утверждающей мелкие изменения в уставе Российской Компании страхования от пожаров, и распоряжением, касающимся руководства техническим институтом в Череповце, хранится этот страшный документ. Лежит там на архивных полках это жуткое чудовище, страшно мерца в полутьме смертоносными глазами, и терпеливо ждет, чтоб его из пыли извлекли и дали пожрать весь мир. Жуть. Мистика.

Парадокс состоит в том, что теоретизируя создание неправового государства, проф. Пайпе придает писаным законам такую силу, какую они могут иметь лишь в государстве правовом. Да и в правовом не очень-то. Вот в сегодняшней Италии до сих пор не отменены многие законы эпохи фашизма, некоторые из них находятся в прямом противоречии с позднее принятыми законами, и таким образом, если бы все законы пунктуально исполнялись, жизнь была бы невозможна. Следуя логике проф. Пайпса, сегодняшнюю Италию надо было бы признать фашистским государством.

Изданные Государем те российские законы в любой день могли быть им же и отменены, или, при том движении к парламентарной монархии, которое намечалось, — парламентом. Нет в них ничего такого зловеще-непоправимого, катастрофического и судьбоносного для истории. Но, по мнению проф. Пайпса, эти законы имеют гораздо большее значение для мирового общественно-исторического развития, нежели Гегель и Маркс. И не странно ли, что проф. Пайпс вынуждает доказывать ему, что историю движут не бумажные законы, а силы куда более могучие?

Но самое поразительное в книге Ричарда Пайпса это то, что сам же он на последних страницах разрушает свою теорию. Это можно было бы назвать беспрецедентным

примером интеллектуальной честности, если бы проф. Пайпс до конца признавал разрушительную силу своих замечаний.

До революции Россия все же так и не стала стопроцентным полицейским государством, замечает проф. Пайпс, потому что этому препятствовали в основном два фактора: наличие частной собственности, благодаря которой были в стране сферы и «уголки, куда полиция бессильна ступить», и наличие этических принципов у правящего класса, «не дававших использовать машину репрессий в полную силу». Проф. Пайпс честно признает: чтобы построить тоталитарное государство, «нужна была настоящая социальная и культурная революция (...). Нужны были новые люди с иной психологией и иными ценностями». То есть никогда Россия так и не стала бы тоталитарным государством и спокойно эволюционировала бы в нормальное общество западного типа (и свидетелем такой эволюции хоть отбавляй), если бы в результате безумной войны власть не захватила партия, вооруженная идеологией, способной смести эти оба препятствия — и частную собственность, и мораль. Доктрина эта, обещающая земной рай в результате уничтожения частной собственности и оправдывающая насилие, необходимое для такого уничтожения, «исторической необходимостью» и «научно» открытыми «законами истории», отменяющими моральную ответственность и лишаящими мораль религиозной опоры, родилась, как известно, не в России, и покорила она уже добрую половину человечества.

Но что же остается от теории проф. Пайпса после того, как он сам же дал против нее убийственные доводы? Чистая игра мысли? Любование стройно воздвигнутой ввысь на трех жердочках теорией? Это остается большой психологической загадкой, для меня во всяком случае, если только не предположить, что проф. Пайпс именно такую игру и чистое искусство концептуального построения как раз и ставит выше всего на свете, в том числе и истины.

Юрий Мальцев

ОСТРОВНАЯ УТОПИЯ

Этот роман начинается с обложки, как театр с вешалки. «Остров Крым» — не просто название, это заявление. Заявление жанра (в основе — фантастическое предположение) и одновременно вызов, бросаемый писателем (автор свободен, если это ему представляется необходимым, не только модифицировать реальность, но и полностью ее игнорировать).

Василий Аксенов писал «Остров Крым» три года — с 1977 по 1979. Находясь в Москве, не в эмиграции. Во всяком случае, не в эмиграции в полном физическом смысле этого слова, то есть будучи еще гражданином СССР. Это важно. Эмигрант не написал бы такого романа, в том числе и эмигрант Василий Аксенов — готова держать пари на любую сумму, даже и на такую, которой у меня нет: уверена, что выиграю.

Почему важен тот факт, что роман написан не-эмигрантом? Потому что я не вижу иной формулировки для его направления и жанра, как антиностальгическая утопия. Можно еще прибавить: написанная методом критического сюрреализма. А можно и не прибавлять.

Эмигрант — осуществившийся вещественно в этом качестве — не стал бы воевать с ностальгией при помощи утопии: ему для этого достаточно объективной реальности. Не надо даже читать зарубежных газет, довольно время от времени, при особенно остром приступе тоски по родине, прочесть кусочек советской. Или поговорить с советскими туристами. Еще только начиналась волна третьей эмиграции, когда появился теперь уже престарелый анекдот: в Тель-Авиве открылся ресторан «Тоска по родине» — выходящих из него вышибала отправляет за дверь пинком в зад, приговаривая: «Пошел вон, жидовская морда!»

Все это известно. Все это от ностальгии лечит — и не лечит. Но человека, сидящего внутри, московского, ленинградского — советского — жителя слухи об этой эмигрантской болезни безмерно раздражают. Не просто раздражают, а вызывают злобу (я, естественно, имею в виду не рядового советского гражданина, а представителя, как говорят, внутренней эмиграции). Ему эмигрантская ностальгия представ-

ляется предательством идеи свободы, да не идеи, а самой сути свободы: Божеского в человеке, Божьего дара. Ему эта проклятая болезнь кажется знаком национального рабства, тайно живущего во всех детях России (вне зависимости от пятого пункта). Раб, видите ли, пытается оправдать притягательное обаяние ошейника сыновней любовью к географическому расположению рудника, где для ошейника добывали железо. И эта тяга к трем березкам вроде сильно пахнет прощением палачей, прощением всего, что сотворено было на этой земле палачами и что творят они на других землях, чужих, где, может, березок и не видали никогда, а одни только пальмы или одни только кактусы, но и пальмы и кактусы под их руками приобретают одинаковый цвет и вкус: выбитых зубов, голода и крови.

Так что раздражение понятно и оправданно, тем более если принять во внимание, что каждая точка зрения нуждается в поправке на место и время действия. Мирно разговаривающие собеседники, и те не в одинаковом положении: то, что у одного за спиной, у другого перед глазами. Снаружи, из-за границы, много легче разделять понятия земли, изначального и вечного, от государства — временного и переходящего. Изнутри — одно забивает другое, и привкус горечи, и запах гари, и дрожь отвращения, и ужас быть причастным к мерзости вокруг в конце концов ослабляют пуповину, обрывают связь, — только мы еще не знаем, что не навсегда.

Аксенов в «Острове Крым» существованию этих двух противоположно направленных сил, кстати, и не противоречит; более того, они и являются объектом его внимания, они и двигают роман. Он только делает психологическое и политологическое допущение, выглядящее гораздо фантастичнее, чем существование Крыма как острова и как свободного русского государства: что ностальгия может убить свободу — внутри личности, внутри общества и, наконец, внутри государства. Естественно, что Аксенов пользуется гротескно-памфлетным преувеличением как приемом, но прием в этом романе вступает в противоречие с реалистической тканью его. Гротескны не образы, а обстоятельства, памфлетны не люди, а идеи, и они практически никак друг с другом соединиться не могут, как неслиянны геометрические

фигуры, существующие в разных пространственных измерениях.

Мы можем многое допустить отдельно — детально, все вместе сразу — не допустить. Можем мы предположить, что Крым — остров? Можем. И что он остался свободным русским государством? Ну, с трудом, но можем. Имеем право. Что в конституции его объявлена полная свобода идей, направлений, организаций, партий, и что она соблюдается? Можем. И что администрация и управление этим государством — старомодно, устарело, даже смешотворно? Можем. И что там около тридцати партий? Можем. И что это высокоразвитое в промышленном отношении государство, уважаемое всем миром? Можем. И что у него сильная армия? Можем. И что среди столпища политических организаций есть некое объединение квасных патриотов, восторгающихся всеми внешними завоеваниями СССР? Еще и как можем!

Все это мы можем предположить — по отдельности. А вместе — не получается. Ибо у высокоразвитого государства, сумевшего заставить уважать себя «на международной арене» не только благодаря своему высокому промышленному уровню и уровню жизни, но и благодаря серьезной оборонной мощи, не может быть шутовского управления — ибо все вышеперечисленное требует четкой структуры. И вероятность того, что при тридцати партиях в свободном парламенте правительство бессменно состоит из принадлежащих к другой эпохе стариков, практически равна нулю. Как равна нулю и вероятность существования слабой разведки и контрразведки при сильной армии.

Но что предположить труднее всего — это лежащую в центре романа историю Союза общей судьбы, организованного Андреем Лучниковым, представителем островной элиты, местной достопримечательностью, журналистом международного класса. Когда-то, в двадцатые-тридцатые годы, еще были люди среди эмиграции, наивно верившие, что можно жить в советской России с «отдельно взятыми убеждениями». Тот Андрей Лучников, которого написал Аксенов, никак не может в это поверить. Лучников как персонаж написан Аксеновым серьезно и подробно, с тем тщательным вниманием, с каким пишут писатели важных для себя героев, в которых, быть может, закладывают частичку са-

мого себя. Тот факт, что Лучников, при всем своем плейбойском обаянии, отнюдь не идеален и не вооружен всеми на свете панацеями и не застрахован от глупейших ошибок и неверных расчетов, только добавляет ему авторской привязанности и простой достоверности. И именно это делает его идею общей судьбы — то есть, собственно, цель его пребывания в романе — недостоверной и неубедительной. То есть не саму идею, а авторство Лучникова. Как бы ни душило его желание принадлежать к стране, на языке которой он говорит (и язык — родной!), каким бы сильным ни было в нем чувство вины за то, что он не разделял ее горести и невзгоды, к нему не подклеивается эта чудовищная по неостроумности мысль: свободному острову Крыму войти в СССР в качестве автономной республики и чтобы все в нем при этом осталось в неприкосновенности — то есть как бы в качестве музейного экспоната, хранящегося как таковой. Это все равно что, скажем, предположить, что некая девушка страстно мечтает выйти замуж и при этом сохранить невинность (и это — непременное условие замужества). Можем мы себе такое вообразить? Ну, почему бы и нет? — на то добрая воля автора. Но вряд ли эта девушка может не быть персонажем гротескным или хотя бы просто комическим, в зависимости от того, что для нее выберет автор: крайнюю наивность или крайнюю глупость, или то и другое вместе. Лучников же у Аксенова и не глуп, и не наивен — слишком самоуверен, быть может, но никакая самоуверенность не выдержит подобного поворота.

Невольно приходит в голову, что Аксенов написал свой роман в качестве иллюстрации к какой-то своей мысли, нарастив вокруг нее мясо романа.

«Значит, нечто общее есть и в Москве, и в Симферополе? Общее нежелание замечать существующие, но неприятные факты, цепляние за устаревшие формы (...) ...раз и у нас тут существует такая тенденция, значит, может быть, и не в тоталитаризме тут отгадка, а может быть, просто в некоторых чертах национального характера-с? Характерец-то, характеришка-то у нас особенный. Не так ли? У кого, например, еще существует милейшая поговорочка «сор из избы не выносить»? Кельты, норманны, саксы, галлы — вся эта свора избы, небось, свои очищала, вытряхивала сор наружу, а вот гордый внук славян заметал внутрь, имея главную

цель — чтоб соседи не видели. Ну, а если эти гадости из национального характера идут, значит, все оправдано, все правильно, ведь мы же и говном себя называем, а вот англичанин говном себя не назовет».

Не эту ли мысль Лучникова (и автора) призван иллюстрировать роман, служить ей системой художественных доказательств? Но, опять-таки, невероятно, чтобы европеец Лучников не знал, что «вся эта свора» — кельты, норманны, саксы, галлы — и выносили свой сор и внутрь заметали ровно так же, как и гордый внук славян, решавший внутренние междоусобные споры с помощью татар (были попытки — и с помощью западных соседей, но те уж больно были всегда заняты). И говном себя называли — из англичан потруился тут немало лорд Байрон, но были и другие, и сейчас есть. И французы, и немцы, и итальянцы — все понемножку говном себя называли. Тут другой вопрос — никто не любит, чтобы говном его называли другие. В том числе и гордый внук славян.

Не потому ли не получилась система доказательств, что тезис — ложен, что доказательств — последних, единственных, неоспоримых — не существует? Что подобное можно найти во все времена и у всех народов?

Но не только ведь из-за этого написал Аксенов «Остров Крым»! Ни гротеск, ни сатира, ни памфлет не нуждаются в такой множественности линий, в таких бытовых, исторических, социальных, архитектурных даже подробностях, с которыми описывает Аксенов свободный русский остров ОК. Остров О-Кей. Мне кажется, что его повел за собой сюжет. Уж очень заманчивым показалось писать о свободном русском государстве, богатом, сильном, всеми уважаемом. Без нищенства, без унижительной нехватки самого простого, без зависти к чужим витринам, без убогого цинизма, без жалкой продажности и дорого обходящейся дешевки. И в том почти детском прилежании, с каким выводит рука писателя прекрасный и несуществующий остров Крым, больше тоски и горечи, чем в злом сарказме, которым полны московские, «советские» сцены романа. Аксенов вообще двойится в этом романе: издевающийся, насмешливый, злобствующий даже, он без конца наталкивается на себя, уставшего смеяться, иронизировать и ерничать, но словно бы приговоренного к смеху, как Гуинплен; на себя — бессиль-

ного, оскорбленного и страдающего. И верх в романе берет то один, то другой, и нет в этом последовательности и логики, и роман подчас распадается на отдельные прекрасные страницы (захват Крыма, сдача ветеранов Белой армии, безумие и гибель Кузенкова и т. д.), и все потому, что «Остров Крым» — это не только антиностальгическая утопия с попыткой утверждения, что родина у человека одна: свобода; это еще и (во всей противоречивости, от которой никому не уйти) — ностальгическая утопия: тоска по будущему. По будущему, в котором вся Россия будет островом О-кей.

Виолетта Иверни

ЧЕРЕЗ ШЕСТЬСОТ ЛЕТ

Газели величайшего из персидских средневековых лириков выходят по-русски четвертый раз, но в принципе издание 1935 года можно вообще не считать, ибо «Academia» (имеется в виду школа перевода, сложившаяся при издательстве того же названия) проделала поистине сизифов труд над переводами мировой классики: сизифов по огромности и полнейшей бесполезности, оставив после себя память печальную и курьезную. Идеологическая установка на «реализм перевода» приводила к буквальности вплоть до сохранения в переводе порядка слов, присущего тому или иному иностранному языку. Та самая вербальная точность, которая считалась похвальной, предавала даже самых талантливых переводчиков, таких, как М. Лозинский, впоследствии все же забросивший абсурдную доктрину, созданную, впрочем, не без его участия. Короче — «поэзией все это можно было признать разве что под страхом расстрела», — как высказалась однажды Т. Г. Гнедич об этом периоде истории перевода.

Что касается изданий Хафиза в 1956 и 1963 году, то кроме того, что они содержат значительное количество все

Хафиз. Сто семнадцать газелей. В переводе Германа Плисецкого. «Наука», Москва 1981 г.

тех же печально-курьезных переводов из издания 1935 года, обе эти книжки страдают однобокостью по вине составителей, отобравших лишь те газели, которые, как правило, «чисты» от религиозных мотивов. Таким образом Хафиз, который, как и Омар Хайям, был поэтом, выражавшим суфийскую философию, оказался основательно отцензурованным и выглядел эдаким «гулякой праздным», лириком, воспевавшим лишь радости жизни.

Новые переводы, выполненные Г. Плисецким, открывают впервые русскому читателю того Хафиза, каким он был на самом деле. Прежде всего благодаря тому, что в книге собрано более четверти всего, созданного поэтом, и составлена она добросовестно — отражены все стороны творчества поэта. (Составитель — Н. Кондырева). Сама работа по отбору очень трудна, поскольку Хафиз — при всем разнообразии его тем и мотивов — поэт во многом скованный канонами формы и — что еще важнее — канонами суфийской философии, предписывавшей вполне определенную систему так называемых постоянных образов, систему четко регламентированной символики и метафорики. Разнообразие Хафиза — не в раздвигании рамок этой образности, а в гениально-изобретательном варьировании канонических приемов. Этого варьирования требовала та широта тематики, которая и отличает Хафиза от других классиков персидской поэзии.

Максимальное разнообразие в строгих рамках — одна из самых трудных задач поэтического перевода, и с ней Г. Плисецкий справился прекрасно. Если же учесть то, что сама строфическая форма газели еще больше ограничивает арсенал переводчика, заставляя его искать адекватное автору богатство и разнообразие на весьма ограниченном «пространстве», то следует признать, что переводы Плисецкого действительно мастерские. Одна из главных проблем здесь, как и вообще в переводе стихов, состоит в том, чтобы, с одной стороны, не уйти от духа и смысла подлинника, верно передать текст, а с другой стороны, сделать этот текст естественным, звучащим так, словно это и не перевод, так, чтобы стихи стали фактом русской поэзии, несмотря на непривычную форму, иную образность и далекую нам философию суфиев — наиболее сложного и, может быть, самого значительного из философских течений в исламе. Само по

себе сочетание — без конфликта и противоречия — духовной мистики и плотских утех как ее земного выражения во многом чуждо европейскому сознанию. Поэтому часто встречается невольное, не всегда осознанное переводчиками стремление сориентировать свой перевод на маяк европейского ренессанса, тогда как персидское средневековье, мягко говоря, не имеет с ним ничего общего. Короче и грубее — не превратить бы Хафиза в Петрарку! Этой опасности Плисецкий счастливо избежал, четко дозируя частый у Хафиза «двойной смысл» и не допуская перекоса. Тут надо объяснить, что зачастую одно и то же стихотворение выглядит чисто религиозным и одновременно его можно прочесть как любовную лирику. В этой двойственности и заключается главная трудность передачи суфической лирики.

Глазам любви дано узреть сквозь покрывало красоту:

Влюбленный взор охватит вмиг до горизонта небосвод.

Едва ли можно сказать, любовная ли лексика символизирует мистическую любовь к Богу, или наоборот, образы религиозные — лишь метафоры земного чувства. Инстинкт и расчет, мера во всем, сочетающаяся с истинно поэтическими интонациями русского стиха, при всей необычности формы — естественное восприятие чужой поэзии, перевоплощение переводчика в автора — сродни актерскому мастерству — вот причина успеха работы Г. Плисецкого.

Читай Коран ее лица. Все жития мужей святых,

Все откровенья бытия влюбленный взор на нем прочтет.

Тому, кто хочет отыскать в стихах Хафиза плоский смысл,

Пусть вспомнится, как Мекку спас однажды ласточек

прилет.

Именно опасность «плоского смысла» — главное, что подстерегает переводчика персидской классики. Этого счастливо избег Плисецкий, и посему можно сказать, что русский читатель впервые получил полноценные тексты, впервые получил поэзию Хафиза.

Особо следует отметить, что перевод выполнен не самым легким способом: поскольку персидского языка переводчик не знает, то работал он при посредстве подстрочника, что само по себе есть уже плавание с завязанными глазами — точнее, невозможность услышать полноценно ту музыку, которую требуется передать.

Как правило, поэтому переводы с подстрочников заранее можно считать как бы переводами «уцененными» (тем более, что мастера высокого класса этим способом перевода справедливо пренебрегают). Выход тут есть один — постоянная работа в тандеме с учеными, делающим и подстрочник, и всесторонний комментарий для поэта, желающего, чтобы его перевод был переводом, а не зарифмовыванием понаслышке строк, принадлежащих к неведомой переводчику культуре.

В данном случае видна такая тщательная совместная работа поэта Плисецкого с лингвистом Кондыревой. В этом, по-видимому, и есть один из ключей успеха.

Газель, как поэтическая форма чисто персидская, лишь внешне схожая с общемусульманской касыдой, трудна еще и тем, что структура ее должна содержать в себе антитезу, разрешаемую к концу. Это то самое «снятие противоречий», которое составляет душу самого разработанного жанра европейской лирики — сонета. И ориентируя свою мысль на сонетную логику, переводчик гораздо ближе передаст суть газели, чем если бы он слепо следовал «общевосточным» штампам, которые своей легкостью часто губят перевод мусульманской лирики. Не случайно, например, 66-й сонет Шекспира (пролог к Гамлету) приходит на память, когда читаешь в переводе Плисецкого 49 газель Хафиза:

Вошла в обычай подлость. В мире нету
Ни честности, ни верности обету.
Талант стоит с протянутой рукою,
Выпрашивая медную монету,

.....

Зато невежда нынче процветает:
Его не тронь — вмиг призовет к ответу!

Если проследить за лексикой этих строк, то видно, что переводчик не позволяет себе злоупотреблять специфически «восточными» штампами — стихи одновременно звучат как сегодняшние, русские стихи, как общечеловеческая поэзия, и все же газель остается газелью, не превращаясь ни в адаптацию жанра, ни — наоборот — в дешевую «стилизацию на темы роз и соловьев».

Следует отметить несомненное знание переводчиком Корана, без чего переводы суфийской лирики вообще невозможны — потеря скрытых цитат обеднит перевод до неузнаваемости. Особенно это относится к Хафизу — ведь его имя (точнее псевдоним — Хафиз) означает «помнящий наизусть Коран».

В заключение отметим еще раз, что книга переведена с тем сочетанием научности и поэзии, которое одно только и дает настоящий поэтический результат в работе переводчика.

В. Богатырев

СИМПТОМЫ «БУРБОНИЗМА»

Кажется, ещё не изучен тот психологический феномен, который лучше всего было бы назвать феноменом «бурбонизма». Этот феномен обнаружил в 1796 году французский адмирал де Пана, сказавший о роялистах в период директории: «Никто из них ничего не забыл и ничему не научился». Каковы психологические или исторические причины этого явления, неизвестно, но сталкиваться с ним приходится, увы, нередко.

Симптомы бурбонизма налицо в книге Иегошуа Яхота «Подавление философии в СССР», причём выражены они здесь в ещё более тяжёлой форме, чем у Бурбонов, ибо автор рецензируемой книги не только ничему не научился, как Бурбоны, но к тому же и всё забыл. Публикация сегодня в свободном мире книги, в которой анализ определённого исторического факта осуществляется методами марксистской философии, да к тому же ещё и автором, проводившим всю жизнь в государстве, представляющем собой наиболее убедительное свидетельство несостоятельности этой философии, удивляет так же, как удивила бы публикация трактата об алхимии в уважаемом научном журнале какого-либо современного университета.

Центральный вопрос книги — когда и как была подавлена в СССР философия. Ответ на этот вопрос известен всему

И. Яхот. Подавление философии в СССР. Chalidze Publ., Нью-Йорк, 1981.

свободному миру. Яхот хочет внести в этот вопрос новую нотку (иначе зачем же писать?). Он смело опровергает мнение некоего советского так называемого «философа» А. Щеглова, утверждающего, что философская дискуссия 20-х — начала 30-х годов носила «подлинно демократический характер» (стр. 100). Нудно, типично марксистским суконным языком Яхот описывает ход той философской дискуссии, чтобы доказать, что «только примерно до июня 1930 года она носила относительно* свободный характер» и лишь после этого, то есть с начала 30-х годов, проходила под знаком подавления свободной мысли. Вот этот-то тезис книги и заставляет заподозрить её автора в «бурбонизме»: изображать 20-е годы как время свободы в СССР может только тот, кто всё забыл и ничему не научился.

Если ограничиться лишь проблемами свободы философской мысли (это тема рецензируемой книги), то необходимо автору книги, как и другим подобным же бурбонам, напомнить ряд обстоятельств, свидетельствующих, что свобода философии была в СССР полностью ликвидирована ещё в 1922 году, так что ни о какой, даже разотнотельнейшей свободе философии в СССР к началу так называемой «философской дискуссии» конца 20-х — начала 30-х годов уже давно не было и речи. Чтобы философия могла быть свободной, необходимы по крайней мере три условия: наличие государства, не основанного на философской доктрине; легализация права на существование множества философских направлений, ведущих друг с другом дискуссии без оглядки на мировоззрение людей, стоящих у власти; свободный книгопечатный рынок. Ни одного из этих условий философской свободы в СССР к концу 20-х годов давно уже не существовало.

Призвав в апреле 1917 года к социалистической революции, вождь русских марксистов Ленин показал своё полное непонимание марксизма (о чём во всеуслышание тогда и заявил основатель русского марксизма Г. В. Плеханов). Осуществив же эту революцию вместе со своей марксистской партией, Ленин на практике опроверг марксистскую философию сразу в двух её ипостасях — диамате и истмате. Ре-

* Ограничительное словечко «относительно» мало что меняет по существу: абсолютной свободы, как известно, не бывает.

цензия не тот жанр, где возможно развёртывать философскую полемику, однако марксисту должно быть ясно, что если социализм возникает не естественным образом, как возникает ночь после дня или лето после весны (такова основа истмата), а по воле одного человека или группы людей, то перед нами торжество случая, а не выдуманной Марксом и Энгельсом исторической закономерности смены общественно-экономических формаций. Если бы всё же марксисты хотели и после Октябрьской социалистической революции настаивать на том, что революция эта и то, как она была осуществлена, есть подтверждение научного социализма Карла Маркса и Фридриха Энгельса, они должны были бы быть готовы начать свободную философскую дискуссию с теми, кто усомнился бы в чём-либо одном: или в том, что Ленин — марксист, или в том, что Маркс был серьёзным философом. А таковые усомнившиеся нашлись сразу после революции. Они составили сборник статей, в которых события, происходящие в России, анализировались с точки зрения, отличной от марксистской. Сборник этот назывался «Из глубины», авторами его были крупнейшие русские философы, между прочим и такие, которые когда-то весьма серьёзно марксизмом увлекались. Но Россия после Октября 1917 года уже была государством, основанным на философской доктрине, а потому власти попросту конфисковали сборник «Из глубины», а часть его авторов вместе с другими 300 учёными была выслана из страны. Прямо по Н. Щедрину: «Вот они наши диспуты-то каковы!» С этого времени, с 1922 года, и по сю пору история философской свободы в СССР развивалась по принципу, сформулированному красным казаком Макаром Нагульниковым в шолоховской «Поднятой целине», который изучал английский язык, чтобы сказать своему философскому оппоненту, то бишь английскому буржую: «Становись, гад, к стенке!»

Высылка философов из СССР не убила сразу свободную мысль, так что власти пришлось уже не столь либерально отделяться от своих философских противников, но ссылать их на Соловки и в другие столь же отдалённые места, а подчас и расстреливать. Напомним. Один из авторов «Из глубины» С. А. Аскольдов в 1928 году арестован вместе с другими членами философского кружка «Космическая академия», в котором он выступал с докладами. В этом же году

арестованы члены кружка Мейера (темы кружка — аскетика, культура, религия и техника, проблемы теократии и т. п.). Участники бердяевских кружков арестовывались уже между 17-м и 20-м годами. В 1925 году были арестованы ленинградские студенты (около ста) за чтение «Социалистического вестника». Сторонники толстовской философии, богословы арестовывались в течение всех 20-х годов. И поближе к финалу этих «свободных 20-х годов» по делу историков арестованы Тарле, С. Ф. Платонов, Н. П. Лихачёв, философ-литературовед Б. В. Бахтин.

Каково уже тогда было отношение к марксизму со стороны русских недорезанных учёных, свидетельствует предложение академика А. И. Соболевского не избирать в действительные члены Академии марксистов. При выборах на общем собрании Академии философы-марксисты (в том числе герой книги Яхота А. М. Деборин) были провалены, но потом всё же избраны, однако же вовсе не потому, что почтенные академики вдруг пересмотрели своё суждение о марксизме, а просто-напросто потому, что им напомнили о принципе «становись, гад, к стенке!». Такого рода напоминанием занялась «свободная» пресса. Так, братья Тур напомнили в своём фельетоне, что академик И. И. Замотин был-де сотрудником деникинской прессы, а академик Н. П. Лихачёв — членом «Союза русского народа», так что они могут уже ждать приглашения «к стенке». К голосу пролетарской печати присоединились сами пролетарии: рабочие Путиловского завода пригрозили, что «рабочий класс проведёт (в академию) своих действительно заслуженных деятелей революционного марксизма-ленинизма в лице товарищей Лукина, Фриче и Деборина». Таким-то образом крупный философ Деборин получил место в Академии, а наймиты международного империализма Платонов, Лихачёв и Бахтин — на Соловках.

Так что философам-марксистам можно было свободно дискутировать «в кругу своих братишек» и наслаждаться обрётённой свободой философских дискуссий. И философия могла развиваться в СССР вновь свободно, без помех со стороны ретроградов идеализма и поповщины. В начале своей книги И. Яхот вполне серьёзно заявляет, что после высылки Н. О. Лосского, С. Л. Франка, Н. А. Бердяева советские

власти, обеспокоившись нехваткой философов, стали создавать новые философские школы, а для преподавания в них пригласили «выдающихся философов Л. Аксельрод и А. Деборина» (стр. 9), которые в течение 20-х годов при поддержке автора «блестящих литературных работ Л. Троцкого» (стр. 18) заделали бреши, образовавшиеся из-за исчезновения старых русских философов. (Как тут не вспомнить сердитой шутки Ф. И. Шаляпина, которому как-то в Париже сказали, что его в СССР заменяет Батурин: «Так им и надо», — ответил Фёдор Иванович.)

Вся книга «Подавление философии в СССР» написана в целях защиты хорошего марксиста Деборина с его учениками от плохих марксистов Митина и Юдина. Можно было бы ещё понять нашего автора, если бы он опубликовал свою книгу в блаженные времена оттепели, когда была поставлена задача реабилитации ленинского периода истории марксизма, будто бы отличавшегося уважением к философскому оппоненту и свободой философской дискуссии. Но ведь теперь же стало ясно, что восстановление ленинских норм в философии означает: «Бей всех, но своих не трожь» (в отличие от сталинского периода, когда били и по своим и по чужим). Защите светлого имени Ильича посвящена не одна только глава книжки Яхота, но вообще вся она построена на постулировании давно опровергнутых предположений, что Ленин был истинный марксист, а Маркс и Энгельс — серьёзные философы. Прошло более двадцати лет со времени оттепели, произошли огромные события в истории, ещё и ещё раз опровергнувшие марксизм, произошло серьёзнейшее изменение и в жизни автора книги «Подавление философии в СССР»: он переехал в свободный мир и получил небывалую ранее возможность приобщения к грандиозной философской литературе, камня от камня не оставившей от так называемой марксистской философии, но И. Яхот публикует книгу, в которой методом цитирования классиков опровергнутой философии защищает её хороших последователей от нападок всяких злодеев, использовавших диалектический материализм для укрепления власти тирана Сталина.

Свобода философии по-марксистски означала и означает, что в странах «реального социализма» разрешается дискуссия лишь при условии признания таких догм марксизма, как универсальность материи, законы диалектики как свой-

ства самой материи («диалектический материализм»), закономерность смены общественно-экономических формаций в результате развития производительных сил и производственных отношений («исторический материализм»), и некоторых других. Но какая же может быть свобода философии, если философам запрещено под угрозой подчас уголовного преследования подвергать критическому рассмотрению догмы, которые, между прочим, давно опровергнуты в странах, где философия действительно свободна?

Чуть ли не весь философский мир смеётся над диаматом вообще и над ленинским определением материи в частности. Определяя материю как «объективную реальность, данную нам в ощущении», Ленин и его почитатели не заметили скрытое в этом определении признание чего-то, находящегося вне материи, ибо пассивная форма «данный», подразумевает наличие субъекта, находящегося вне объекта и имеющего над ним власть. Формула Ленина была бы ещё приемлемой, если бы звучала так: «Материя есть объективная реальность, данная нам в ощущении... Богом». (На другие несуразности в этой ленинской дефиниции материи обратил внимание проф. Б. П. Вышеславцев в работе «Философская нищета марксизма», недоступной в стране, где марксизм объявлен единственно правильной философией). Обнаружена и доказана несостоятельность объединения понятия диалектики (как свойства мышления) с понятием материи (как объективной субстанции); доказано, что марксизм, включив в свою систему гегелевское учение о свободе и необходимости, примитивизировал, в конечном счёте исказил его. К тому же и помимо Гегеля, а подчас и смелее, чем он, категорией случайности занимались Декарт и Паскаль, Лаплас и Кондорсе, Курно и Мальбранш (и многие другие). Яхот же в своей книге не выходит за пределы марксистского толкования этой категории.

Самими же марксистами в их государственной практике опровергнуто учение о первичности экономики как базиса над политикой как надстройкой: вся история коммунистических стран — это история подчинения хозяйственной жизни задачам чисто политическим.

В своей книге Яхот призывает связать философию с жизнью. Пусть само это требование по-марксистски наивно (истинная философия проверяется в сфере мышления, а не

в сфере общественной практики), но парадоксальным образом именно марксисты, утверждающие, что практика есть критерий истины, игнорируют опыт истории. И вот Яхот спорит со своими оппонентами, оперируя лишь цитатами из классиков марксизма, чьи работы опровергнуты уж в обеих сферах: в сфере чистой логики и в сфере практического опыта. Таким образом он надеется, вероятно, гальванизировать ту философию, о которой один бывший советский философ сказал, обращаясь к своим западным коллегам: «Лишь презрение и безразличие к ней низводит её до адекватного ей уровня социальной значимости». Яхот думает, что он сможет здесь, в свободном мире, кого-то убедить, пользуясь принципом партийности в философии. Как это ни покажется странным, но Яхот отстаивает открыто этот принцип, призывая читателя отличать «субъективистскую партийность» Юдина и Митина от «объективной партийности» Деборина и других серьёзных марксистов, как Ленин, Троцкий, Бухарин, Аксельрод. Он заявляет, что «принцип партийности носит универсальный характер» (стр. 173). В свете отгороженности автора от современной философии это утверждение уже не удивляет. Удивляет лишь то, сколь забывчив Яхот, как не замечает он, что Юдин, Митин и сам столь нелюбимый им товарищ Сталин лишь довели принцип партийности философии до его логического конца и что как ни дефинируй этот принцип, какими схоластическими выкрутасами при том не занимайся, если уж ты принял принцип партийности философии, то жди кутузки для философов и писателей в стране, где какая-либо философия становится государственной догмой. Партийные убеждения Яхота вполне пригодны для того, чтобы, будь поставлен он во главе агитпропа, пропагандистски обосновать преследования свободной философии и свободной литературы. Пишет же он в своей книге, что «писатели не должны находиться в башне из слоновой кости, а должны связать своё творчество со жгучими проблемами современности» (стр. 161). А если писатель все же никому, кроме правды, кроме Бога, ничего не «должен», куда его — на перевоспитание? В кутузку? А если писатель или философ иначе, чем партийные товарищи, понимают, в чем заключаются «жгучие проблемы» современности? Участники философской дискуссии, о которой пишет в своей книге Яхот, считали жгучими проблемами того времени

проблему правильного понимания спиноизма и соотношения механицизма с биологизмом. А тот самый трудящийся люд, которому будто бы служил и служит марксизм, стоял перед страшными годами коллективизации, с ее голодом на Украине, с людоедством и разорением семей и целых классов русского общества. Россия начала покрываться раковой опухолью ГУЛага; коллеги наших диспутантов доходили на Соловках или томились в эмигрантской тоске. Вот бы к этим «жгучим вопросам жизни» и обратиться нашим обличителям «башен из слоновой кости». Но простим им их тогдашнее неведение. Однако как же понять тех «философов», кто и теперь, когда раскрылись перед миром и философская нищета марксизма и трагические результаты увлечения им, продолжают как ни в чём не бывало бороться за его чистоту? Кроме как болезнью «бурбонизма», никак нельзя объяснить сей феномен.

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США

Главный редактор **Андрей Седых**
71-й год издания

«Новое русское слово» регулярно печатает документы
самиздата, протесты из СССР, произведения лучших
эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,
35 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год

Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

243 West 56 St., New York, N. Y., 10019 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

Коротко о книгах

Николай ЗЕРНОВ

ЗАКАТНЫЕ ГОДЫ

YMCA-Press, Париж, 1981

В книгах «На переломе» (1970) и «За рубежом» (1973) собраны воспоминания восьми членов известной московской семьи Зерновых, начиная с 1812 года по 1972 год. Эпилог этой внушительной хроники написан в 1980 году, незадолго до смерти, известным церковно-общественным деятелем Николаем Зерновым с помощью верного друга и помощника всей жизни — жены Милицы. Первоственной задачей автора было отразить мировоззрение оказавшегося за рубежом поколения русской эмиграции, прозванного «незамеченным» и тем не менее оставившего потомкам драгоценное наследие, природу которого пытается выяснить Н. Зернов. Для большинства этих людей единственная связь с родиной воплотилась в Церкви. Именно она давала тот образ России, который не могла уничтожить революция, именно она вносила в существование особый смысл. Сейчас получило широкое развитие экуменическое движение, то есть работа по сближению западных и восточных христиан, несущая в себе зерно важнейших перемен в будущем. Однако толчок ему был дан как раз в те годы и теми русскими, чья мысль просветлилась страданиями разлуки с родиной. В их числе — такие замечательные религиозные философы и богословы, как о. Сергей Булгаков, Николай Бердяев, Семен Франк и Георгий Федотов. Они считали, что распри и разделение среди христиан препятствуют проповеди Евангелия и что люди разных убеждений могут плодотворно сотрудничать, лишь оставаясь верными соборному началу Церкви и заповедям Спасителя. Сам Николай Зернов в 1925 году стал секретарем Русского Студенческого Христианского движения и издателем его вначале неизвестного «Вестника», который с годами превратился в один из наиболее жизненных и долговечных органов эмигрантской печати.

Православная модель представляется автору наиболее благоприятной основой для примирения Востока и Запада. Особая ее цен-

ность — в признании того, что Святой Дух «дышит идеже хочет», то есть что конфликт между единством и свободой преодолевается только в согласии. Существует немало и других замечательных преимуществ православия. Однако серьезнейший его недостаток коренится в том, что вместо упования на водительство Святого Духа православные ищут защиты у государства. Подобное заблуждение и вызвало такой чудовищный парадокс, что в нынешнем безбожном советском государстве иерархи вынуждены собственных гонителей называть благодетелями. Выход, по мнению автора, можно найти в построении церковной жизни без помощи светской власти и в единении православия с Церквями, близкими по духу, прежде всего — с римским католичеством.

Интересны и поучительны размышления Николая Зернова о связи ленинизма с атеизмом. Автор справедливо заключает, что борьба с религией была *необходима* Ленину прежде всего потому, что человек, отрехшийся от Бога, отрекается и от самого себя. Тогда он легче попадает под власть тоталитаризма с его ложью, страхом и попранием человеческого достоинства. «ГУЛаг был бы немыслим в стране, где значительная часть населения оставалась бы христианской». Вот потому-то большевики прежде всего уничтожали миллионы истинно верующих, способных до конца защищать свою веру и отдать за нее жизнь. Нынешнее советское общество духовно обескровлено, глубоко отравлено безбожием, долгими годами чудовищной атеистической пропаганды. Тем не менее глубокие моральные сдвиги, происшедшие в нем за последние десятилетия, позволяют автору надеяться, что русский народ рано или поздно обретет себя, найдя веру в исконном дорогом душе православии.

В книге есть интересные портреты ведущих экуменистов Запада, а также рассказ о таком своеобразном явлении западной церкви, как английское православие. Многие страницы посвящены освещению глубоких философско-богословских проблем бытия. Н. Зернову не свойственна распространенная беда представлять свое суждение истиной в последней инстанции. Он умеет советоваться с читателем, никогда не быть категоричным. Он всем своим существом проник в то, что «истина не доказуема, но показуема». Вот почему загадки Боговоплощения, жизни, смерти, добра и зла не имеют для него простого общеупотребительного ответа. Однако освещение подступов к истине, попытка раскрытия сути вопроса даются автором в ясной, четкой и доступной форме. Книга пронизана верой в Спасителя и в Его мощную чудодейственную поддержку человеку. Так было на протяжении всего тернистого пути человечества, так будет — и в

это свято верит автор — и в наш мучительный, раздираемый противоречиями век.

РОССИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ. Сборник статей.

Посев, Франкфурт, 1981

Этот небольшой сборник ценен для каждого, кому дорога история России. Стараниями советских идеологов она искажена до неузнаваемости. Но особенно не повезло одному из самых светлых ее периодов — периоду Думской монархии 1906—1916 годов, подготовленному эпохой реформ Александра II. Эта страница русской истории, по справедливому утверждению автора сборника, «оказалась забрызганной грязью многочисленных пристрастных статей ослепленного догматика...» Тем значительнее факт появления на свет новых материалов, по возможности восстанавливающих истину. Все статьи были опубликованы в журнале «Посев» преимущественно в течение 1979—1981 гг. Авторами являются такие известные деятели, историки и публицисты, как Н. Арсеньев, А. Столыпин, Н. Рутыч, В. Желягин и др.

Оглядываясь назад, мы яснее прослеживаем, какая связь существует между наиболее злобными и подлыми актами, совершенными в прошлом, и тем строем, который сейчас установился в России. Профессор Н. Арсеньев, анализируя суть реформ царя-Освободителя, пишет, что от его убийства прямая и ясная линия ведет к коммунизму. Террористам XIX века и коммунистам нынешнего не нужны реформы, даже самые радикальные и благотворительные. Им нужно государственно, морально и культурно-психологически уничтожить прежнюю Россию, что, благодаря общим усилиям, они и сделали. В интереснейшей статье «Ленин в Цюрихе — к вопросу о новой тотальной стратегии» Н. Рутыч раскрывает правоту А. Солженицына, который сумел впервые документально доказать, что Ленин брал огромные денежные суммы у германского правительства, заинтересованного в гибели России, для организации в ней подрывной и революционной деятельности. В дьявольском аспекте этой деятельности все средства, даже самые гнусные, хороши для достижения цели.

А между тем, начиная с реформ Александра II, Россия медленно и трудно, но неуклонно шла по пути демократизации, либера-

лизации и расцвета правовых свобод. 19 марта 1856 года в царском манифесте прозвучали слова: «Правда и милость да царствуют в судах». Деловая компетенция учрежденного в 1864 году местного самоуправления, так называемых земств, была необычайно широкой — туда входили и организация народного образования, и здравоохранение, и социальная помощь, и торговля, и индустрия. Именно земство обнаружило рост демократизации общества в России. По словам Е. Брейтбарт, оно «являет собой пример осознания нашей способности к деятельности на благо своей страны», а также пример высокого чувства ответственности и нравственных основ деятельности. Авторы статей раскрывают, как с установлением реформ начинается моральное выздоровление государства. Манифест 17 октября 1905 года положил начало превращению Российской Империи в конституционную монархию. С отменой цензуры необычайно возросла количественно периодическая печать. Газеты и журналы могли публиковать почти все. Возникло множество новых обществ и союзов, включая политические партии. Даже большевистская «Правда» была вынуждена признать, что «до конца 1915 года в России существовала законодательная охрана труда». Выдающийся государственный деятель того времени П. А. Столыпин заявлял: «Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Один иностранный наблюдатель сообщал своему правительству: «Русский народ демократизируется удивительно быстро и, что еще более замечательно, это происходит без усилий».

С точки зрения освещения реформаторской деятельности того времени, одними из лучших статей сборника являются статьи Аркадия Столыпина «Столыпинская реформа» и «Заселение наших азиатских пространств». Рассказывая о замечательной личности и замечательной деятельности П. А. Столыпина, этого либо замолчанного, либо оболганного большевиками государственного деятеля, А. Столыпин пишет, что главная суть его реформ заключалась в праве свободного выхода крестьян из общины. До того, даже перестав быть крепостным, крестьянин все равно как бы оставался рабом общины. Теперь он становился хозяином своей земли и с помощью ссуд Крестьянского банка мог откупать участки у помещиков. Все налогоплательщики страны помогали в этом крестьянам. Результат был поразительный. Без грабежей, без насилия площадь помещичьей земли постепенно сокращается, но сохраняются помещичьи культурные очаги, имеющие значение для развития страны. К 1913 году русское производство зерновых на 28% превы-

шало продукцию Аргентины, Канады и Америки вместе взятых.

Обобщая сказанное, читатель вместе с авторами статей приходит к выводу, что к началу революции, благодаря постепенным реформам, Россия в области политической, экономической и культурной пережила огромную эволюцию. Поэтому, несмотря на накопление революционных настроений в народных массах, перспектива дальнейшей мирной эволюции перед Россией была открыта. И не вина ее, а беда, что кучка зарвавшихся властолюбивых маньяков сделала всё, чтобы сорвать этот процесс и учредить в стране одно из самых бесправных и тиранических обществ из всех, которые знала история.

Андрей САМОХИН

КИТАЙСКИЙ КРУГ РОССИИ

Посев, Франкфурт, 1981

«Вопрос дальнейшего существования России, вопрос ее жизни и смерти» — так автор оценивает отношения между Россией и Китаем. Он считает этот вопрос одним из самых значительных, поставленных перед нами XX веком. Исходя из исторического обзора русско-китайских отношений в прошлом, автор приходит к выводу, что «нет неизбежности ни в войне, ни в мире», что можно и должно избежать войны. Правда, следует отметить, что исторический обзор слишком краток и написан с некоторой пристрастностью, позволительной автору исторических романов, но не историку. В отношении политики России в начале века полностью получает авторское одобрение П. А. Столыпин, что исторически совершенно верно, но слишком односторонне обрисована деятельность его предшественника графа Витте. Автор рассказывает о влиянии на русскую восточную политику авантюриста Бадмаева, чьи интересы совпадали с интересами так называемых «стародуров» — сторонников безграничного разрастания империи, и очень точно показывает разницу между созданием «классической» империи, начиная с XVI века (казацкие походы, а затем и закрепление на землях, где «не было никаких государств»), и стремлением к захватам в XX веке проливов и Маньчжу-

рии. Еще большая бессмыслица — стремление к расширению уже нынешней, советской империи. «Разное было расширение: одно дело Монголию прибрать к рукам, вот только зачем? В Эфиопии высадить целый экспедиционный корпус. Или прийти занять землю, на которой часто и не жил веками никто...» Тут вполне уместно сравнение расширения России на Восток с XVI по XVIII век и расширение США чуть позднее на Запад. Причем автор справедливо отмечает, что земли, на которых поселялись российские «пионеры» — казаки, были намного менее населенными, чем земли американского Запада, хотя ни там, ни там государств не было. Но на примере XX века автор показывает, что империалистическая политика безнадежно устарела. Устарела в принципе. И советский империализм — худший вид империализма вообще, ибо не территории нужны правителям советской империи, а установление идеологического диктата. Поскольку система по своим имманентным законам (в силу ее идеологической сущности) может либо расширяться, либо погибнуть, то империализм ее неизбежен — он условие выживания социалистической структуры. Вопрос об отношениях новой, неимпериалистической, национальной России с Китаем — главный вопрос нашего ближайшего будущего. «Жить с Китаем бок о бок на одной планете» — действительно историческая реальность. Но любое национальное русское государство будет поставлено перед проблемой отношений не только с Китаем, но и с бывшими советскими республиками. Правда, эти отношения никогда не вырастут, по справедливому мнению автора, в такую острую проблему, какую поставило вступление России в «китайский круг» ее истории, после «имперского круга двух прошедших столетий». Особенно опасным становится этот период в силу того, что всяким тираниям «свойственно расширяться любой ценой, даже вопреки безопасности самих правителей...» Это происходит из желания «перенести гнев и недовольство на другого противника, внешнего».

Далее в книге рассматриваются проблемы единого и расчлененного Китая, причем указывается, что советское руководство не допустит сохранения единого Китая, и наиболее вероятная точка агрессии — Синьцзянь. Поддержка Вьетнама, Индии, оккупация Афганистана — все это тоже имеет отношение к стратегии СССР в отношении Китая, тогда как бездарное упрямство из престижных соображений в отношении Курил привело к сближению Китая с Японией, что увеличивает угрозу. Правда, А. Самохин несколько выпускает из виду то, что Китай сам по себе тоже социалистическая империя и тоже стремится к расширению по тем же законам, ко-

которые толкают на это и СССР, посему отношения будущей свободной национальной России с Китаем зависят не только от доброй воли России, но и от Китая, который, по всей вероятности, останется идеологической социалистической империей дольше, чем Россия и республики-колонии. Коммунистический Китай создан с советской помощью, которая обернулась против России вообще, а не только против сегодняшнего советского правительства. Единственно, с чем нельзя согласиться из утверждений А. Самохина, так это с тем, что Китай по сути так и не стал и не станет коммунистическим государством, а сохраняет свою национальную оригинальность, не уничтоженную идеологическим режимом. Эта ошибка сродни той, которую допускают многие авторы в Европе и США, приписывая все последствия власти коммунистов не социалистической системе, а национальному характеру русского народа. Нет, сегодняшний Китай — типичное порождение марксизма, и национальные особенности тут ни при чем — они уничтожаются идеологическим аппаратом; иное дело, что уничтожить их, к счастью, невозможно. Кстати, по свидетельству самого же автора, в Китае распространена та же точка зрения на Россию, что и на Западе: «Постоянно ставится знак равенства между понятиями русский и советский. Всячески подчеркивается «русская угроза», которой вот уже 60 лет и быть не может. А понимания этого у китайцев нет, как нет и на Западе». Но так или иначе, автор прав в главном: «китайский вопрос придется решать, и решать его надо мирно».

Сергей КЛЫЧКОВ

КНИГА ЖИЗНИ И СМЕРТИ

*Serguei Klytchkov — Le livre de la vie et de la mort.
Lausanne, L'âge d'homme, 1981.*

Сборник избранной прозы Сергея Клычкова (1889—1940) на французском языке — очевидно, первое (если не считать польского перевода одного из его романов) переиздание этого незаурядного писателя со времени его трагической гибели. Клычков принадлежал к кругу таких крестьянских поэтов, как Н. Клюев, С. Есенин, П. Радимов, И. Грузинов. Но, в отличие от них, он более всего выявил себя в прозе, заняв видное место среди таких мастеров «сказа», как

Замятин, Пильняк, Пришвин и др. Данный сборник составлен из фрагментов трех его романов — «Сахарный немец», «Чертухинский балакирь» и «Князь мира», входивших в не оконченную им эпопею истории крестьянской Руси. Кроме этих книг Клычков выпустил семь сборников стихотворений. Причём главная линия его поэтического творчества (такие сборники, как «Дубравна», «Кольцо Лады») связана с поисками в области древнеславянской мифологии и фольклора. Эта же сторона оказалась наиболее живой и в его прозаическом творчестве, что особенно проявилось в самом значительном его произведении — романе-сказке «Чертухинский балакирь», представленном в данном издании несколькими колоритными отрывками. Образы «балакиря» Петра Кириллыча, колдуньи Ульяны, лешего Анютютика, Дубенской девки-русалки принадлежат к наиболее оригинальным созданиям писателя. Вместе с тем, несмотря на известное влияние Гоголя и фольклора, в центре внимания Клычкова всегда была жизнь его родной староверческой деревни — в годы ли крепостного права («Серый барин»), в годы ли первой мировой войны («Сахарный немец»).

Объявленный рапповской критикой «кулацким писателем», Клычков с редкой в те годы принципиальностью отстаивал своё право на самостоятельное творчество. И хотя это ему в известной степени и удалось, чаша тридцать седьмого года его не миновала. Характерно, что вынужденный раньше многих своих современников отойти от самостоятельного творчества в переводы, он обратился к народному эпосу (грузинскому, вогульскому, киргизскому).

Сборник тщательно составлен одним из немногих специалистов по творчеству Клычкова Мишелем Никё, проделавшим большую работу над переложением своеобразного языка писателя на французский. Кроме вводной статьи, составитель сопроводил публикацию обширным комментарием, опирающимся на малоизвестные материалы. Вскрывая мистические корни клычковой мифологии, Никё верно определяет стиль писателя современным термином «фантастический реализм». К немногим упущениям комментатора следует отнести тот факт, что из его поля зрения выпала интересная статья Клычкова «Лысая гора», направленная против лефовцев.

Французскому читателю будет интересно ознакомиться с этим редким образцом неподдельно художественного освоения русского фольклора. Русскому же остается пожалеть об отсутствии переизданий книг Клычкова.

Л. Ч.

По страницам журналов

«НАЧНИ ИЗДАВАТЬ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРЕСЛЕДУЕМЫХ ПИСАТЕЛЕЙ...»

«*INDEX on CENSORSHIP*», 1981, No. 50

«Люди, похоже, забывают, что цензура — это акт произвола столько же в отношении читателя, как и писателя». Эти слова Надин Гордимер, процитированные в передовой статье 50-го, юбилейного номера журнала «Индекс он Сензоршип», могли бы послужить эпиграфом ко всей десятилетней деятельности его издателей. 50-й номер «Индекса» подводит итоги этих десяти лет эффективной кампании за свободу слова во всем мире, предпринятую горсткой людей.

Этот юбилей приходится зачислить в невеселые — это, кстати, делает и сама редакция — по одной причине: количество и качество текстов в портфеле редакции отражает уровень преследования свободного слова во 2-й половине XX века на всех континентах земного шара. Хочется сказать: «Где б ты ни был, человеке, начни издавать журнал для преследуемых писателей — и недостатка в авторах заведомо не будет!»

Трудно коротко изложить даже перечень материалов, опубликованных в юбилейном номере. Большая группа независимых авторов, представляющих Восточную Европу, — естественно, наиболее интересующая нас тематика — дает спектр неподцензурной литературы этих стран.

Чехословакию представляют эссе Ивана Климмы и Яна Владислава, фрагмент донныне не публиковавшихся воспоминаний Ярослава Сейферта, новелла Йозефа Шкворецкого.

Из текстов русских непокорных писателей, несомненно, наиболее существенно эссе Владимира Максимова «Остров в океане тоталитаризма». Автор показывает, что только культура — в полном, широком значении этого слова — может сыграть важнейшую роль в сопротивлении пропаганде и деспотизму. В номере напечатаны также фрагменты романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» со вступительным очерком Роберта Чандлера.

Литовский режиссер Йонас Юрашас рассказывает о своем творческом и политическом пути, который из Государственного театра в Каунасе привел его на подмостки Бродвея.

Замечательная защитительная речь хорватского поэта Владо Готоваца на его процессе пришла в «Индекс», проникнув сквозь стены Загребской тюрьмы. Публикуемые фрагменты дают полный образ этой героической фигуры.

Польскую независимую литературу представляют Станислав Баранчак, в очерке «Десять моих нецензурированных лет» описывающий свой путь к «писательской свободе», один из старейших польских писателей Юлиан Стрыйковский, поэтесса Анка Ковальска и... цензор, выступающий под криптонимом К-62. Это перепечатка интервью, взятого журналисткой «Солидарности» в ноябре 1980 г. у молодого социолога, который, в частности, говорит: «Я хотел стать журналистом, поэтому считал, что никто и ничто так меня к этому не подготовит, как работа цензора».

С трудом ограничивая перечень, хотелось бы еще отметить тексты Хулио Кортасара, Габриэля Гарсия Маркеса, Артура Миллера, Курта Воннегута, Тома Стоппарда, Стефана Спендера, основателя журнала и его долголетнего главного редактора Майкла Скэммела. Все в целом дает известное представление, как власти в самых разных концах света стремятся подавить ту свободу, обладание которой требует наибольшей отваги, — свободу мысли.

Андрей Метковский

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМЕРА «ЛИБЕРАСЬОН» И «АЛЬТЕРНАТИВЫ», ПОСВЯЩЕННЫЕ ПОЛЬШЕ

Во Франции, кажется, как ни в одной другой западной стране, общественное мнение бурно отозвалось на события в Польше. Это во многом заслуга серьезной информированности о том, что происходило в Польше до 13 декабря 1981 года, и дальнейшего подробного освещения хода событий в стране, объявленной на военном положении.

Газета «Либерасьон», созданная в 1972 г. как широкий форум, условно говоря, беспартийных «леваков» и прошедшая с тех пор серьезную эволюцию и ряд перестроек (вплоть до временного прекращения выхода в свет), с середины 70-х годов постоянно внима-

тельно следила за развитием «диссидентства» в СССР и странах Восточной Европы. Ее нынешний спецвыпуск («Польша. 500 дней свободы, которые потрясли коммунизм») — результат давнего интереса к польским проблемам, а не просто отклик на злобу дня. Более чем на двухстах страницах представлены материалы, публиковавшиеся в газете в прошлые годы и в наши дни: от зачатков оппозиции до «польско-ярузельской» войны, от текстов, посвященных историческим годовщинам (таким, как десятилетие мартовских студенческих волнений 68-го года или декабрьского восстания 70-го на Балтийском Побережье), до документов ушедшей в подполье «Солидарности». Интервью с деятелями оппозиции, материалы от собственных корреспондентов, документы независимой прессы, отчет о съезде «Солидарности», обзорные статьи по польской экономике — все это не написано на случай, но извлечено из подшивки газеты за последние пять лет. Многочисленные фотографии номера — от танков на улице Познани в 1956 году до семисвечника (семи шахтерских ламп) памяти убитых на шахте «Вуек» — зримо воссоздают новейшую историю Польши.

Специальный номер, посвященный польским событиям, выпустил также журнал «Альтернатива» («L' Alternative»), содержание которого, из номера в номер, — права человека в СССР и странах Восточной Европы (Париж, издательство Масперо). Этот журнал по происхождению тоже скорее «левацкий», однако с самого начала (что проявилось и при создании редколлегии, включающей широкий спектр политэмигрантов, и в самом содержании) объективно освещающий положение в социалистическом лагере. Его спецвыпуск также составлен из материалов, публиковавшихся в номерах «Альтернативы», но исключительно после августа 1980 года: перед нами проходит вся история «Солидарности» — главным образом, в документах, начиная от первого забастовочного бюллетеня Гданьской верфи.

Следует отметить, что на страницах обоих изданий совершенно отсутствует столь свойственный западным «левакам» антиклерикализм. Если у «Либерасьон» это скорее исключение, которое она делает для Польской Церкви (осознав ее роль как моральной поддержки независимых движений), то в «Альтернативе», из номера в номер ведущей хронику преследований, создалось ясное сознание размаха как религиозных преследований, так и самих религиозных движений на Востоке (недаром досье одного из ее номеров было посвящено положению верующих)

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С НАДЕЖДОЙ ЯКОВЛЕВНОЙ МАНДЕЛЬШТАМ

От интервьюера

Впервые я встретилась с Надеждой Мандельштам во вторник 17 октября 1972 года. Ее «Воспоминания» уже были опубликованы по-русски и по-английски («Hope against Hope»), и вышедшая по-русски «Вторая книга» тоже вскоре должна была появиться по-английски под названием «Hope Abandoned».

Мой муж Эрик Де Монн был тогда корреспондентом Би-Би-Си в Москве. Мы приехали на второй срок его пребывания в советской столице в конце марта 1972 года. Вскоре после нашего приезда был выслан Дэвид Бонавиа, корреспондент лондонского «Таймса», — перед приездом Никсона советские власти хотели отделаться от слишком хорошо информированного западного корреспондента. Он ввел нас в круг своих неофициальных контактов (например, на проводах Бонавиа мы впервые встретились с Андреем Сахаровым, который в те времена еще не поддерживал широких контактов с корреспондентами).

К октябрю мы расширили круг наших русских друзей, и тогда Кирилл и Ирина Хенкины познакомили нас с Надеждой Яковлевной. Противоречащие друг другу английские заглавия двух томов ее воспоминаний вызвали у меня тогда вопрос, как она себе представляет будущее своей страны. Она несколько раз повторила, что ее единственная надежда — загробная жизнь. Это не совпадало с тем оптимистическим оптимизмом, который звучал в заключительных главах первого тома ее воспоминаний, написанных, когда она наконец впервые постоянно поселилась в Москве в 1964 году. Этот оптимизм она позднее ощутила как неоправданный.

Уже в 1972 году Надежда Яковлевна настаивала, что единственная надежда на будущее России — Церковь. Сохранила ли она эту надежду до самой смерти? Есть основания думать, что нет. Об этом можно судить по интервью, которое я записала на магнитофон в конце 1977 года. По моим сведениям, это единственное ее интервью, записанное на ленту. Я дала ей обещание не публиковать его при ее жизни.

Интервью должно было последовательно описывать ее жизнь, с детства и до наших дней, и я тщательно подготовила все вопросы. Я хотела также выяснить некоторые обстоятельства жизни Мандельштамов, которые меня озадачивали: например, почему Осип Мандельштам в 20-е годы отказался уехать за границу, как предлагал ему Бухарин. Кроме того, мне хотелось, чтобы Надежда Яковлевна повторила то, что уже говорила в наши предшествующие встречи: обращение Мандельштама в христианство, совершившееся в молодости, не было, как принято считать, «крещением по обстоятельствам», ради поступления в Петербургский университет. Действительно, он и без того, будучи еврейским мальчиком, получил возможность учиться в петербургском Тенишевском училище.

Увы, интервью осталось незавершенным. Когда я вернулась в Москву в октябре 1977 года, Надежда Яковлевна была в таком физическом состоянии, что, когда она открыла мне дверь, я ее не узнала, и она чуть не захлопнула дверь перед моим носом. Я не предупредила ее о своем приезде, не смогла это сделать ни по каким каналам, и не знала, согласится ли она на запись разговора. Действительно, мое первое впечатление было, что я со своим замыслом уже опоздала. Все-таки, несмотря на страх и физическую слабость, она согласилась дать интервью. Ее голос зачастую сходил на нет, она задыхалась, делала долгие паузы. От некоторых вопросов, которые я хотела задать, пришлось отказаться, так как я боялась, что для нее все это слишком утомительно. Я была уверена, что ей осталось жить совсем немного. Я ошиблась — она прожила еще три года.

Ей хотелось смерти, но она не могла умереть. Ее манера мыслить была по-прежнему живой и острой, но представление о текущих событиях было затуманено. Ее непреклонная вера в загробную жизнь оставалась ее единственной нравственной опорой.

Во время записи интервью моему мужу и мне казалось, что она проходит сквозь какое-то умственное чистилище, откуда ее могла вывести только смерть.

Неужели жертва ее жизни, жизни Осипа Мандельштама и многих миллионов людей сталинских времен осталась напрасной?

Была ли ее умственная агония результатом физической слабости и бремени лет после отданной в жертву жизни? На этот вопрос нельзя ответить — пусть текст интервью говорит сам за себя.

Надежда Мандельштам была женщиной сильной и выносливой, очень веселой, большого ума, остроумия и неожиданной нежности. Я вспоминаю ее с непреходящей любовью.

Элизабет Де Мони

— Надежда Яковлевна, скажите, пожалуйста, где вы родились?

— В Саратове, это город на Волге.

— Мало кто знает, что вы провели часть своего детства на Западе. В каких странах вы жили?

— Не знают, конечно, потому что я сама точно не помню. Я жила во Франции, Италии, Швейцарии, Германии, была в Швеции.

— В каком возрасте вы вернулись в Россию?

— Мы всегда возвращались в Россию. Два года мы жили в Швейцарии, мы долго там задержались.

— Бывали ли вы в Париже?

— Конечно, я была в Париже. Я помню праздник святой Катерины. Я даже надевала «чепец св. Катерины». Это праздник старых дев — в июле, кажется.

— Были ли вы в Лурде?

— Конечно. Мои родители не были набожными, но меня возили в Лурд.

— Когда вы жили на Западе, вы были очень молоды. Оказало ли время, проведенное там, большое влияние на вас?

— Я не знаю, но я рада, что была, потому что у меня нет такого чувства отчуждения.

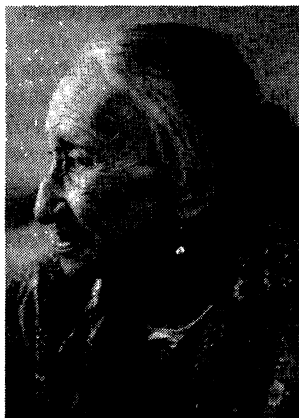
— Вы верующая?

— Да. Хожу в церковь.

— И вы всю жизнь ходили в церковь?

— Няня возила меня в церковь, русская няня.

— Ваша мать была еврейкой, но Ваш отец был, кажется, баптист? Это верно?



— Он был крещен. Потому что его отец, мой дед, был кантонист. Это были дети, которых забирали и, когда был период обрусения при Николае Первом, их крестили почти насильно.

— *А мать?*

— Мама осталась еврейкой. Они женились где-то во Франции.

— *Не скажете ли вы, как вы встретились с Мандельштамом?*

— Был такой клуб в Киеве, в 19-м году. Мне было как раз 19 лет. Это был клуб, который назывался «Хлам»: Художники, Литераторы, Артисты и Музыканты. Мы там собирались каждый вечер, и он пришел. И меня познакомила с ним одна... Все условились не знакомить меня, а какая-то проститутка познакомила.

— *Когда вы с ним познакомились, он был уже известным поэтом?*

— Он был известен. И я знала, что он поэт.

— *И вы уже думали тогда, что он гений?*

— Был ли он гением, я не знаю. Он был дурак.

— *Он был... очень глупый молодой человек?*

— Вы облагораживаете. Он был — я резче говорю.

— *Был ли он также веселым молодым человеком?*

— Очень веселый, всю жизнь веселый, даже в несчастьях.

— *Сохранил ли он эту веселость и в тяжелые, трудные годы?*

— В тяжелые годы? В лагере — нет. В лагере он просто сошел с ума. Он боялся есть, думал, что его отравят.

— *Был ли ваш муж добрым человеком?*

— Со мной — нет, а с людьми — да, особенно с детьми. Ну, он меня никуда не пускал.

— *Некоторые мне говорили, что он был очень трудным человеком.*

— Он был трудным человеком для меня. И для сволочи. Кругом были сволочи одни.

— *Но вы посвятили ему всю свою жизнь...*

— К сожалению.

— *Можете ли вы сравнить его с каким-нибудь другим поэтом его поколения?*

— Конечно, Пастернак, а больше никого.

— *И больше ни с кем?*

— Ну, женщины: Ахматова, Цветаева, но я думаю, что это дешевка по сравнению с Пастернаком и Мандельштамом.

— *Но Ахматова была, пожалуй, его самым близким другом?*

— Была. Но по отношению ко мне она была не очень хороша. Она мне сказала через сорок лет, тридцать пять лет после смерти Оси: «Вот теперь видно, что вы были подходящей женой».

— *Оказала ли она на него большое влияние?*

— Нет, никакого.

— *Ваш муж был человеком абсолютно неподкупным, человеком абсолютной порядочности...*

— Нет.

— *Я хочу спросить — что именно принес он людям: свою поэзию или свою абсолютную честность?*

— Не знаю. У меня нет никаких сведений о том, что он известен на Западе. В России — да. В России во всех домах интеллигентных есть списки его стихов. Он до сих пор список, а не человек. И потом эти анекдотические рассказы о нем, что он «раздражался». Он просто отбрасывал.

— *В вашей книге, в первом томе, вы пишете, что, когда Мандельштам умер, вам очень помогли его слова: «Почему ты думаешь, что ты должна быть счастливой?»*

— Он мне всегда так говорил: «Почему ты думаешь, что ты должна быть счастливой?» Это его христианство.

— *Его христианство?*

— Он был христианин. Он верил в Христа.

— *Когда он крестился: в детстве или уже взрослым?*

— Взрослым. Ему было около 22-х лет. Всегда пишут: «для того, чтобы поступить в университет», но это чепуха, блата хватило бы. Он просто верил, и это, конечно, на меня тоже оказало влияние.

— *Вы говорите, что ваш муж крестился, когда ему было 22 года. Он умер почти 40 лет назад. Вы по-прежнему чувствуете свою близость с ним?*

— Очень долгое время я чувствовала, а потом перестала, сейчас перестала. Он подслушал, как я на исповеди сказала, что я ему изменяла.

— *На то, чтобы спасти произведения вашего мужа, ушло почти 40 лет вашей жизни. Ощущаете ли вы удовлетворение от того, что труд ваш и его жизни завершен?*

— И да, и нет. Я отдала жизнь на это. Это было очень трудно. И теперь я чувствую себя совершенно опустошенной.

— *Что бы вы хотели еще сделать?*

— Я хотела б написать о своем отце, у меня был чудный отец, но у меня уже нет сил. Может, я попробую. Не от того нет сил, что мы сейчас разговариваем, — от жизни. Я бы очень хотела смерти. Еще хотела бы умереть здесь, а не в лагере. Такая возможность тоже есть: если уйдет Брежнев.

— *Когда еще был жив Мандельштам, в 20-е и в начале 30-х годов, у вас был один покровитель — Бухарин. Говорили, что будто власти сообщили семье Бухарина, что он никогда не будет реабилитирован.*

— Я знаю. Они его не собираются реабилитировать. Он был слишком сильным человеком для этого — потому они его и убили. Это вам не Молотов, длинношеее существо — три «е»: длинношеее, и не человек, а существо. (О Бухарине:) Очень был веселый.

— *В вашей книге вы пишете, что всеми благами, которые были у него в жизни, Мандельштам был обязан Бухарину.*

— Он спасал нас просто, очень активно.

— *Надеетесь ли вы, что Бухарина когда-нибудь реабилитируют?*

— Для этого должно все перемениться. Не знаю, возможно ли это в мертвой стране.

— *Есть в вашей книге очень важная строчка. Вы пишете, что смерть художника всегда бывает не случайностью, а последним творческим актом.*

— Это не мои слова, это слова Мандельштама. Это в статье о Скрябине он говорит. Но он наивно говорит, что Россия знала Скрябина. Россия совершенно не знала Скрябина — знала кучка музыкальных людей в консерватории.

— *Ваш муж написал свое стихотворение о Сталине после того, как увидел последствия коллективизации на Украине и почувствовал, что не может больше молчать?*

— Это первое стихотворение? Да.

— *Говорил ли он с вами, пока писал его, или сразу написал?*

— Конечно, говорил. Он мне каждую строку показывал. У меня, наверное, хороший слух на стихи.

— *Когда он писал его, думаете ли вы, что он понимал, что оно приведет к его смерти?*

— Конечно! Он думал только, что его сразу расстреляют.

— *Думаете ли вы, что он был прав?*

— Я думаю, да. Но это относится не только к Сталину, это относится ко всем. Брежнев — первый

не кровопийца, не кровожадный. Солженицына, например, за границу выслал. Хрущев еще упражнялся. Он здесь расстрелял людей за то, что они продавали губную помаду самодельную — я знаю это от Эренбурга. Он на Украине провел сталинскую политику — там кровь лилась страшная.

— Путешествия на Запад оказали на Мандельштама огромное влияние, и вы писали, что Средиземноморье было для него чем-то вроде Святой Земли. Думаете ли вы, что классическая культура Древнего мира — Греции и Рима — оказала наибольшее влияние на него как на поэта?

— Греция — да, но он никогда не был в Греции. В Риме он был, но про Рим он говорил, что это камни, а Грецию он очень живо чувствовал. Потом, Грецию можно чувствовать и по стихам, и по литературе. Я тоже не была в Греции.

— Но, как вы уже говорили, он был до глубины души христианином. Среди всех страданий сталинских времен, его и ваших страданий, не терял ли он когда-нибудь надежду?

— Нет, надежда всегда была. Меня зовут Надеждой. Но ясно было, что после смерти Сталина будут облегчения. Такого другого животного нельзя было найти. Ассириец. Я говорю, что он гений, потому что в сельскохозяйственной стране он уничтожил все крестьянство за два года.

— Вы говорите, что Мандельштам никогда не говорил о своем «творчестве». Он всегда говорил, что «строит» вещи. Полагаете ли вы, что свою поэзию он рассматривал как некий проводник Божьей благодати?

— Я думаю, что да, но я никогда не спрашивала.

— В те годы, что вы жили с ним, посвящая ему всю свою жизнь, вы, наверное, много раз спасали его от отчаяния и, возможно, от смерти?

— Я много думала о самоубийстве, потому что жить было совсем невозможно. Был голод, была бездомность, был ужас, которого нельзя себе представить, была страшная грязь. Абсолютная нищета.

— *Была ли его дружба с Ахматовой источником силы для него?*

— Скорее для нее.

— *Какая была она?*

— Ахматова? Красивая женщина, высокая. На старости она распахивалась. У нее не было нормальной старости.

— *Вы пишете, что Мандельштам подвергся одному очень сильному влиянию...*

— Иннокентий Анненский. Это был любимый поэт, единственный из символистов. Он повлиял на всех: на Пастернака, на Ахматову, на Мандельштама, на Гумилева. Это дивный поэт, его мало знают за границей, его не переводят. Это чудный поэт. Я, к несчастью, отдала книжку его одному священнику, который приехал. Чтобы немножко вразумить его: он писал стихи, но очень плохие, наверно, — я ему дала, достать нельзя. Это [Анненский] религиозный философ, сейчас это окончательно выяснилось, потому что нашли новые письма — два, и там это совершенно ясно уже.

— *Вы говорите, что сильное влияние на Мандельштама оказал Чаадаев. И что из-за этого влияния он не воспользовался в 1920 году возможностью уехать за границу.*

— Да, потому что Чаадаев... он хвалит Чаадаева за то, что он вернулся в небытие из страны, где была жизнь.

— *Думаете ли вы, что Мандельштам таким образом намеренно отказался от Европы? Что он как бы повернулся спиной к Европе?*

— Он боялся, что заговорит за границей во весь голос и потом не сможет вернуться.

— Но он уже понял к тому времени, что оставаться в России опасно?

— Он понимал, конечно. Что было делать? Мой отец сказал: «Я столько лет пользовался правами и законами этой страны, что я не могу покидать ее в несчастье». Приблизительно такое отношение было и у Оси.

— Как вы полагаете, он принял это решение как поэт или как человек?

— Я думаю, что как поэт, потому что вне русского языка было бы...

— В вашей первой книге есть глава, которая называется «Возрождение», где вы говорите о возрождении духовных ценностей, утраченных в 20-30-е годы. Продолжаете ли вы верить в это возрождение?

— В то, что они воскресли? Нет. Здесь ничего воскреснуть не может. Здесь просто все мертво. Здесь только очереди. «Дают продукты». Очень легко управлять голодной страной, а она голодная. Брежнев и не виноват в том, что она голодная, — 60 лет разоряли хозяйство. Россия кормила всю Европу хлебом, а теперь покупает в Канаде. При крепостном праве крестьянам легче жилось, чем сейчас. Сейчас деревни стоят пустые. Старухи и пьяные старики. Только женщины, замуж не за кого выйти. Мужчины после армии женятся на любых городских, лишь бы не вернуться в деревню. Опустошенная страна. Работают студенты. Во сколько это обходится фунт хлеба, я не представляю себе! Профессура, хорошо оплачиваемая, сидит дома, а студенты работают. И они не умеют работать. Лет 15 тому назад мне говорили женщины, что в деревнях уже никто не умеет сделать грядки.

— Вы много говорите в своей книге об утраченных духовных ценностях деревни. Надеетесь ли вы, что эти ценности возродятся?

— Не знаю. Сейчас надежда уже теряется. Пока я ездила на метро, я только удивлялась, какие мертвые

лица. Интеллигенции нет. Крестьянства нет. Все пьют. Единственное утешение — это водка.

— *Но среди молодежи сегодня, возможно, больше интереса, чем раньше, к христианству и к Церкви?*

— Очень многие крестятся. Крестятся и пожилые люди. Но большей частью интеллигентные.

— *Вы говорите, что Мандельштам повторял вам, что история — это опытное поле для борьбы добра и зла.*

— История? Да. Вот видно — на нашем примере.

— *Но как христианка вы должны верить, что, в конце концов, добро вырастет даже из ужасных страданий вашей страны в этом веке.*

— В этом столетии — не знаю, но, может быть, когда-нибудь. Во всяком случае, как Чаадаев говорил, «свет с Востока» — не придет. Чаадаев надеялся, что свет придет с Востока, но я не вижу этого. Сейчас никаких признаков нет.

— *Вы никогда не думали о переходе в католичество?*

— Я — нет! Ося хотел стать католиком. А я привыкла в Софию ходить. После заграницы, после двух лет в Швейцарии, я жила в Киеве. Мне 9 лет было. И нянька меня водила в Софийский собор. Я до сих пор не могу забыть его — и ездила с ним прощаться. Дивный собор! Ведь была когда-то Россия великой страной...

— *Но положение в вашей стране стало немного лучше. Не думаете ли вы, что, если бы у молодежи было больше мужества, положение улучшилось бы?*

— Я думаю, что, если молодежь придет, она будет сталинистами, потому что она по-прежнему поверит в террор и в Ленина. Она не знает, что это первыми на них отразится.

— *После всего, что вы пережили, с вашим опытом, что бы вы сказали молодежи России?*

— Бесполезно им говорить, они над старухой посмеются. Их вполне водка устраивает. Думаю, что сейчас уж ничего не спасет. Слишком долго это держится — 60 лет. Мне 77 — значит, 17 лет у меня были нормальные...

ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ

Самое сильное впечатление от этого интервью — то, что к Надежде Яковлевне Мандельштам, быть может, еще больше подходят слова, отнесенные ею к Ахматовой: «У нее не было нормальной старости». Впрочем, Н. Я. признаёт и большее: «Мне 77 — значит, 17 лет у меня были нормальные...»

Окружающие могли ждать для нее еще многих несчастий — и дождались: опечатанной квартиры, полуукраденных похорон. Но все-таки всем было ясно, что на восьмом десятке ее, вдову Мандельштама, знаменитую на весь мир своими книгами, не поса- дят. Ее постоянное возвращение к теме возможного ареста иногда воспринималось почти как игра — а было оно реальностью, страшным страхом перед смертью в лагере, быть может, сумасшедшей, невменяемой смертью, подобной смерти Мандельштама.

На фоне этого смешно спорить с голосом из-за гроба, даже когда этот голос несправедливо зол или несправедливо наивен. Кто способен ощутить эту внутреннюю «опустошенность» женщины, полжизни отдавшей на то, чтобы воскресить Мандельштама — «не человека, а список»?

Будь она жива, можно было бы с ней поспорить. Она сама была спорщицей, но любила спорщиков, любила противоречить и любила, чтобы ей противоречили. Ее высказывания — зачастую провокация. Но ответить на эту провокацию мы уже не можем.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»

ЗА 1977—1981 гг. (№№ 11—30)

ПРОЗА И ДРАМАТУРГИЯ

Василий Аксенов. Цапля. Комедия для театра, равно как и для чтения. XXII — 118 (Авторы «МетрОполя» в «Континенте»); Свияжск. Повесть. XXIX — 95.

Юз Алешковский. В крысином забое (Отрывок из романа «Кенгуру»). XXV — 129.

Яцек Березин. Поезд. XV — 48.

Борис Брикер, Анатолий Вишевский. Короткие рассказы. XXVII — 81.

Николай Вильямс. Алкоголики с высшим образованием. Картины народной жизни. XXV — 93.

Виктор Ворошильский. Венгерский дневник. XVI — 12.

Юрий Гальперин. Три рассказа. XXVI — 69.

Анатолий Гладиллин. Репетиция в пятницу. XII — 47, XIII — 91.

Семен Глузман. Ангел на карнизе. XXIV — 15 (Круг рассказчиков).

Пауль Гома. Обратная стойка. Глава из романа. XVIII — 7.

Фридрих Горенштейн. Зима 53-го года. Повесть. XVII — 11, XVIII — 133; Яков Каша. Повесть. XXIX — 11.

Давид Дар. Речь, которую я хотел бы произнести у своего гроба. (Из книги «Маленькие завещания»). XIV — 94.

Вадим Делоне. «Нет меня, я покинул Россию...» (Памяти друга). XXVI — 167.

Милован Джилас. Первое причастие. Пер. с сербско-хорватского. XXIV — 114 (Круг рассказчиков).

Сергей Довлатов. По прямой. XI — 129 (Круг рассказчиков); Юбилейный мальчик. Рассказ. XIX — 49.

Марк Зайчик. На службе. XXVIII — 56 (Круг рассказчиков).

Фазиль Искандер. Кролики и удавы. XXII — 51 (Авторы «МетрОполя» в «Континенте»), XXIII — 79.

Феликс Кандель. Старик Семеныч. XI — 141 (Круг рассказчиков); «Это не телефонный разговор...». XVI — 95; Зона отдыха или 15 суток на размышление. XX — 13.

Евгений Козловский. Диссидент и чиновница, или внешне неправдоподобное, но абсолютно достоверное повествование о том, как на зеленом сукне появились белые пятна. XXVII — 15; Красная площадь. Повесть из цикла «Москвбургские повести». XXX — 12.

Кирилл Косцинский. Наброски к будущей книге. XXI — 154.

Валерий Левятов. Земную жизнь пройдя до середины... XXI — 39.

Аркадий Львов. Человек из ВОХР. XXVIII — 34 (Круг рассказчиков).

Евгений Любин. «Арифметика» (Советский триптих. Рассказ второй). XXIV — 61 (Круг рассказчиков).

Владимир Максимов. Ковчег для незваных. Главы из романа. XIV — 5, XVI — 115; Сага о носорогах. XIX — 21; Они и мы. Размышления у театрального подъезда. XXIII — 15; Чаша ярости. Роман. Часть первая. XXX — 76.

Арман Малумян. Лагерные притчи. XXVI — 149.

Владимир Марамзин. Начальник. Повесть. XXVI — 100.

Лев Меламид. Русское подворье. XXVIII — 66 (Круг рассказчиков).

Юрий Милославский. Любовь. XXIV — 74 (Круг рассказчиков);

Омельяшко. XXVIII — 25 (Круг рассказчиков).

Софья Мотовилова. Предсмертное письмо. С предисловием В. Некрасова. XV — 67.

Эрнст Неизвестный. Три фрагмента. Главы из книги. XXI — 7;

Лик — лицо — личина. Новые главы из одноименной книги. XXVII — 110.

Виктор Некрасов. Взгляд и нечто. Часть вторая. XII — 90, XIII —

7; По обе стороны Стены... Часть первая. XVIII — 55; То же. Часть вторая. XIX — 77.

Вадим Нечаев. Летний отпуск художника. XXIV — 103 (Круг рассказчиков).

Казимеж Орлось. Дивная малина. XI — 65, XII — 124, XIII — 139, XIV — 117.

Петр Равич. С похмелья, или Записки контрреволюционера. Сокр. пер. с франц. Никиты Кривошеина. XXV — 7.

Леонид Ржевский. Клим и Панночка. Повесть. XII — 5.

Геннадий Русский. Клейма. К иконам северорусских святых. XXII — 7, XXVI — 15 (К 1000-летию крещения Руси).

Владимир Рыбаков. Зерно. XXVIII — 46 (Круг рассказчиков).

Гелий Снегирев. Мама моя, мама... Лирико-публицистическое исследование. XI — 11, XII — 163, XIII — 173, XIV — 152, XV — 90; «Как на духу...». [С предисл. Виктора Некрасова]. XXI — 89.

Вячеслав Сорокин. Маленькие истории из цикла «Любимый человек». XX — 94; Визит сенатора. — Пари. — Банкнота. XXVII — 60.

Александр Суконик. Романс в прозе. Рассказ. XV — 10; Встреча. XXIV — 28 (Круг рассказчиков).

Душан Шимко. Три рассказа. Перевод со словацкого. XI — 150 (Круг рассказчиков).

Антанас Шкема. Лифт. Рассказ. Пер. с литов. Феликса Дектора. XV — 133.

Сергей Юрьенен. Под знаком близнецов. XVII — 111.

СТИХИ

Владимир Адмони. Зимняя память. С послесл. Вадима Нечаева. XXVII — 71.

Михаил Айзенберг. «Свет мигает, нефть полосуется...» [и др.]. XIII — 206.

Владимир Алейников. Возвращение на Итаку. XIX — 71.
Юрий Алексеев. Петербург. XXII — 46.
Юзеф Алешковский. Песни. XXI — 146.
Зоя Афанасьева. Царскосельские строфы. XV — 44; Из книги «Метрополия». XXV — 123.
Станислав Баранчак. Пять стихотворений. Пер. с польского Василия Бетаки. XII — 45; Свой угол. Жилищные стихи. Пер. с польского Н. Горбаневской. XXIV — 7.
Иосиф Бейн. Посторонний. — Солнце на пятнах. XII — 120.
Василий Бетаки. Фуга [и др.]. XV — 128; Из книги «Европа — остров». XXIII — 71.
Ина Близнцова. Пейзаж с ангелом. XXVII — 102.
Дмитрий Бобышев. Зияния. XV — 56; Ксения Петербургская. XXVIII — 83.
Константин Богатырев. Переводы из Райнера-Марии Рильке. [С предисл.: Кристофор Барнс. Памяти Константина Богатырева]. XI — 59.
Иосиф Бродский. Литовский дивертисмент. XI — 160; В Англии. XIII — 132; Шорох акации [и др.]. XIV — 88; Строфы [и др.] XVIII — 117; Эклога IV-я (Зимняя). XXVI — 7; Стихи о зимней кампании 1980-го года. XXIX — 7; Римские элегии. — Эклога V-я: Летняя. XXX — 61.
Игорь Бурихин. В ветер в Вене. Фантазия на крик голубей и шепот сфинксов [и др.]. XXVII — 141.
Александр Верник. «...Как ручей и листок». XX — 107.
Мирко Видович. Из книги «Белый рыцарь». Пер. [с франц.] Н. Горбаневской. XIV — 193.
Лия Владимирова. Муза [и др.]. XVI — 91.
Александр Галич. [Мстиславу Ростроповичу] «На стене прозвенела гитара...». XIII — 4 стр. обложки; С последней ленты. — Последняя песня. XV — 8.
Сергей Гандлевский. «Далеко от соленых степей саранчи...». — «Подступал весенний вечер...». XXVIII — 16. (В гостях у «Континента» — «Московское время».)
Евгений Герф. Ясный вечер на Доброслободской [и др.]. XXVIII — 103.
Владимир Голицын. Оттенки на холсте. XXV — 89.
Наталья Горбаневская. Три стихотворения Адаму Михнику. XIII — 5; Из стихов 1979-1980 гг. XXVI — 139; [А. Д. Сахарову] «И глянул окрест, и душа его...». XXVII — 3 стр. обложки.
Анна Горбунова. «Кто плачет, а кто празднует...» [и др.]. XII — 85.
Вадим Делоне. «Я огорошен звездным небом...» [и др.]. XVI — 87; Баллада о судьбе. XXII — 50; Баллада о Владимире Высоцком. XXVI — 170.

Виталий Дмитриев. «Пока иду на поводу...». — «...и с ума не сойду, и уже не сопьюсь...». XXVIII — 13 (В гостях у «Континента» — «Московское время»).

Лев Друскин. Стихи. XXX — 173.

Евгений Дубнов. «Время еще одному ноябрю...». — [Памяти Давида Дара] «Где лежит земля и остро дышит грудь...». XXX — 181.

Иван Елагин. Из переводов: Стивен Винсент Бене. Тело Джона Брауна (отрывок из шестой книги). XI — 120; Личное дело. XV — 123; «Вверху хрусталем и хромом...» [и др.]. XIX — 43; «У самого дома взъерошенным кленом...». XXIV — 140.

Михаил Еремин. Стихи разных лет. XXI — 34.

Анатолий Жигалов. Бубенцы паломника. XVII — 107.

Яков Зугман. «Ты мне не верь, как я себе не верю...» [и др.]. XXVIII — 103.

Виолетта Иверни. Рейнское вино. XI — 166; «Повяжу тебя стихом, как грехом...» [и др.]. XVI — 81; «Отпетым песням...» [и др.]. XXVII — 54.

Елена Игнатова. Из второй книги. XXII — 43; «Мы засыпаем без слез...» [и др.]. XXIX — 91.

Борис Календарев. Осенние сны наяву. XXIV — 134 [Поправка: автор опубликованных стихотворений — Александр Фрадис. XXV — спец. прил. 17].

Бахыт Кенжеев. «Нырнуть бы в праздник, точно в прорубь...» [и др.]. XI — 5; «собираясь в гости к жизни...» [и др.]. XXIII — 65.

Анка Ковальска. Стихи из цикла «Разговоры с братьями». Пер. с польского Н. Горбаневской. XXVIII — 19.

Юрий Колкер. Жизнь моего приятеля. XXIX — 87.

Наум Коржавин. «Бог за измену отнял душу...» [и др.]. XII — 151; Московская поэма. XVIII — 38.

Михаил Крепс. Май на Колыме. XIII — 204.

Виктор Кривулин. Гобелены. — Обряд прощания. XXVIII — 99.

Рышард Криницкий. Это сердце мое так колотится [и др.]. Пер. с польского Н. Горбаневской. XV — 85.

Кубинские поэты-политзаключенные в переводах Василия Бетаки: Армандо Вальдарес. Голоса моих решеток. — Эрнесто Диас Родригес. Все кажется игрой. — Страх. — Мигель Салес. Твой грустный лик уходит дымом. — Тюремное. XX — 7.

Юрий Кублановский. Стихотворения (лето 1979 г.). XXII — 108. (Авторы «МетрОполя» в «Континенте»); «...Этот довесок зимы...» [и др.]. XXVII — 147.

Константин Кузьминский. Вавилонская башня. Отрывки из поэмы. XX — 112.

Инна Лиснянская. «Кусочек мироздания...». XXIII — 7; Дни [и др.]. XXVI — 174.

Алексей Лосев. 1974 [и др.]. XXIV — 89.

Юрий Милославский. Накопился недосып. XVII — 152.

Чеслав Милош. Особая тетрадь: Звезда Полынь. Пер. с польского Н. Горбаневской. XXVII — 7.

Даниил Надеждин. Два стихотворения: «Мятежный город иссекала...». — «Ты многое в прошлом сумеешь забыть...». XX — 118.

Виктор Некипелов. «Тракт поэзии русской — навеки...» [и др.]. С предисл. Александра Галича. XII — 156.

Валерий Перелешин. Сонеты о России. XVI — 109.

Сергей Петрунис. Из цикла «Позже, чем полночь». XXVII — 159.

Герман Плисецкий. «Разбудил меня грохот на крыше...» [и др.]. XXIV — 53; Стихи разных лет. XXVI — 94.

Леонид Плющ. Семиугольная фантазия из 3-х наступлений и 4-х отступлений. XIX — 164.

Татьяна Полетаева. «И я вхожу, как входят за порог...» [и др.]. XXVIII — 7. (В гостях у «Континента» — «Московское время»).

Виталий Помазов. Посвящается Александру Гинзбургу. XVII — 7.

Игорь Померанцев. «Ночь ранняя. Возможно, звездная...» [и др.]. XXIV — 129.

Кирилл Померанцев. Стихи разных лет. XXVII — 78

Нестор Пушлер. [Пародии]. XIX — 7.

Алексис Раннит. Композитору [и др.]. Пер. с эстон. Василия Бетаки. XVII — 153.

Марлена Рахлина. Из цикла «Прозрачный октябрь». XXX — 177.

Валерий Рубин. Особый поезд [и др.]. XXX — 183.

Илья Рубин. «Блажен, кто отыскал разрыв-траву...» [и др. С предисл. Р. Нудельмана «А нам с тобою не забыть вовек...»]. XIII — 83.

Дмитрий Савицкий. Вдвоем. XXIX — 141.

Генрих Сапгир. Из книги «Сонеты на рубашках». XVI — 133.

Иван Светличный. Рыльские октавы. Пер. с укр. и вступит. заметка Леонида Плюща. XIX — 157.

Алексей Семенов. Из эстонских поэтов: Уку Мазинг. Песня отступающих перед бесами солдат. — Яан Каплински. «Ох этот звон колокольный...». — Юхан Виидинг. «Пока что молод только утомляться начинаю...». — «Мотылек, порыв твой чуден и странен...». XXX — 7.

Феликс Серебров. Держись, держись, не падай духом... [С предисл. Т. Ходорович]. XVIII — 176.

Александр Сопровский. «Земли осенней черные пласты...» [и др.]. XXVIII — 10. (В гостях у «Континента» — «Московское время»).

Стихи грузинских поэтов (Пер. и предисл. Василия Бетаки): Николоз Бараташвили. Мерани. — Звиад Гамсахурдиа. Иоанн Златоуст [и др.]. — Нико Самадашвили. «Мысль моя рушится...». — «Подожди — из сада голос зазвучит...». — Шота Чантладзе. «Я пою, как поломанная флейта...». — Николоз Сантарадзе. Новый год. XIV — 141.

Стихи современных украинских поэтов в переводах Игоря Качуровского: Лина Костенко. «Есть розы-стихи и стихи-думы...». —

«Поле все такое белое...». — Микола Руденко. Всадник. — Иван Сокульский. Из сборника «На Голгофу». — Зиновий Красивский. «На пьедестал из мертвых тел...». XVI — 7.

Стихи украинских и польских поэтов в переводах Н. Горбаневской: Виктор Ворошильский. «В затягивающей трясине...» [и др.]. — Василь Голобородько. «Этой ночью молоко перельется...» [и др.]. — Игорь Калынец. Из цикла «По эту сторону дождя». — Ежи Фицовский. Платье полное никого [и др.]. XXI — 71.

Стихи украинских поэтов в переводах Игоря Качуровского: Микола Зеров. Чистый четверг. — Евгений Плужник. «Мужик, косивший у опушки жито...». — Володимир Свидзинский. «И тишь, и холод. Ты, луна ущербная...». — Леонид Первомайский. Гамлет. XIII — 170.

Странник. Рождение элегии. XI — 115.

Александр Фрадис. См. *Борис Календарев.*

Хелла Фришер. Листки. Предисл. и пер. с нем. Феликса Розинера. XXVI — 61.

Лев Халиф. Миниатюры из цикла «Мемориальный чердак». XIV — 113.

Алексей Хвостенко. Из «венка сонетов». XI — 164.

Евгений Хорват. Из сборника «R латинское». XXIX — 83.

Алексей Цветков. Месяц медленного бега...» [и др.]. XIII — 209. Новые стихи. XX — 89; «как в застолье стаканы вина...» [и др.]. XXIV — 99.

Игорь Чиннов. Гротески. XI — 117; «Как до Колумба, в хижинах ютится...» [и др.]. XVI — 114; «Да — 'тем не менее, однако, все-таки'...» [и др.]. XXIII — 76.

МАСТЕРСКАЯ

Василь Барка. Собор. — Псалом голубиного поля. [Стихи]. Пер. с укр. Василий Бетаки. XXIII — 137.

Владимир Казаков. Одно стихотворение. XXIII — 140.

Э. Лимонов. «От лица какого-то неопределенного, смутного...» [и др. стихи]. С предисл. Иосифа Бродского. XV — 153.

Дмитрий Савицкий. Осколки. [Стихи]. XXIII — 142.

Кира Сапгир. Пять стихотворений. XXIII — 145.

Стихи Эдуарда Лимонова и Елены Шаповой. С предисл. Н. Горбаневской. XXV — 147 [Поправка: XXVI — 368].

Владимир Филандров. Два рассказа: Дразнилочка. — Комплексы. XXVIII — 87.

РОССИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Людмила Алексеева. Юрий Орлов — руководитель Московской Хельсинкской группы. XXI — 177, XXII — 195.

- Лариса Богораз.* Мелкие бесы. XII — 213 (С послесл. Н. Горбаневской «Несколько слов в 'послесловие'». XII — 222).
- Владимир Буковский.* Изнутри и снаружи. Фрагмент из книги [«И возвращается ветер...»]. XVII — 159; «Почему русские ссорятся?» XXIII — 176.
- Андрей Григоренко.* Поиски взаимопонимания. XXI — 204.
- Игорь Ефимов-Московит.* Политические выгоды нищеты. XX — 121.
- Дьякон Сергей Женук.* Империализм и нацизм. XXVIII — 115.
- Ирина Иловайская.* Нетерпимость с обратным знаком. XXV — 173.
- Виктор Каган.* Два обращения. XXIX — 151.
- Михаил Карпович.* Русский империализм или коммунистическая агрессия? XIII — 215.
- Эдуард Кузнецов.* Две ксивы. XXIV — 143; Статус советского политзаключенного. XXVI — 187.
- Сергей Левицкий.* Истоки и перспективы свободы (на Западе и в России). XIV — 201.
- Юрий Мальцев.* Чудо природы. XXX — 191.
- Виктор Некипелов.* Хлеб и беженцы. XXV — 163.
- Наум Мейман.* Монумент у Бабьего Яра. XV — 179.
- Борис Парамонов.* Мальчик против мужа. XVI — 137.
- Сергей Рафальский.* Болезнь века. XI — 171.
- Андрей Сахаров.* Движение за права человека в СССР и Восточной Европе — цели, значение, трудности. XIX — 171; В редакцию журнала «Континент». Открытое письмо. XXIII — 200.
- Анатолий Федосеев.* Почему вы не должны быть социалистом. XV — 159 [Поправка: XVI — 288].
- Михаил Хейфец.* Русский патриот Владимир Осипов. Предисл. и прим. Эдуарда Кузнецова. XXVII — 159, XXVIII — 134.
- Валерий Чалидзе.* О некоторых тенденциях в эмигрантской публицистике. XXIII — 151; Сахаров и русская интеллигенция. XXVIII — 109.
- Вадим Янков.* О возможном смысле русского демократического движения. XVIII — 183.

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

- Вацлав Белоградски.* Литература как критика банального зла. XVI — 151.
- Виктор Ворошильский.* На Западе. Страницы из дневника. XXX — 215.
- Михаил Геллер.* Время бросать камни? XXVIII — 212.
- Густав Герлинг-Грудзинский.* Два эссе: Егор и Иван Денисович. — Силоне на Востоке. XVIII — 203.
- Петр Григоренко.* К вопросу о государственной независимости и взаимоотношениях между народами СССР. XXII — 223.

Анджей Дравич. Зарубежная Россия. Книги, люди, журналы, идеи. XXVI — 207.

Т. Женклис. Прощаясь с Антанасом Снечкусом. — Чего мы ждем от эмиграции? Открытое письмо газете «Акирачай». [С предисл. А. Штромаса «Две статьи Т. Женкписа»]. XIV — 229.

Кишиштоф Заерат. «Барышни из Вильно» и художники из Варшавы. XXIII — 203.

Тончо Карабулков. Последний надежный сателлит? XV — 203.

Игорь Качуровский. К сотой годовщине Эмского указа. XI — 195.

Аттила Ковари. Cui bono? XXV — 187.

Иржи Ледерер. Почему мне все-таки пришлось покинуть родину. XXVII — 215.

Моника Ловинеско. Литература и диссидентство в Румынии. XIX — 189.

Тибор Мераи. Догмы и табу. XVII — 219.

Михайло Михайлов. Возвращение Великого Инквизитора. О политических выступлениях Александра Солженицына. [С предисл. «От редакции»]. XXVIII — 181.

Василий Михальчук. Сила наших дней. XV — 185.

Эдуард Оганесян. Я — националист! XIII — 235; Философия национализма. XX — 145.

Польский Аноним. Нация — религия — миссия — ответственность. [С предисл. Александра Смоляра]. XVI — 170.

Антанас Терляцкас. Еще раз о евреях и литовцах. XXI — 213.

Ян Тесарж. Как народились ГРАЖДАНЕ на Святой Руси. Размышления над книгой Владимира Буковского «И возвращается ветер...». (Сокр. пер.). XXIV — 155.

Зигмар Фауст. Моя свобода ощерилась стенами. [Пер. с нем. Надежда Шатуновская и Юрий Иофе]. XXIX — 173.

Юзеф Чапский. «Культура». XII — 227.

Аушра-Мария Юрашас. Могут лишь свидетельствовать боль... XI — 214.

ЗАПАД — ВОСТОК

Николас Беттелл. Катень 1940. XI — 222.

Энцо Беттица. Еврокоммунизм и Грамши. XVI — 195.

Харальд Вигфорсс. Рауль Валленберг — арестант, похороненный заживо. XIII — 258.

Тьерри Вольтон. Париж—Москва или Париж под Москвой? XXI — 227.

Егошуа А. Гильбоа. Смысл свободы в современном мире. XXV — 209.

Май фон Дардел. Письмо министру юстиции СССР В. И. Теребилову. XIII — 253.

Милован Джилас. Идеология пишет историю. XV — 217.

Святослав Караванский. Сахаров и Си-Би-Эс. XXX — 252. («Носороги за работой»).

Родольфо Квадрелли. «Другая» литература на Западе. XII — 239; Двойная утопия. XX — 155; Италия перед лицом нигилизма. XXX — 237.

Владислав Краснов. Русский склад ума или западное состояние умов? О книге Рональда Хингли «Русский склад ума». XVII — 243. *Герберт Кремпл.* Природа современного террора. XI — 237; Китайская оттепель. XXVI — 231.

Личная ответственность как общая проблема Востока и Запада. Круглый стол «Континента». [Подгот. к печати Ольга Свинцова]. XIV — 251.

Арман Малумян. Концентрационный Интернационал. XVII — 217.

Борис Парамонов. Америка в тени Джонстауна. XIX — 223.

Александр Пятигорский. Философия на развалинах революции. Беседа о книге Кристиана Жамбе и Ги Лардро «Мир» или Введение в философию Прав Человека. XXIII — 213.

Жан-Пьер Руссо. Финляндизация совести. XXVI — 253.

Мигель Салес. Свобода творчества на «Острове Свободы». XXII — 231.

Андрей Сахаров. Ядерная энергетика и свобода Запада. XVI — 189.

Майкл Скэмел. Советские евреи в земле обетованной. XXIX — 185.

Виктор Спарре. Новая жизнь искусства. XII — 250.

Гейтер Стюарт. Иран: Маркс, муллы и Пехлеви. XXIV — 165; Испания 1980 года. XXVII — 241.

Борис Суварин. Панаит Истрати и коммунизм. [С предисл. переводчика]. XXVIII — 221, XXIX — 209.

Зигмар Фауст. По эту сторону Берлинской стены. [Пер. с нем. Надежда Шатуновская и Юрий Иофе]. XXVII — 231.

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Гюзель Амальрик. Свидание в лагере. XI — 269.

Лариса Богораз. Мамочки и малолетки. XXV — 221.

Ян Вальц. Мы, Свободная Вальковая... Сокр. пер. с польского. XXVII — 261.

Милован Джилас. Йован Барович, неустрашимый адвокат. XXVIII — 247.

Лех Дымарский. Что было в мае? XVII — 259.

Лев Консон. Лагерные истории. XXX — 259.

Эдуард Кузнецов. В защиту Богдана Ребрика. [С предисл. Н. Горбаневской). XXI — 241; Старейший политкаторжанин Данила Лаврентьевич Шумук. XXII — 243.

Эдуард Кузнецов, Михаил Хейфец. Про шпионов. XXIX — 249.

Алексей Лосев. Фамилии. XI — 278; Жратва. XIII — 269; Письма. XVI — 241.

Виктор Некипелов. Сталин на ветровом стекле. — Кладбище побежденных. XIX — 238.

О положении заключенных в лагерях СССР. Документ № 87 Московской группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. XX — 165.

Алексей Орлов. Такова спортивная жизнь. XIV — 279.

Письмо из Сосновки. С предисловием Андрея Сахарова. XIX — 248.

Уолтер Рейч. Иное мнение. XXI — 245.

Олег Соловьев. Душевнобольной? — Нет, социально опасный. XVIII — 243.

Кирилл Хенкин. Испанский блокнот. XVI — 265.

Владимир Чернявский. Москва — Мехико. (Эпизод из времен Террора). XV — 257.

Семен Черток. «Лагерь придумал Френкель». XXIII — 255.

Лидия Шатуновская. «Дом на набережной». Глава из книги воспоминаний. XXIII — 235.

Югославская трагедия: Боро Карапанджич. Выдача и гибель словенцев. — Райко Катунац. Рождество. — Мирко Видович. Добровольно-принудительные. С предисл. Михайло Михайлова. XXIV — 195.

ИСТОРИЯ

Герман Андреев. Заметки о традициях русского либерализма. (К спорам об исторических судьбах России). XXII — 255; XXIII — 263.
Екатерина Брейтбарт. «Окрасился месяц багрянцем...» или Подвиг святого террора? XXVIII — 321.

Виктор Казан. В. Г. Короленко en face. XXVII — 285.

[*Д. Е. Моргачев*]. Дмитрий Егорович рассказывает... Публикация и комм. Марка Поповского. XXVII — 292. (К 70-летию со дня смерти Л. Н. Толстого, 1910-1980).

Александр Некрич. Сталин и нацистская Германия. XXIV — 239.

Борис Парамонов. Парадоксы и комплексы Александра Янова. XX — 231.

ИСТОКИ

Измаил Ахмедов. Война. XX — 275.

Михаил Володарский. Игра в кошки-мышки. (К 60-летию советско-иранских отношений). XXVI — 311; К 60-летию советско-афганского договора. XXX — 275.

Михаил Геллер. Поэт и вождь. XVI — 227.

И. Гессен. Дела эмигрантские. Фрагменты воспоминаний. (С предисл. Н. Горбаневской). XIX — 286.

Петр Григоренко. Начало жизни. XXIX — 223.

Евгений Гнедин. Выход из лабиринта. [С предисл. Андрея Сахарова «Лабиринты эпохи (О мемуарах Е. А. Гнедина)»]. XXVIII — 343.

Дея документа: Из материалов сборника «Память». Кочмес, 1937. Устное сообщение А. О-вой. — Русская эмиграция и германский национал-социализм. Публ. Михаила Агурского. XV — 283.

Роман Днепров. «Власовское» ли? XXIII — 287.

Из материалов сборника «Память». На докладе Жданова. Рассказ Д. Д. XVII — 281.

Виктор Каган. Постскриптум к приказу. XIV — 301; В двух зонах. XXIV — 263.

Михаил Нильский. Воркутинская трагедия. XVIII — 279.

Юрий Потебня. Из прошлого Джугашвили-Сталина. XIII — 303.

Петр Семерджиев. Происхождение мифа. (Из книги о Георгии Димитрове). XI — 311.

Анеля Стейнбергова. Глазами защитника. Отрывки. XII — 321.

Кирилл Хенкин. Русские пришли! Главы из книги. XXII — 279; Эмиграция или миграция. XXV — 233.

Владимир Черняевский. Довод слабых. (К истокам терроризма). XXI — 281.

Лидия Шатуновская. Час расплаты. Глава из книги воспоминаний. XXVII — 325.

ЭКОНОМИКА

Игорь Бирман. Экономический детектив. XXII — 325; Экономическая ситуация в СССР. XXVIII — 259.

Стефан Куровский. Доктринальная обусловленность нынешнего экономического кризиса в ПНР. XXVI — 273.

НАУКА

Д. С. Заметки о биографическом словаре математиков. XXVI — 257.

Александр Некрич. Поход против «космополитов» в МГУ. (К коллективной биографии советских историков). XXVIII — 301.

ЗВУКОВЫЕ БАРЬЕРЫ РАДИОВЕЩАНИЯ

Владимир Буковский. Открытое письмо директору радиостанции «Свобода» г-ну Фрэнсису Рональдсу. XI — 287.

Петр Григоренко. Что же произошло на площади Пушкина в Москве 5 декабря 1976 года? Открытое письмо в редакцию передач на русском языке Би-Би-Си. XIII — 283.

Ян Новак. Открытое письмо Александру Солженицыну. XII — 261.

Сергей Сабур. Всерьез о «Свободе». XXIX — 347.

Виктор Соколов. Записки радиослушателя. XII — 268.
Кирилл Хенкин. Заметки о Радио Свобода. XXX — 347.
Томас Шуман. Расслабление Радио Канада. XIII — 290.

СПОРТ И ПОЛИТИКА

Фридрих Незнанский, Эдуард Тополь. Миллион для чемпионки. Очерк о «беловоротничковой» преступности в советском спорте. XXIII — 315.

Алексей Орлов. При любой погоде. XIX — 325.

Эммануил Штейн. «Маленькая война». XVII — 287; Кентавровы шахматы. XXI — 305; Шахматные носороги. XXVI — 299.

ФИЛОСОФИЯ

Вацлав Белоградски. Три ключевые темы диссидентства. XXVI — 323.

Александр Зиновьев. Заметки об идеологии. XX — 209.

Евгений Наклеушев. О тоталитарных государствах как «химерах». XXIX — 273.

Борис Парамонов. Уроки Запада. XXIX — 284.

РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Николай Бердяев и Лев Шестов. Переписка и воспоминания. Публ. Наталии Барановой-Шестовой. XXX — 293.

РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Н. В. Гоманьков — В. Ф. Турчин. Два письма о Высшей Цели и Великой Эволюции. (Вокруг кн. Валентина Турчина «Инерция страха»). XV — 237.

Чеслав Милош. Над переводом Книги Иова. Пер. с польского Н. Горбаневской. XXIX — 261.

Доминик Моравский. Под знаком перелома. XX — 199.

Интервью с Виктором Спарре. [Взято Эдвардом Робинсоном]. XXVI — 334.

Виктор Тростников. На берегу Океана Истины. XXI — 259; Конец эпохи самоугождения. XXV — 255.

Анна Хмелевская. Письмо друзьям. XII — 287.

Прот. Александр Шмеман. Ожидание. Памяти Владимира Сергеевича Варшавского. XVIII — 261.

Вадим Янков. Сердцевина связи. (Мысли о религии). XXII — 317.

ИСКУССТВО

Владимир Антонов. Неофициальное искусство: развитие, состояние, перспективы. XXX — 367.

Димитрий Бобышев. Трижды — Тюльпанов. XII — 345.

Валерий Валюс. Картины отца. [О художнике Петре Валюсе]. XVI — 289.

Александр Глезер. «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?...». [О художнике Оскаре Рабине]. XVIII — 341.

Пьер Литез. Олег Гудков, или Схватка плоти с сердцем. XXIV — 331.

Вадим Нечаев. История Оскара Рабина. XXI — 323.

Алексис Раннит. Генрих Элинсон — художник сверхреальностей. XX — 323; Художник Эдуард Вийральт. XXVIII — 399.

Дора Ромадинова. За порогом серебряного юбилея. [О певице Галине Вишневской]. XX — 301.

Кира Сапгир. «Муравьиный лев». (Размышления у картины Ильи Глазунова). XXVI — 345.

Жан-Пьер Симон. Выход — вверх. Заметки о живописи Юрия Жарких. XXVII — 364.

Семен Черток. Художник Александр Окунь. XXVII — 357.

Татьяна Шмидт. Окно на Восток. [О художнике Михаиле Шемякине]. XI — 301.

Эрик Эгеланд. Встреча с Неизвестным. XVII — 299.

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Герман Андреев. В стране строго алогичной закономерности. [О кн. А. Зиновьева «Зияющие высоты»]. XIII — 315; «Где любовь, там и Бог». Религиозно-философское учение Льва Толстого как орудие сопротивления идеологии и практике тоталитарных систем. XVI — 307. (К 150-летию со дня рождения Льва Толстого).

Павел Андреев. Беспросветье и просвет. Фантастические рассуждения о фантастическом романе. [О «Мастере и Маргарите» М. Булгакова]. XXII — 349; Необходимость Лескова. Реплика к юбилею писателя (1831-1981). XXVIII — 381.

Наталья Артамонова. О писателе Юрии Домбровском. XVII — 331.

Станислав Баранчак. Переводя Бродского. XIX — 347.

Дмитрий Бобышев. Покой и воля. XXVII — 343. К 100-летию со дня рождения Александра Блока.

Борис Закс. Немного о Гроссмане. XXVI — 352.

Виолетта Иверни. Час милосердия. (Размышления о прозе Булата Окуджавы). XII — 353; Смертью — о жизни. [О прозе В. Распутина]. XV — 291; По ту сторону смеха. [О прозе Ф. Искандера]. XXI — 339.

Лев Копелев. Памяти Александра Галича. XVI — 334.
Наум Коржавин. «Добро не может быть старо». [О стихах О. Чухонцева]. XVII — 315.
Алексей Лосев. Ниоткуда с любовью... Заметки о стихах Иосифа Бродского. XIV — 307.
Владимир Максимов. Духовной жаждою томим... XXVII — 353. К 100-летию со дня смерти Ф. Достоевского.
Арман Малумян. И даже наши слезы... [О Юрии Домбровском]. XX — 337. (Памяти ушедших).
Юрий Мальцев. Промежуточная литература и критерий подлинности. XXV — 285.
Жорж Нива. Слово и взгляд у Солженицына. XVIII — 309.
Вероника Полонская. В расчете с жизнью. Публ. и вступит. статья [«Последняя любовь Маяковского»] Семена Чертока. XXIX — 315, XXX — 315.
Марк Поповский. Идеальный советский писатель. Константин Симонов — итоги жизни (1915-1979). XXIV — 297.
Александр Пятигорский. Чуть-чуть о философии Владимира Набокова. XV — 313.
Борис Суварин. Последние разговоры с Бабелем. XXIII — 343.
Герман Файн. Памяти Толи Яковсона. XX — 358. (Памяти ушедших).
Мария Шнеерсон. Разрешенная правда. XXVIII — 361.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Переписка Бориса Пастернака с Томасом Мертонем. Публ., предисл. и пер. англ. текстов В. Пруссакова. XV — 323.
Даниил Хармс. Проза. Публ. и предисл. [«Мир вымышленный и мир созданный»] Ильи Левина. XXIV — 271.
Анатолий Яковсон. О стихотворении Бориса Пастернака «Рослый стрелок, осторожный охотник». XXV — 323.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Итоги одностороннего великодушия. XI — 349; Тридцатилетие «Культуры». XII — 365; Мстислав Ростропович — человек и артист. XIII — 335; «Континент» в океане всеобщей толерантности. XIV — 337; Синдром внезапного одинодушия. XV — 349; Хельсинки по-советски. XVI — 345; Приговорить к изоляции! XVII — 351; Итог одного шестидесятилетия. XVIII — 345; Папа Иоанн-Павел II. XIX — 367; Музыкальное чудо России. XX — 367; Сахаровские Слушанья-79. XXII — 385; Человек на все времена. XXIII — 379; Письмо в газету «Унита». XXIV — 349; Немного об эмигрантских распрах. XXV — 347; Утраченные иллюзии. XXVI — 371; Человек для всех. К шестидесятилетию А. Д. Сахарова. XXVII — 371;

«Возьмемся за руки, друзья...». XXVIII — 405; Снова всерьез о «Свободе». XXIX — 383; Хотеть знать. XXX — 393.

НАША ПОЧТА

Б. Шарир. Письмо в редакцию. XIII — 311.

Ф. П. Богатырчук. Камень преткновения для взаимопонимания российской и украинской эмиграции. XIV — 333.

Д. Соболева. [Письмо в редакцию]. XV — 343.

Александр Глезер. Открытое письмо московскому художнику Вячеславу Калинину. XIX — 401.

Юрий Иванов, Борис Турбин. Наш журнал. [С прим. Виктора Некрасова]. XXII — 367.

Энцо Беттица. Эта старая проказа. (По поводу «Носорогов» Максимова). XXII — 377.

Н. Коржавин. Письмо в редакцию. XXIV — 343. (Комментарий «От редакции». XXIV — 344).

Игорь Бирман. Люди и позиции. (Письмо редакции журнала «Синтаксис»). XXIV — 345 (Дополнение: XXVI — 272). (Комментарий В. Максимова. XXIV — 348).

Димитрий Панин. Конь и о четырех ногах, да спотыкается. XXV — 335 (Ответ Натальи Горбаневской: Ремарки, пометки, помарки. XXV — 342).

Джон С. Хейс. Открытое письмо в газету «Вашингтон Стар». XXVI — 364. (Комментарий В. Буковского, Э. Кузнецова, В. Максимова: Вопросы остались без ответа. XXVI — 366).

Эдуард Лимонов. [Письмо в редакцию]. XXVI — 368.

Мишель Окутюрье, Жозе Жоанне. Главному редактору журнала «Континент» В. Е. Максиму. XXVI — 369. (Комментарий «От редактора». XXVI — 370).

А. Глебков. [Письмо редактору. С комментарием В. Максимова]. XXVII — 375.

Валентин Зарубин. [Письмо редактору]. XXVII — 376.

Лидия Чуковская. Открытое письмо в редакцию журнала «Континент». [С ответом Н. Горбаневской]. XXVII — 377.

Н. Гириш. [Письмо редактору. С комментарием В. Максимова (включая письмо кардинала Стефана Вышинского В. Е. Максиму)]. XXVIII — 407.

Соня Гринштейн и др. [Письмо И. А. Альберти-Иловойской и В. Е. Максиму]. XXVIII — 410.

Павел Литвинов. Обращение. [С ответом Н. Горбаневской и комментарием В. Максимова]. XXIX — 389.

Письмо одного из наших авторов. XXIX — 393.

С. Арнольд. Редакции «Континента». [С комментарием В. Максимова]. XXX — 398.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- Михаил Агурский.* ГУЛаг или утопия. XXIV — 375.
- Людмила Алексеева.* Гражданин Буковский. XIX — 371; Путеводитель по аду психиатрических тюрем. XX — 378; Дело Орлова. (Рецензия составителя). XXVII — 383.
- В. Аллой.* Путем добра. XI — 386; Память. XV — 353.
- Герман Андреев.* Ценная работа о национал-большевизме. XXVIII — 411.
- Н. Артамонова.* С точки зрения правящих. XXII — 406.
- Флоранс Бенуа.* Еврокоммунизм или евросоциализм? XVIII — 361.
- Василий Бетаки.* «Умная молитва». XII — 371; Две истории. XIII — 352; Звездный странник (К 100-летию со дня рождения Максимилиана Волошина). XIV — 350; Дуэль с Каином. XV — 368; Галич и русские барды. XVI — 349; Между лозунгом и мусорщицей. XVII — 355; «Проба подняться из гроба». XX — 397; Памяти Ходасевича. К 40-летию со дня смерти. XXI — 365; Репортаж о марафоне. XXIII — 384; В противоречие с предисловием. XXIV — 372; В мире молний. XXVI — 404; Сталин без загадок. XXVII — 388; Время синтеза. XXX — 399.
- В. П. Изменчивость и постоянство.* XV — 364.
- Борис Вайль.* Первая библиография. XXX — 409.
- В. Вейдле.* Георгий Иванов. XI — 359.
- Л. Владимиров.* Фальшивый дуэт. XVI — 361.
- В. Волков.* В поисках зеленых цветов. XV — 357; «От не себя убеги». XVII — 364; Очерк здравого смысла. XXIV — 378.
- Александр Галич.* Две исповеди. XII — 367.
- Михаил Геллер.* «Такая долгая жизнь». XII — 397.
- А. Гимейн.* Нулевой час. XX — 369.
- Анатолий Гладилин.* «Стальная птица». XIV — 356.
- Н. Горбаневская.* Блеск и нищета советского интеллигента. XI — 375; Подвал памяти. XII — 375; В четырех стенах. XV — 371; «А по сердцам наших копита, копита...». XVI — 369; Отказ от потери памяти. XVII — 372; Поговорим о зверюшках, милые детки... XX — 373; «...И зрение, и слух, и дух, и тело...». XXII — 402; Вы — свободны! XXIII — 397.
- Татьяна Горичева.* Поиски истины в предрассветном сумраке. XXVI — 373; Оторвавшись от духа. XXVIII — 416.
- Н. Дюжева.* «Живая вода» сталинизма. XXII — 412; Свободным от лжи языком. XXV — 349; «Как раскачана волна...». XXVI — 377.
- З. Зиник.* Право скитаться. XI — 370.
- Виолетта Иверни.* О тюрьме идейной. XVIII — 351; Зеркало памяти. XIX — 379; В конце века, в начале века... XX — 402; Книга — жизнь. XXIII — 388; «Когда двигаетесь, старайтесь никого не толкнуть...». XXIV — 358; Актуальные мемуары. XXV — 351; Время странствовать и время вспоминать... XXVII — 397.

Ирина Иловайская. Жизнь и житие. XXIV — 351.
 Е. Игошина. Рана истории. XVI — 358.
 В. Каган. Интеллигент в стране зэ-ка. XXVI — 380.
 Феликс Кандель. Теплая книга. XXVII — 406.
 В. Карлинский. Опасные игры господ мыслителей. XIII — 364;
 Наука вступает в партию. XX — 388.
 Е. Кармазин. Партия или мафия — правда и вымысел. XII — 394.
 Эмиль Коган. Удав и ножницы. XXI — 375.
 В. Козловский. Людоедство как таковое не наказуемо... XII — 402.
 Т. Литвинова. Нечаянный шедевр. XI — 353.
 А. Лосев. Крестный отец самиздата. XXIII — 381.
 Ирена Лясота-Заблудовска. «Малый Апокалипсис» Тадеуша Кон-
 вицкого. XXIV — 364.
 Владимир Максимов. «Платон мне друг...». XXVIII — 426.
 Юрий Мальцев. «Матренин двор» в Италии. XIII — 339; Ожог.
 XXIX — 403.
 Марран. Русские манихейцы. XXVI — 385.
 Майя Муравник. Сохранить для России. XXI — 382; Место житель-
 ства — Советский Союз. XXIX — 400.
 Виктор Некрасов. Долгая и счастливая жизнь? XXV — 355 (Допол-
 нение: XXVI — 322).
 Вадим Нечаев. Красный террор в России. XXVII — 402.
 К. Померанцев. Соблазн смерти. XIV — 344.
 Андрей Разумовский. Карл-Густав Штрём: «Без Тито». XIII — 359.
 Эммануил Райс. Чеслав Милош. XII — 387; Василь Голобородько.
 XIII — 346.
 Анджей Рапачинский. Колаковский о марксизме. XXII — 393.
 Владимир Рыбаков. Гибель Европы? XII — 380; Итоги ленинизма.
 XV — 361; Костер для «новых философов». XX — 392; Нужно долго
 собирать свою смерть. XXVII — 414.
 Ф. Салказанова. «Тараканья империя». XI — 381; Горечь старого
 социалиста. XVI — 365; Инспектор контрразведки. XVII — 368;
 Призрак ли бродит по Европе? XVIII — 364.
 Кира Сангир. Сказка о заколдованном аппаратчике. XXII — 398;
 Водочная речка — железны берега. XXIII — 393; История о пре-
 данном и переданном слуге. XXIV — 368; Волк и звезды. XXVIII —
 422; Не преклоняя головы. XXIX — 395.
 Вик. Соколов. Издательство «Хроника». (К 5-летию существова-
 ния). XIV — 341; О людях — с любовью. XVII — 360.
 Ф. Фейто. Герой нашего времени. XVI — 354.
 Владимир Филандров. Как солотчинский перелесок... XXVI — 398.
 Д. Черн. «Аполлон» нашего времени. XIV — 359.
 Д. Черняевская. Вера, надежда, любовь. XVIII — 356.
 Леонид Чертков. Брат и сестра, поэт и ученый. XXX — 403.
 Эммануил Штейн. «Перемена ветра...». XXVII — 391.
 Дора Штурман. «Не сила прежняя в соблазне». XXII — 416.

Н. Южева. К месту и вовремя. XVIII — 368.

Сергей Юрьенен. Опыт выживших. XVIII — 347; Охота жить. XX — 383; С ответственностью за будущее. XXI — 370.

КОРОТКО О КНИГАХ

Л. Лифшиц. Хорошая повесть: опыт двойной рецензии. — Ольга Анстей. На юру. — Мнемозина и Каисса. Составитель Э. Штейн. — А. Федосеев. Западня (Человек и социализм). XI — 410.

Н. Эрдман. Мандат. — Виктор Некрасов. Записки зеваки. — Юлиуш Мерошевский. Материалы для размышления и раздумья. — Станислав Свяневич. В тени Катыни. — Ю. Мальцев. Вольная русская литература. — М. Коряков. Живая история. 1917-1975. — Иван Елагин. Под созвездием топора. — Черная книга. Московская легенда. — Валерий Перелешин. С горы Нево. — А. Воронель. Трепет забот иудейских. XII — 407.

Леонид Плющ. На карнавале истории. — Искусство под бульдозером (Синяя книга). Сост. Александр Глезер. — Адам Михник. Церковь, левые, диалог. — Запись-1. Поэзия, проза, эссе, фельетоны. — Элизабет Антеби. Право психиатрического убежища в Советском Союзе. — Михаил Славинский. Коомандосы свободы в Москве. — Павел Тигрид. Горькая революция. — Александр Дрожжинский. Анекдоты со всего света. XIII — 369.

Венедикт Ерофеев. Москва — Петушки. — Е. Эткинд. Записки незаговорщика. — В. Чалидзе. Лекции о правовом положении рабочих в СССР. — Международное слушание Сахарова в Копенгагене. — Анна Ахматова. Стихи, переписка, воспоминания, иконография. Сост. Э. Проффер. — Неизданный Булгаков. Тексты и материалы. — Ю. Карякин. Самообман Раскольникова. — Странник. Поэма о русской любви. — Запись-2. Запись-3. — Песни русских бардов. Серии I-III (Поправка: XVI — 353). XIV — 369.

Александр Галич. Когда я вернусь. — Андрей Сахаров. Тревога и надежда. — Петр Григоренко. Сборник статей. — Вячеслав Черновол. Я ничего у вас не прошу! — Вацлав Гавел. Пьесы. 1970-1976. — Александр Ват. Мой век. XV — 377.

Джон Баррон и Энтони Поул. Убийство доброй страны. — Борис Хазанов. Запах звезд. — А. Седых. Крымские рассказы. — Новые русские мученики. — Эммануил Штейн. Поэзия русского рассеяния (1920-1977). — СССР — рабочее движение? Сост. В. Чалидзе. — Владимир Леванский. Шародейство. XVI — 373.

Вацлав Черны. Плач короны чешской. — Михаил Хейфец. Место и время. — Л. Флейшман. Статьи о Пастернаке. — Генрих Сапгир. Сонеты на рубашках. — Леонид Бородин. Повесть странного времени. — Устами Буниных. Дневники. Том 1. Под редакцией Милицы Грин. XVII — 377.

Александр Некрич. Наказанные народы. — А. М. Горлов. Случай на даче. — А. Гладилин. Репетиция в пятницу. — Н. П. Анцыферов. Душа Петербурга. XVIII — 373.

Владимир Осипов. Три отношения к родине. — Владислав Гномацкий. Товарищ Тряпкин. — Жан Лакутьюр. Да выживет камбоджийский народ! — Лия Владимирова. Пора предчувствий. XIX — 385.

Менахем Бегин. В белые ночи. — Александр Зиновьев. Записки ночного сторожа. — Владимир Гусаров. Мой папа убил Михоэlsa. — Ефим Эткинд. Материя стиха. — Давид Самойлов. Весть. — Леонид Шамкович. Жертва в шахматной партии. XX — 407.

Свящ. Дмитрий Дудко. Во время и не во время. — Владимир Войнович. Путем взаимной переписки. — Виктор Соснора. Стихотворения. — Владимир Марамзин. Смешнее чем прежде. — Виктор Робсман. Живые виденья. XXI — 387.

А. Авторханов. Сила и бессилие Брежнева. — Неподцензурная русская частушка. Подготовка текста, введ. и прим. В. Кабронского. — Пауль Гома. Людетрясение. — Андрей Амальрик. СССР и Запад в одной лодке. XXII — 421.

М. Михайлов. Ненаучные мысли. — Никита Хрущев. Воспоминания (Избранные отрывки). — Владимир Войнович. Претендент на престол — новые приключения солдата Ивана Чонкина. — Мария Шкапская. Стихи. — А. Глезер. Человек с двойным дном (Книга воспоминаний). — Антисемитизм в Советском Союзе. Его корни и последствия. — Издания Института армянских проблем. — Леонид Ржевский. Дина (Записки художника). — Язык пропаганды. — Улиссе Флориди. Москва и Ватикан. XXIII — 403.

Сергей Мюге. Первая ненаучная книга. — Сергей Довлатов. Невидимая книга. — Николай Моршен. Эхо и зеркало. — Михаил Андреев. Перекресток. XXIV — 386.

Дмитрий Шостакович. Свидетельство. — Феликс Кандель. Время исхода нашего. (Девять страниц истории). — Юз Алешковский. Николай Николаевич. Маскировка. — А. Димов. Антипутеводитель по

Москве. — Наталия Роскина. Четыре главы. — Игорь Чиннов. Антитеза. — Михаил Шульман. Бутырский Декамерон. XXV — 359.

NRL: Neue Russische Literatur. Almanach. XXVI — 411.

А. Федосеев. О новой России. Альтернатива. — Разрушенные и оскверненные храмы. Альбом. — Юрий Галансков. — Виктория Федорова и Хэскел Френкел. Адмиральская дочь. — Михаил Восленский. Номенклатура. — Континент. Избранные статьи [польски]. XXVII — 417.

Борис Вайль. Особо опасный. — Василий Гроссман. Жизнь и судьба. Роман. — Арсений Тарковский. Зимний день. — Война в Афганистане. — Солидарность. XXVIII — 428.

А. Левитин-Краснов. «В поисках нового града». — Марина Цветаева. Стихотворения и поэмы в пяти томах. Т. 1-й. — Звездопад (на немецком языке). Подбор и пер. с русского Рудольфа Борена. — Русский альманах. — Список политзаключенных в СССР. (По состоянию на 1. 5. 1981). XXIX — 407.

Хроника жизни рядовых советских людей. — Фазиль Искандер. Сандро из Чегема. Новые главы. — К. Кромиади. «За землю, за волю». — Владимир Маразмзин. Тянитолкай. XXX — 413.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

«Magazine littéraire». Париж, июнь 1977; «Opinia». 1977, № 1; Slavic Review. 1976, № 4. XIII — 385.

«Глагол», 1; «Религия в коммунистических странах». XIV — 385.

«Svědectví», 1977, № 54; Vivre a l'Est. «Les Temps Modernes», 1977, № 376/377; «Cahiers du Monde Russe et Soviétique», 1976, № 4; «Время и мы», №№ 1-24, 1975-1977. XV — 385.

«Magazine littéraire», 1978, № 134; Польская независимая периодика. XVI — 385.

«Вестник Русского Христианского Движения», №№ 112/113-124 (1974-1978). XVII — 389.

«Вестник РХД», № 124, 1978; Nous, Dissidents. «Recherches», № 34, 1978; Первые номера «Рефлекса» и «Спектрума» — чешских самиздатских журналов. XVIII — 385.

The Samizdat Bulletin, №№ 1-55, 1973-1978; «Interrogations», №№ 1-13. XIX — 395.

Э. Коган. Тонкий журнал («Эхо», №№ 1-4); Проф. Шалом Бен-Аба. На перекрестках советологического познания («Crossroads», №№ 1-3). XX — 428.

И. Л. Независимая пресса в Польше. XXI — 397.

«Хроника защиты прав в СССР». XXII — 429.

К. С. ...А воз и ныне там?... (О журналах «Третья волна» и «А-Я»). XXIV — 395.

Борис Парамонов. Бенарес или Мюнхен? О статье Г. Померанца [в журн. «Синтаксис» № 6]; Михаил Агурский. «Сион», №№ 23-31. XXV — 371.

Юрий Милославский. О журнале «22» (Заметки постоянного автора); Вадим Нечаев. Голоса русских женщин. Обзор самиздатских журналов «Женщина и Россия» и «Мария». XXVI — 415.

Кира Сапгир. «Надежда» — Христианское чтение (Выпуск 4). XXVII — 427.

«Новая газета». XXVII — 430.

«Russia», № 1, 1981. XXIX — 419.

Л. Ч. Цветаевский сборник; «Красота есть природа жизни» («Новый мир», 1980, № 8). XXX — 423.

НАША АНКЕТА

Интервью с Галиной Вишневской. XI — 393.

Интервью с Адамом Михником. XII — 427. (Владимир Буковский, Наталья Горбаневская, Владимир Максимов. Вместо послесловия к интервью Адама Михника. XII — 434).

Земную жизнь пройдя до половины... (Интервью 6-ти крупнейших музыкантов современности к 50-летию Мстислава Ростроповича). XIII — 397.

По обе стороны Спасских ворот. Интервью со Зденеком Млынарем. (Вели беседа Н. Горбаневская и В. Максимов). XIV — 397.

Интервью с Ирвингом Брауном. XV — 401.

Интервью с Милованом Джиласом. [Вел беседу Карл-Густав Штрём]. XVI — 389.

Интервью с Петром Григорьевичем Григоренко. XVII — 395.

Что значит Солженицын для каждого из нас? Круглый стол «Континента». XVIII — 401.

Нам отвечает Симон Визенталь. XIX — 405.

Мстислав Ростропович о Галине Вишневской. XX — 433.

Интервью с Андре Глюксманом. XXI — 405.

Борис Суварин о Сталине. [Интервью взял Михаил Геллер]. XXII — 435.

Интервью с Милованом Джиласом. XXIII — 425.

Петр Вайль и Александр Генис. Заговор против чувств. Беседы с Зиновьевым. XXIV — 401.

Тревога. Разговор с Владимиром Максимовым. Ведет разговор Виолетта Иверни. XXV — 389.

Разговор с Чеславом Милошем. [Взял интервью Виктор Соколов]. XXVI — 433.

Беседа с писателем Василием Аксеновым. [Интервью взято Л. С.].

XXVII — 433 (В приложении: Василий Аксенов. Заявление для прессы. XXVII — 446).

Интервью с *Виктором Корчным*. [Интервью провел Э. Штейн]. XXVIII — 437.

Заочное заседание *редколлегии «Континента»*. XXIX — 421.

Интервью с *Бернаром-Анри Леви*. XXX — 427.

РЕДАКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Франтишек Кригель. Владимиру Буковскому. XI — 10.

Жорж-Эмманюэль Клансье, Димитрий Столыпин. Телеграмма Владимиру Буковскому. XI — 10.

Эрнст Неизвестный. Памятник жертвам сталинизма. XI — 54.

От редакции. [О живописи Михаила Шемякина]. XI — 301.

От редакции журнала «Континент». [К исключению из СП СССР В. Корнилова]. XI — 3 стр. обложки.

Андрей Амальрик [и др.]. Заявление по украинскому вопросу. XII — 210. (Поправка. XIV — 333).

Редколлегия «Континента». Телеграмма [в редакцию журнала «Культура» к его 30-летию]. XII — 226.

Татьяна Ходорович, Мальве Ланда. Александру Солженицыну, Александру Гинзбургу, участникам Русского Общественного Фонда в СССР — искренняя благодарность и глубокая признательность. XII — 258.

Александр Солженицын. Татьяне Ходорович, Мальве Ланда. XII — 259.

Н. Мейман [и др.]. По поводу интервью д-ра Р. Медведева. XII — 318. (Дополнение см. XIII — 214).

В защиту Юрия Орлова. XII — 422.

Александр Милиц. Вечная мерзлота. XII — 3 стр. обложки.

«Континент». Владимир Набоков (некролог). XIII — 90.

Андрей Седых — член Академии Политических Наук. XIII — 234.

В поддержку Русского музея в изгнании. XIII — 268.

Роман Барановський [и др.] Деклярація солідарности. [На укр. яз.]. XIII — 402.

Редколлегия «Континента». [Поздравление М. Л. Ростроповичу к его 50-летию]. XIII — 3 стр. обложки.

Редакция «Континента». В защиту Игоря Огурцова. XIV — 149.

Виктор Некрасов. О пользе молчания [к аресту Гелия Снегирева]. XIV — 150.

Расширенная конференция редколлегии журнала «Континент». [Заявление о съезде американских профсоюзов]. XIV — 250.

Редколлегия «Континента». Кардиналу Иосифу Слипому. XIV — 335.

Патриарх и Кардинал И. Слипый. До Хвальной Редакції журналу «Континент». [На укр. яз.]. XIV — 335.

[«Континент». Извещение о кончине А. А. Галича]. XIV — 336.

Расширенная конференция редколлегии журнала «Континент». Обращение к президенту Картеру. XIV — 340.

Высокопреосвященнейший Архиепископ Георгий. Обращение. XIV — 368.

Расширенная конференция редколлегии журнала «Континент». [Заявление в защиту Гелия Снегирева]. XIV — 3 стр. обложки.

В. Буковский [и др. Заявление о решении ЦК КПСС усилить борьбу с диссидентским движением]. XV — 202.

Л. Алексеева [и др.]. По поводу созданного в СССР Свободного профсоюза в защиту рабочих. XV — 256.

[О выдвижении парламентами ряда стран советских Групп-Хельсинки на Нобелевскую Премию Мира]. XV — 4 стр. обложки.

«Континент». Памяти друга. [Некролог Юрию Домбровскому]. XVI — 80.

В. Чалидзе. Обращение к Генеральному секретарю ООН Вальдхайму. XVI — 94.

Н. Мейман. Организаторам Сахаровских чтений 1977 года. XVI — 264.

«Континент». Игнацио Силоне. [Некролог]. XVII — 242.

Владимир Максимов. Памяти А. А. Побожего. XVII — 258.

[О письме глашатаев ХАРТИИ-77 Марты Кубишовой и др. советскому послу в Праге с протестом против судов над А. Гинзбургом и др.]. XVII — 280.

Ассоциация друзей «Континента». Слово прощания. [Некролог Л. Л. д'Агьяр]. XVII — 314.

Елена Боннэр [и др.]. Десять лет «Хронике текущих событий». Документ № 48 Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. XVII — 350.

Петр Дык [и др.]. Открытое письмо Генеральному Консулу СССР в Гданьске. XVII — 354.

ХАРТИЯ-77 и Комитет общественной самозащиты — КОР. Совместное заявление. [К 10-летию оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского пакта]. XVII — 389.

Михайло Михайлов. Сообщение для прессы. XVII — 394.

Памятник в честь русских воинов, отказавшихся стрелять в немецких трудящихся в день восстания 17 июня 1953 года. XVII — 4 стр. обложки. (Поправку «Досадное недоразумение» см. XXII — 323).

Любовь Вацулик. [О Солженицыне]. XVIII — 54.

Ежи Гедройц. [О Солженицыне]. XVIII — 132.

Ценко Барев. [О Солженицыне]. XVIII — 182.
Павел Тигрид. [О Солженицыне]. XVIII — 202.
Людмила Алексеева [и др. О судьбе народов «советской империи»]. XVIII — 278.
Редакция журнала «Посев». Обращение. XVIII — 383.
Виктор Ворошильский. В мире, в котором... [О Солженицыне]. XVIII — 398.
«Континент». Телеграмма [А. И. Солженицыну к его 60-летию]. XVIII — 3 стр. обложки.

Редакция «Континента». Прощай, Гелий Снегирев — наш друг! XIX — 48.
Вирджил Йерунка. Честь и хвала Солженицыну. XIX — 69.
Александру Гинзбургу. [Телеграммы, посланные из США ко дню рождения]. XIX — 284.
Елена Боннэр [и др.]. Международному Олимпийскому Комитету. Президенту МОК лорду М. Килланину. XIX — 322.
Андрей Сахаров. Заявление о Московской Олимпиаде 1980 года. XIX — 324.
Исполнительный комитет 3-й сессии Международных Сахаровских слушаний. [Обращение]. XIX — 345.
Мстислав Ростропович. [Заявление о преследованиях сестры]. XIX — 365.
Иван Ковалев. Открытое письмо Комитету биологов. XIX — 369.
Елена Боннэр [и др.]. 30 лет Всеобщей Декларации Прав Человека. Обращение. Документ № 69 московской Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. XIX — 418.
Солдаты! [Листовка союзников периода конца войны. С прим. редакции]. XIX — 4 стр. обложки.

Мать осужденного Валерия Марченко. Заявление министру внутренних дел СССР тов. Щелокову Н. А. XX — 88.
Редакция журнала «Поиски». Отклики на «дело о взрыве» в московском метро. XX — 120.
Г. Герлинг-Грудзинский. Войтыла под цензурой. [Фрагменты статьи... из «Иль Джорнале»]. XX — 208.
Петр Винс [и др. Памяти Михаила Мельника]. XX — 437.
Феликс Светов. Памяти Юрия Домбровского. Слово прощания. XX — 438.
Редакция «Континента». [Поздравление Галине Вишневской]. XX — 3 стр. обложки.
[Отзывы мировой печати об искусстве Г. Вишневской]. XX — 4 стр. обложки.

Владимир Максимов. К читателям! [О памфлете «Сага о носорогах»]. XXI — 226.

Андрей Сахаров. Профсоюзам всех стран, Президенту АФТ-КПП Джорджу Мини, Эмнести Интернейшнл. Обращение [в защиту Михаила Кукобаки]. XXI — 257.

Фонд помощи советским политзаключенным. XXI — 258.

Наталья Горбаневская. От имени редакции сборника «Память». XXI — 280.

Редакция «Континента». [Памяти Владимира Чернявского]. XXI — 303.

«Континент». Телеграмма [И. В. Огурцову ко дню его рождения]. XXI — 337.

Комитет спасения Игоря Огурцова. XXI — 338.

Специальная анкета «Континента». XXI — 3 стр. обложки.

Эдуард Кузнецов. Международному Пен-Клубу. XXII — 41.

А. Левитин-Краснов. Кардиналу Марти, Архиепископу Парижскому; Филарету, Митрополиту Минскому. XXII — 222.

Андрей Сахаров. Председателю Президиума Верховного Совета СССР Брежневу Л. И. — *Н. К. Прохоров.* Гр. Сахарову А. — *Андрей Сахаров.* Заявление для прессы (о судьбе политзаключенных И. Менделевича, Ю. Федорова, А. Мурженко). XXII — 316.

В. Е. Тихоницкий. К русскому Зарубежью. XXII — 324.

«Континент». Памяти великой подвижницы. [Некролог А. Л. Толстой]. XXII — 348.

Вадим Нечаев. «В случае невозможности — уничтожить». [В защиту Георгия Михайлова]. XXII — 366.

Заявление Льва Волохонского. XXII — 376.

Людмила Алексеева [и др.]. Сообщение для печати [о подготовке создания в эмиграции объединения правозащитников]. XXII — 382.

Редакция московского свободного журнала «Поиски». Из письма... в редакцию китайского независимого журнала «Искания». XXII — 384.

А. Солженицын. Сахаровским слушаниям. XXII — 388.

Кузнецов и др. Спортсменам — участникам Олимпийских игр. XXII — 390.

Владимир Буковский. Новые жертвы Олимпийских игр. XXII — 445.

«Континент». Телеграмма Джорджу Бейли [к 60-летию]. XXII — 3 стр. обложки.

Издательство «Хроника». [Памяти В. А. Шелкова]. XXIII — 14.

Архиепископ Георгий. [Заявление в защиту свящ. Глеба Якунина, свящ. Дмитрия Дудко, Льва Регельсона]. XXIII — 75.

Валерий Чалидзе. Заявление [в защиту А. Д. Сахарова]. XXIII — 150.

Израильский парламент (Кнессет). Воззвание... [в защиту Андрея Сахарова]. XXIII — 175.

«Континент». Национализм и коммунистическая идеология. XXIII — 202.

[Памяти Г. С. Околовича]. XXIII — 254.

Ицхак Мерас [и др.]. Союзу советских писателей. Обращение [в защиту Игоря Губермана]. XXIII — 286.

В. П. Пластарас. [Обращение к Тито с просьбой о розыске Х. Диметресоса]. XXIII — 313.

Исполнительное бюро Совета НТС. Заявление... в связи с вторжением советских войск в Афганистан. XXIII — 422.

Владимир Буковский [и др.]. Человек на все времена [в защиту Андрея Сахарова]. XXIII — 4 стр. обложки.

Михаил Михайлов. Заявление Интернационального Комитета по поддержке югославских диссидентов. XXIV — 13.

«Континент». Владимир Исаакович Левин. [Некролог]. XXIV — 73. Сообщение для прессы [о положении А. Д. Сахарова в Горьком]. XXIV — 88.

В. Чалидзе. Заявление [об аресте Виктора Капитанчука]. XXIV — 141.

Людмила Алексеева [и др.]. Оглянись в раскаянии. [К 40-летию преступления в Катыни]. XXIV — 142.

Александр Солженицын. Заявление для прессы [об аресте Иосифа Дядькина]. XXIV — 238.

Новый член редколлегии «Континента» Амос Оз. XXIV — 343.

Заместитель председателя КГБ о «кознях ЦРУ». [Перепечатка заметки из газеты «Наша страна»]. XXIV — 382.

«Континент». А. И. Нейманис. [Некролог]. XXIV — 383.

Русская духовная миссия реагирует на нарушение права на свободу совести в СССР. XXIV — 384.

Молитва на литургии о спасении России. XXIV — 385.

«Континент». [А. Д. Сахарову к его 59-летию]. XXIV — 3 стр. обложки.

[Памяти Ирины Каплун]. XXV — 122.

Бюро информации и жалоб немецкого Общества прав человека в Мадриде. XXV — 220.

Александр Солженицын. По поводу суда над отцом Глебом Якуниным. XXV — 231.

Бертиль Гертнер [и др.]. Председателю Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневу. [В защиту арестованных верующих]. XXV — 232.

Александр Солженицын. Бастующим польским рабочим. XXV — 321.

В. Аксенов [и др.]. «Умер Владимир Высоцкий...». XXV — 322.

[Редакция «Континента». К гибели Андрея Амальрика]. XXVI — 185.

Олесь Бердник [и др.]. Разоружение — в сердце! (Открытое письмо Мадридскому совещанию стран, подписавших Хельсинкские соглашения). XXVI — 186.

Олесь Бердник [и др.]. Проявите великодушие! (Открытое письмо Л. И. Брежневу). [Призыв ликвидировать институт политзаключенных]. XXVI — 256.

Кронид Любарский [и др.]. В поддержку русско-украинского Заявления «Континента». XXVI — 310.

[«Континент». Памяти Л. А. Рара]. XXVI — 432.

Вниманию авторов! XXVI — 3 стр. обложки.

«Континент». Телеграмма [Чеславу Милошу к награждению его Нобелевской премией]. XXVI — 4 стр. обложки.

Редакторы [журнала «Эхо». К аресту К. Азадовского]. — Иосиф Бродский. [К аресту К. Азадовского]. XXVII — 53.

П. И. Веселов. [Некролог]. XXVII — 158.

«Континент». [К выдвижению Л. Валэнсы на Нобелевскую премию мира]. XXVII — 341.

Редакция «Континента». [Памяти И. Гильбоа]. XXVII — 363.

«Континент». [К 100-летию 1 марта 1881 года]. XXVII — 370.

Консультативный совет по защите прав человека в СССР. Заявление для публикации. XXVII — 382.

Владимир Максимов. Памяти Юрия Трифонова. XXVIII — 98.

Андре Львов. Андрею Сахарову. Телеграмма. XXVIII — 102.

Поддерживают Русско-украинское заявление. [На укр. и рус. яз.]. XXVIII — 179.

А. Солженицын. Академику Сахарову. XXVIII — 220.

Владимир Максимов. [А. Д. Сахарову]. XXVIII — 220.

Рональд Рейган. Участникам празднования юбилея Андрея Сахарова. XXVIII — 246.

Пьер Эмманюэль. Андрею Сахарову. XXVIII — 258.

Коллектив «Прав Человека»: Марек Хальтер [и др. А. Д. Сахарову]. XXVIII — 300.

Жан д'Арси [и др. А. Д. Сахарову]. XXVIII — 360.

Пьер Декс. «Континент», для Андрея Сахарова. XXVIII — 403.

Жан-Мари Доменак. Андрею Сахарову. XXVIII — 403.

Алексеевы — Вильямс [и др. К аресту А. Т. Марченко]. XXVIII — 404.

«Континент». [Памяти кардинала С. Вышинского]. XXVIII — 409.

Редакция и редколлегия «Континента». [А. Д. Сахарову]. XXVIII — 3 стр. обложки.

Редакция и редколлегия «Континента». [В. П. Некрасову к его 70-летию]. XXVIII — 4 стр. обложки.

[«Континент»]. Валерию Тарсису. Телеграмма [к его 75-летию]. XXIX — 81.

«Континент». Нине Берберовой. Телеграмма [к ее 80-летию]. XXIX — 94.

«Континент». [Памяти кардинала С. Вышинского]. XXIX — 183. *Общепольская Координационная комиссия «Солидарности»*. Заявление... [Памяти кардинала С. Вышинского]. XXIX — 272.

«Континент». Спасти Марта Никлуса! XXIX — 386.

[Памяти В. Я. Горачека]. XXIX — 388.

Анатолий Левитин-Краснов. В помощь большому человеку. [К 75-летию В. Я. Тарсиса]. XXIX — 416.

I съезд делегатов НСПС «Солидарность». Обращение... к трудящимся Восточной Европы. XXIX — 3 стр. обложки.

«Континент». [К приговору А. Т. Марченко]. XXIX — 4 стр. обложки.

Иосиф Бродский [и др.]. Участникам и публике конгресса «Писатель и права человека», писателям и читателям всех стран, где была издана книга Анатолия Марченко «Мои показания». XXX — 190.

Консультативный Совет по защите прав человека в СССР. Обращение в защиту Ивана Ковалева. XXX — 214.

Консультативный Совет по защите прав человека в СССР. Обращение... В защиту Анатолия Марченко. XXX — 236.

Джузеппе Сарагат — «Континенту». XXX — 251.

Международный ПЕН-Клуб. Резолюция... в защиту прибалтийских культур. XXX — 258.

Правление Русского Свободного Университета им. А. Сахарова. Обращение. XXX — 292.

И. Ульман [и др.]. Памяти Бориса Вахтина. XXX — 314.

Международный Секретариат «Международной Амнистии». Сообщение для печати. XXX — 346.

«Континент». Скончался в Лондоне в возрасте 52 лет Анджей Стыпулковский. XXX — 395.

Сквозь колючую проволоку: Жгенти [и др.]. Президенту США Р. Рейгану. — Григорян [и др.]. Независимому профсоюзу «Солидарность». XXX — 396.

Редакция и редколлегия «Континента». Редакции и редколлегии журнала «Индекс». XXX — 440.

Учредительный комитет свободных профсоюзов в СССР. Послание первому общепольскому съезду независимого профсоюза «Солидарность». XXX — 3 стр. обложки.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

(Отдельная пагинация)

Владимир Буковский. Русские политзаключенные Владимирской тюрьмы о проведении национальных референдумов. XI — 3.

Милан Балабан [и др.]. Провозглашение ХАРТИИ-77. XI — 9. (Послесловие «От редакции». XI — 18).

Из пресс-конференции *А. И. Солженицына* корреспондентам мадридских газет. Записано Габриелем Амиама. XI — 19.

Пьер Дэкс [и др.]. Международный Комитет поддержки принципов ХАРТИИ-77. [В защиту проф. Яна Паточки]. XI — 29.

В. Бихес [и др.]. Открытое письмо художникам, членам горкома художников Москвы и Ленинграда [в защиту художника Вадима Филимонова]. XI — 30.

Аксель Шпрингер. Ни возгласа протеста в нашем отечестве. XIII — 3.

Зиновий Антонюк [и др.]. Письмо политзаключенных пермского лагеря № 36. XIII — 21.

Лидия Финкельштейн. [Открытое письмо В. Соловьеву и Е. Клепиковой]. XIV — 3.

Андрей Сахаров. Парламентам всех стран, подписавших Заключительный Акт Конференции в Хельсинки. Обращение. XIV — 10.

Андрей Сахаров. Главному редактору газеты «Нью-Йорк таймс». XIV — 12.

Елена Боннэр-Сахарова. В газету «Нью-Йорк таймс». XIV — 15.

[Материалы международной конференции редколлегии «Континента»]. Предисловие «От редакции». XV — 3.

Наталья Солженицына. [В защиту Александра Гинзбурга. Предисл. «От редакции»]. XV — 11.

Архиеп. Сильвестр [и др.]. Призыв Русского Студенческого Христианского Движения. XV — 16.

Лишение гражданства М. Ростроповича и Г. Вишневу. [Материалы]. XVI — 3.

Петр Григоренко. По поводу «раскаяния» Гелия Снегирева. [С прим. редакции]. XVI — 9.

А. Д. Сахаров. Интервью... итальянскому журналу «Грацие». XVI — 12.

Борис Вайль. Оппозиция в СССР. [С прим. редакции]. XVI — 16.

Католики Молдавской ССР. Его Преосвященству Папе Павлу VI. XVI — 20.

В защиту Александра Гинзбурга. [Материалы]. XVII — 3.

В защиту Анатолия Марченко. [Материалы]. XVII — 9.

Виктор Некрасов. Исаичу... XVIII — 3.

Кирилл Померанцев. Солженицын — знамение нашего времени. XVIII — 6.

Аксель Шпрингер. [Речь при вручении медали «Друг Соединенных Штатов»]. XIX — 3.

Тибор Мераи. Человек, который стоит целой страны. [О Солженицыне]. XIX — 9.

Е. Боннэр [и др.]. Пропагандистская кампания дискредитации правозащитного движения в СССР. Документ № 64 Московской Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. XIX — 10.

Георгий Владимов. Ответ Рою Медведеву на его «Открытое письмо Р. Б. Лерт». [С предисл. редакции]. XIX — 13.

Р. Лерт. В редакцию журнала «Поиски». XIX — 20.

Евгений Гнедин. В редакцию журнала «Поиски». XIX — 21.

Жорес А. Медведев. В редакцию журнала «Континент». [С прим. от редакции]. XIX — 23.

Владимир Максимов. Размышления о гармонической демократии. XXI — 3.

Владимир Пореш [и др.]. Обращение к христианской молодежи Запада. XXI — 14.

Владимир Пореш [и др.]. К христианской общественности в СССР и за рубежом. XXI — 17.

Эдвард Клайн. Макс Хейвард. Некролог. XXI — 19.

[Заявление правозащитников Польши и Советского Союза в защиту чехословацких правозащитников]. XXI — 20.

А. Сахаров. Ответы на вопросы корреспондента Эй-Би-Си Ньюс Ч. Е. Бирбауэра. XXIII — 3.

Степан Процик [и др.]. Русско-украинское заявление. XXIV — 3.

Юрий Красный. О критике по-носорожьи. Письмо в редакцию журнала «Континент». XXIV — 7.

А. Сахаров. Ответы на вопросы корреспондента Лакуа (Итальянское агентство АНСА). XXIV — 14.

Протокол заседания израильского парламента (23 января 1980 года). [В защиту А. Д. Сахарова]. XXV — 3.

В. Буковский [и др.]. Звуковые барьеры «Свободы». Открытое письмо Президенту США Д. Картеру. XXV — 6.

Создан Международный комитет защиты семьи гроссмейстера Корчного. XXV — 11.

Леонид Паланов. [Письмо-поправка В. Е. Максимова]. XXV — 17.

Андрей Сахаров. Открытое письмо Президиуму Верховного Совета СССР. XXV — 19.

Андрей Сахаров. Заявление. XXV — 24.

Андрей Сахаров. Что должны сделать США и СССР, чтобы сохранить мир. XXIX — 2.

Андрей Сахаров. Письмо иностранным коллегам. XXX — 2.

Андрей Сахаров. День политзаключенного 1981 года. XXX — 5.

Андрей Сахаров. Спасти Анатолия Марченко. XXX — 5.

Журнал «БЪДЕЩЕ»

(«Будущее»)

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunei,
75017 Paris, Tel. 380-57-64

Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$
Par avion: 50 \$)

Читайте в следующем номере:

СТИХИ:

**В. Алёников, И. Бродский,
Н. Шатров**

КРУГ РАССКАЗЧИКОВ:

**Ю. Гальперин, М. Зайчик,
И. Милославский, Г. Покрасс**

ПУБЛИЦИСТИКА:

**М. Волин, А. Малумян, Ж. Нива,
А. Сопровский**

Специальное приложение

**ЗАЯВЛЕНИЕ КАРЛА ГЕРШМАНА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ США В ТРЕТЬЕМ КОМИТЕТЕ ООН,
по вопросу о праве на самоопределение
9 октября 1981**

Недавнее принятие Вануату и Белиза в ООН доводит число ее государств-членов до 156. Эта цифра, более чем в 3 раза превышающая число государств, участвовавших в учредительной конференции ООН в Сан-Франциско в 1945 г., говорит об изменениях, происшедших в мировой политике после Второй мировой войны. Прежде, и в особенности до Первой мировой войны, мировая политика была, по существу, политикой европейских государств. С тех пор число независимых государств росло в геометрической прогрессии — в результате распада европейских колоний в Азии и Африке, — и глобальная природа мировой политики стала гораздо более подлинной.

Однако сам по себе этот факт не означает торжества принципа самоопределения на мировой сцене. Хотя из всех принципов Хартии ООН на самоопределение ссылаются, пожалуй, чаще всего, это не означает, что достигнуто общее согласие о содержании этого термина. Это не означает и того, что все правительства, признавшие принцип самоопределения, соблюдают его на практике.

Вопрос о самоопределении обсуждается очень широко и крайне напряженно. Споры вокруг него — не академическое занятие, они влекут за собой серьезные последствия для будущего человечества. Следовательно, и неудачная формулировка этого принципа может иметь далеко идущие последствия.

Для начала важно установить, что на практике существуют две взаимопротиворечащие точки зрения на самоопределение — обе они возникли после Первой мировой войны. Они обязаны своим происхождением: одна — Вудро Вильсону, а другая — В. И. Ленину, и различны в самых своих основах. Действительно, как мы увидим, вильсоновская и ленинская позиции исключают друг друга. Несмотря на это, дебаты вокруг принципа самоопределения и попыток осуществить это право идут так, как если бы существовала единственная и общепризнанная формулировка. В результате, было много взаимного непонимания, и, хуже того, право на самоопределение нередко превращалось в инструмент угнетения.

С точки зрения Вильсона, самоопределение было прежде всего средством обеспечения мира при помощи справедливости. Выступая в Конгрессе в 1918 году, он говорил, что Первая мировая война «имела свои истоки в пренебрежении правами малых наций и народностей, которым не хватало единства и силы осуществить свои устремления к суверенитету и собственным формам политической жизни». Необходимым условием мира, по Вильсону, была безопасность «любой миролюбивой нации, желающей жить своей собственной жизнью, устанавливать свои институты, обрести в справедливости и равноправных отношениях с другими народами мира гарантию против насилия и агрессии».

Вильсоновская точка зрения на самоопределение является попыткой распространения ценностей либеральной демократии на сферу международных отношений. Поэтому, настаивал он, необходимо уважать права наций так же, как права отдельного человека. Фактически, он рассматривал эти области прав как органически связанные, поскольку самоопределение нации предполагает свободу волеизъявления людей как основу правящей власти. «Править и властвовать людьми можно только с их собственного согласия», — говорил Вильсон. Иначе говоря, право на самоопределение нации может быть нарушено лишением как демократических свобод, так и национального суверенитета.

Если вильсоновская концепция самоопределения утверждает права нации исключительно в структуре либерально-демократической традиции, ленинская концепция вытекает из стремления впрячь антиколониальное движение в упряжку большевистской революции. Ленин пришел к своей позиции после неудачи пролетарской революции на Западе — революции, в которую он всегда верил и которую считал необходимой для торжества коммунизма. В поисках нового революционного класса Ленин обратил свой взгляд на Восток. Его надежды строились на вере в то, что дремлющие в прошлом народы Востока в результате Первой мировой войны втянуты в общую бурю мирового революционного движения. В этом контексте самоопределение представлялось полезным лозунгом, мощным оружием пропаганды, которым, по мнению Ленина, можно мобилизовать революционный националистический Восток на борьбу против контрреволюционного империалистического Запада.

Таким образом, подход Ленина и Вильсона к самоопределению диаметрально противоположен. Для Вильсона современный ему кризис, нарушавший мир между народами, поставил вопрос о самоопределении как срочный. Для Ленина его поставила неудача револю-

ции на Западе. Для Вильсона первой целью самоопределения было установление спокойствия в мире, для Ленина — торжество мирового коммунизма. Для Вильсона философские основы самоопределения лежали в либерализме и уважении прав человека, для Ленина — в большевизме и так называемой «диктатуре пролетариата».

Идеи имеют свои последствия, и только по ним можно судить об идеях. Идеи Вильсона и Ленина о самоопределении породили два направления действия и мысли, сформировавшие современный мир, хотя каждое по-своему.

Последствия вильсоновской идеи самоопределения можно обнаружить в том, о чем мы уже говорили: демонтаж европейских колониальных владений и, соответственно, появление десятков независимых национальных государств. Право на самоопределение осуществлено, например, в Пуэрто-Рико, сегодняшний политический статус которого отражает неоднократное свободное волеизъявление пуэрториканского народа. Этот же принцип воплощается в Микронезии, где аналогичный процесс свободных выборов происходит под наблюдением Опекунского Совета.

Это осуществление самоопределения многими народами мира — процесс, несомненно, более стремительный, чем какой-либо иной в нашем веке, — предвосхищалось в Пакте Лиги Наций, составленном под сильным влиянием идей вильсоновского интернационализма. Сама Хартия ООН, в соответствии с которой столько стран получило свою независимость, также составлена в духе идей Вильсона.

Безусловно, нельзя сказать, что принцип самоопределения осуществлен полностью. Прямо сейчас, например, перед нами стоит вопрос Намибии, независимость которой давно уже должна была стать фактом. Мы также констатируем, что во многих странах мира право на самоопределение не осуществляется из-за отсутствия процедур, гарантирующих политические и гражданские свободы, необходимые для свободного волеизъявления народов. Связь, установленная ст. 55 Хартии ООН, между самоопределением и соблюдением фундаментальных свобод слишком часто пренебрегается в дискуссиях ООН, так же как и ссылка ст. 76 на «свободное волеизъявление заинтересованных народов» — слова, точно и сжато выражающие суть принципа самоопределения.

Все это не должно преуменьшать в наших глазах успеха вильсоновских идей, поскольку нет сомнения, что влияние его концепции самоопределения способствовало освобождению человечества от правления силой. К сожалению, того же нельзя сказать о последствиях ленинского подхода к самоопределению.

В то время как историческим последствием вильсоновской идеи самоопределения был отказ Запада от империй, ленинский подход привел к укреплению и экспансии последней остающейся на земле империи. Тот факт, что такое развитие оправдывалось осуществлением права на самоопределение, или, в современных модных терминах, национальным освобождением, — яркий пример извращения языка в современную эпоху.

Большевистская революция 1917 года унаследовала империю, которую Ленин однажды определил как «тюрьму народов». Это было точным описанием империи, включавшей много народностей, которая расширилась с 15 тыс. кв. миль в 1462 году до 8 660 тыс. кв. миль в 1914-м, т. е. со скоростью более чем 50 кв. миль в день за 450 лет. Далекие от мысли отказать от этой империи, Ленин и его последователи расширили ее и навязали ее подданным гораздо более безжалостную силу современного тоталитаризма.

В 1961 г., обсуждая проблему самоопределения, постоянный представитель США в ООН Эдлай Стивенсон проследил рост советской империи после большевистской революции. «Нам говорят, — сказал Стивенсон, — что народы Советского Союза располагают правом на самоопределение. Как это «право» работало на практике?» Позвольте мне процитировать выдержки из его ответа на этот вопрос:

«Независимая Украинская Республика была признана большевиками в 1917 году, но в том же году они установили конкурирующую республику в Харькове. В июле 1923* года с помощью Красной Армии была учреждена Украинская Советская Социалистическая Республика, включенная затем в состав СССР. В 1920 году независимая республика Азербайджан подверглась нашествию Красной Армии и была объявлена советской социалистической республикой. В том же году Хивское ханство было оккупировано Красной Армией и превращено в марionеточную советскую народную республику Хорезм. После оккупации Хивы подходы к соседнему Бухарскому эмирату были открыты для советских войск, которые захватили Бухару в конце 1920 года. В 1918 году Армения провозгласила свою независимость от России... В 1920-м Красная Армия вторглась, и столь долгожданная армянская независимость была отнята. В 1921 году Красная Армия пришла на помощь коммуни-

* Так в тексте. — Прим. ред.

стическому восстанию против независимого грузинского государства и установила советский режим.

Этот процесс неумолимо продолжается. Характерно, что СССР воспользовался смутой и анархией времен Второй мировой войны, чтобы продолжить процесс колониального закабаления своих соседей. Советская территориальная экспансия включила Карелию и другие части Финляндии, восточные области Польши, румынскую Бессарабию и Буковину, независимые государства Эстонию, Латвию и Литву, район Кенигсберга, куски Чехословакии, Южный Сахалин, Курильские острова и Туву...

После Второй мировой войны целые нации и народности исчезли за железным занавесом в нарушении международных соглашений и без свободного волеизъявления заинтересованных народов: Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания, а затем и Чехословакия путем государственного переворота. Народам Германии и Кореи, разделенным в результате войны, в их стремлении к воссоединению воспрепятствовала неспособность Советского Союза выполнять подписанные им соглашения и допустить самоопределение этих народов путем свободных выборов».

За 20 лет, прошедшие после того, как Эдлай Стивенсон произнес эти слова, новые народы и страны включены в советскую империю. Куба сейчас является советской колонией, империалистической базой и угрозой миру в Карибском регионе, плацдармом советского империализма в Африке. Вьетнам и Лаос поглощены советской империей, и этот процесс продолжается в Камбодже в результате вторжения и длительной ее оккупации 200 тысячами вьетнамских солдат. И в настоящее время — Афганистан.

Трудно вообразить более откровенный пример отрицания права на самоопределение. Советский Союз оккупировал Афганистан против воли всего афганского населения. Приблизительно 3 млн. чел., т. е. примерно одна пятая всего афганского населения, покинула страну, чтобы избежать истребления, принесенного советскими оккупационными войсками. Те, что остались, все еще контролируют около 70% территории страны, несмотря на то, что СССР применяет против них самое изощренное оружие своего арсенала — от тяжеловооруженных вертолетов до сверхзвуковых самолетов. В самом кабульском правительстве советский персонал управляет буквально всеми аспектами администрации, включая министерства иностранных дел, обороны, внутренних дел, информации и культуры, юстиции, экономического планирования. Начиная с 1979 г., советский персонал также командует афганской армией, вплоть до уровня бригады, а иногда до уровня роты.

Действительно, ничто не иллюстрирует отсутствие общественной поддержки советской оккупации лучше, чем развал афганской армии. Кабульский режим прибегает к отчаянным мерам мобилизации. Молодых людей, иногда 12-13-летних детей, хватают на базарах, грузят в наземный или воздушный транспорт и отправляют в другие районы страны, где насильственно одевают в военную форму. Мы узнаём кое-что лишь о тех из них, кому удалось бежать, поскольку некоторых интервьюировала международная пресса. Остальные просто исчезают, и даже их семьи не знают, где они.

Недавняя мобилизация резервистов вызвала бунты и протесты. 6 и 7 сентября протест против мобилизации собрал тысячи демонстрантов, в большинстве женщины, и был подавлен войсками, применившими огнестрельное оружие. Было убито несколько демонстрантов, в том числе две школьницы. Режим зашел настолько далеко, что предлагает в 30 раз большую плату — т. е. на уровне зарплаты крупных чиновников, — чтобы привлечь резервистов и сержантский состав явиться по призыву о мобилизации. И все же они не приходят. Совсем наоборот, люди призывного возраста бегут из городов, чтобы присоединиться к силам Сопротивления, и целые полки регулярной армии дезертируют.

В ст. 1 Пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Советским Союзом, формулировка самоопределения включает право всех народов «свободно распоряжаться своими природными богатствами и ресурсами». Это право в Афганистане ежедневно нарушается Советским Союзом, который экспроприировал национальные ресурсы страны, чтобы оплачивать оккупацию.

Например, весь природный газ из месторождений около Шибаргана (на севере страны) поставляется по трубопроводу непосредственно в СССР. Не только цена на этот газ установлена ниже мировых рыночных цен, но афганские чиновники не имеют возможности определить объем экспортируемого газа, поскольку вся измерительная аппаратура установлена по советскую сторону границы. Даже при этом СССР фактически ничего не платит за этот газ, поскольку он поставляется в обмен на товары, которые афганцы вынуждены принимать и которые необходимы для поддержания навязанного Советским Союзом режима.

Не в последнюю очередь: 3 сентября кабульский режим объявил, что подписал контракт о покупке стройматериалов на 9,5 млн. руб. для постройки двух дополнительных

жилищных массивов для советского персонала на северо-восточной окраине Кабула. Создается впечатление, что отрицание права на самоопределение в Афганистане доходит до того, что афганцев заставляют оплачивать жилье своим оккупантам.

Г-н председатель, семена, посеянные Лениным много лет назад, принесли урожай, и мир пожиная бурю беспорядков и напряжений. В одном районе мира за другим эта империя обостряет локальные конфликты, увеличивает сумму человеческих страданий и расшатывает основы мировой стабильности. Нынешний тупик в международной политике безусловно подтверждает вильсоновскую веру в то, что отрицание права на самоопределение угрожает миру во всем мире. Нет другого выхода из этого тупика, кроме подтверждения и защиты права всех народов на самоопределение. Для достижения этой цели необходимо положить конец заговору молчания вокруг тех, кто внутри этой последней империи мира лишен этого законного права.

Позвольте рассказать об одном человеке, чья судьба миру неизвестна. Его имя — Юри Кукк, эстеонек из Тарту, ученый-химик. Он был в числе тех, кого советские власти арестовали после публикации петиции, названной «Прибалтийским воззванием». Это воззвание, подписанное 45-ю гражданами прибалтийских стран, было выпущено в августе 1979 года, в 40-ю годовщину пакта Гитлера и Сталина, приведшего к разделу Польши и оккупации трех прибалтийских государств (все они были членами Лиги Наций). Петиция призвала опубликовать текст пакта и секретного протокола к нему, а также выступала за самоопределение Прибалтики.

Кукк, который протестовал также против оккупации Афганистана, был осужден вместе со своим коллегой-диссидентом Мартом Никлусом за «антисоветскую агитацию и пропаганду» и отправлен в ГУЛаг. 27 марта этого года, после 4-месячной голодовки, Кукк умер в пересыльной тюрьме под Вологдой. Он похоронен рядом с тюрьмой, и власти отказали семье в просьбе выдать тело покойного. Когда его жена посетила могилу, тюремная охрана не позволила ей ни возложить цветы, ни сфотографировать могилу. Ей также отказали в просьбе надписать на могиле имя мужа — по приказу властей на могиле значится только тюремный номер Юри Кукка: 23781.

Это лишь одна из тысяч историй, выбранная почти наугад. Она происходила вдали от блеска мировой гласности, внутри того, что Александр Солженицын назвал «зоной изоляции» советского тоталитаризма. Тем не менее, Кукк и другие ему подобные должны почтяться среди истинных героев нашего времени. Они заслуживают нашего восхищения. Точнее, они заслуживают нашей солидарности.

«Есть только одна сила, ведущая мир к освобождению, — сказал однажды Вудро Вильсон, — и это сила рода человеческого. Это сплоченная нравственность мира». Мобилизация этой силы в поддержку истинного самоопределения и фундаментальных свобод для всех народов является огромной задачей, стоящей перед ООН.

ВЫСТУПЛЕНИЕ КАРЛА ГЕРШМАНА В ДИСКУССИОННОМ ПОРЯДКЕ, В ОТВЕТ СТРАНАМ СОВЕТСКОГО БЛОКА

14 октября

Я хотел бы использовать данное мне время, чтобы сказать о некоторых проблемах, поднятых в процессе дискуссии, а именно: о Пуэрто-Рико и о расовых отношениях в США, а также сделать несколько дальнейших замечаний о Советском Союзе и проблеме самоопределения.

Я должен сказать, г-н председатель, после прослушанных дебатов, что надо обладать либо терпением Иова, либо цинизмом профессиональных работников агитпропа, чтобы слушать выступления представителей тоталитарных стран по вопросу о самоопределении Пуэрто-Рико. Народ Пуэрто-Рико неоднократно воспользовался своим правом на самоопределение — факт, признанный Генеральной Ассамблеей в 1953 году, когда Пуэрто-Рико было изъято из списка несамостоятельных территорий. Народ Пуэрто-Рико воспользовался своим правом на самоопределение в референдумах 1952 и 1967 гг., а также на губернаторских выборах, иллюстрирующих господствующие представления пуэрториканцев. Так, в ноябре прошлого года губернатор Ромеро, сторонник государственности, был переизбран незначительным большинством голосов, выиграв у бывшего губернатора Рафаэля Эриандеса Колона, сторонника улучшенной формы содружества наций. Каждый из них набрал примерно 47,2% голосов, а две маленькие независимые партии — 5,6%.

Пуэрто-Рико свободно вело переговоры о своих нынешних отношениях содружества с США, и США последовательно заявляли, что любая перемена в этих отношениях должна наступить только по инициативе пуэрториканцев.

Сравните такое, полностью демократическое устройство со статусом 15 союзных республик Советского Союза. О, конечно, договор 1922 г. о создании СССР и Конституция, принятая в 1977 г., содержат статьи о праве любой союзной республики отделяться от СССР. (Это право не предусмотрено для т. н. автономных республик.) Но не существует ни одного законодательного акта, определяющего процедуру отделения союзной республики от СССР. Нигде ничего не говорится и о том, как начинать дискуссию на этот предмет и как принимать подобное решение. Упоминание о таких процедурах отсутствует даже в оригинале договора 1922 г. о создании СССР.

Нет также и процедуры, по которой можно лишить союзную республику ее статуса. Например, Карело-Финская ССР была превращена в Карельскую АССР законом, принятым Верховным Советом СССР 16 июля 1936 года. Закон ссылается на «желание трудящихся» этой республики, хотя оно не было подтверждено никакой демократической процедурой типа референдума, так что в юридическом смысле это желание просто не существует. По сути дела, центральные власти сохраняют за собой возможность лишения любой республики ее союзно-республиканского статуса в случае, если она склонна отделяться от СССР.

На практике невозможно даже обсуждать вопрос об отделении союзной республики. Хотя советский закон не содержит прямого запрета подобной дискуссии, а Уголовный Кодекс не предписывает никаких наказаний за нее, практика показывает, что лица, пытающиеся обсуждать этот вопрос, подвергаются уголовному наказанию по обвинению в ведении антисоветской пропаганды. В таких случаях возможно также обвинение в разжигании национальной розни и даже в измене Родине.

Некоторые люди подвергаются репрессиям даже за защиту своих культурных и языковых прав. Например, украинский националист историк Валентин Мороз, освобожденный в 1979 г. в процедуре обмена заключенными, был арестован за защиту церковных ценностей и культурных памятников Западной Украины от посяательства советских центральных властей уничтожить их. Он был осужден за «антисоветскую деятельность», а точнее говоря, за сопротивление советским попыткам русифицировать Украину. Сообщения о подобных попытках продолжают поступать, и украинские активисты, такие, как Петро Рубан, Василь Романюк, Микола Руденко, остаются в заключении.

Отсутствие какой-либо реальной автономии фактически закреплено в программе КПСС. В частности, программа, принятая на XII съезде партии в 1961 году, которая официально все еще действует, утверждает, что границы между союзными республиками все больше теряют свое значение, — иначе говоря, даже формально принцип самоопределения в СССР теряет свое значение.

Советские руководители никогда не скрывали — более того, с гордостью и многократно заявляли, — что они рассматривают принцип самоопределения и национального суверенитета как подчиненный т. н. классовой борьбе. Позвольте мне привести несколько заявлений такого рода.

Ленин, Сочинения, т. 26, с. 408: «Не может быть такого марксиста, который бы, полностью не расходясь с основами марксизма и социализма, мог отрицать, что интересы социализма выше интересов права наций на самоопределение».

Сталин, Сочинения, т. 5, с. 270: «В некоторых случаях право на самоопределение противоречит другому, высшему праву — праву рабочего класса, пришедшего к власти, укрепить эту власть. В таких случаях — и мы должны сказать это прямо — право на самоопределение не может и не должно служить препятствием рабочему классу в осуществлении его права на диктатуру».

25 сентября 1968 года в программной статье «Правды», защищающей советское вторжение в Чехословакию, С. Ковалев писал: «Нет сомнения, что народы социалистических стран и коммунистические партии имеют и должны иметь возможность определять путь развития своей страны. Однако никакое их решение не должно наносить ущерба социализму в их собственной стране и фундаментальным интересам других социалистических стран или мирового рабочего движения, борющегося за социализм... Суверенитет отдельных социалистических стран не может противопоставляться интересам мирового социализма и мирового революционного движения».

Эта т. н. «доктрина Брежнева» была освящена самим Брежневым в речи 12 ноября 1968 года: «Когда внутренние и внешние силы, враждебные социализму, пытаются свернуть развитие социалистической страны в сторону реставрации капиталистического строя,

когда появляется угроза делу социализма в этой стране, угроза безопасности всего социалистического содружества, — это становится уже не только проблемой народа данной страны, но также и общей проблемой, заботой всех социалистических государств». В таких обстоятельствах, продолжал Брежнев, становится необходимым оказать «военную помощь братской стране, чтобы пресечь угрозу социалистическому строю».

О, разумеется, Варшавский договор 1955 г. обязует СССР и другие страны-участницы договора «в соответствии с Хартией ООН воздерживаться в международных отношениях от угрозы силой или применения силы». Однако на практике СССР действует в согласии с политикой, изложенной в цитированной статье «Правды», где «законы и нормы права подчинены законам классовой борьбы», которая не может быть «отброшена во имя законнических соображений» и «критериев буржуазного права». Нет необходимости возвращаться к вторжению в Чехословакию, чтобы продемонстрировать это положение. Достаточно взять любую утреннюю газету, чтобы найти обильное подтверждение.

Например, на 5-й стр. сегодняшней «Нью-Йорк Таймс» можно прочесть следующую цитату из «Правды»: «Сохранение революционных завоеваний польского народа есть не только его внутреннее дело. Это вопрос, который затрагивает жизненные интересы всех народов и государств, избравших путь социализма».

Совершенно очевидно, что советские речи о защите «дела социализма» и соблюдении «законов классовой борьбы» просто маскируют политику империализма. Следовательно, для СССР социализм служит той функцией, которую Маркс назвал бы идеологической — том смысле, что она подводит рациональные основы под стремление к власти. Это происходит настолько систематически и вопиюще за счет принципа самоопределения, что ничто, сказанное или сделанное Советским Союзом, не может опровергнуть этого факта.

Я бы хотел сделать несколько замечаний относительно пропаганды, услышанной нами в этом Комитете, по поводу американских расовых отношений. В течение последней четверти века США практически пережили революцию в области расовых отношений. Это один из наиболее успешных и творческих процессов социальных изменений, имевших место в какую-либо историческую эпоху. Конечно, процесс еще не завершен. Но американцы, черные и белые, горды тем, что уже достигнуто. И я лично горжусь тем, что имел возможность быть частью движения за гражданские права в этой стране, участвовать в марше в Сельме (Алабама), в работе по регистрации избирателей в Миссисипи, я горд тем, что работал и жил в среде местного населения и молодежи черных кварталов Чикаго, Питсбурга и Нью-Хэвена.

Я осведомлен о том, что СССР давно проявляет интерес к расовому положению в США. Не кто иной, как великий защитник гражданских прав Иосиф Сталин, заявлял, что положение черных в США создает «национальный вопрос», — позиция, подхваченная Коминтерном на его VI конгрессе в 1928 году, где была принята резолюция о «праве на самоопределение негров в Черном Поясе». Конечно, этот лозунг не имел никакого отношения к действительному положению американских черных, в своем подавляющем числе мигрировавших с Юга в поисках больших возможностей. Этот лозунг, в конечном итоге, был отброшен коммунистами, но различные его версии периодически возникают в целях агитации и пропаганды.

Фактически коммунисты подходили к расовому положению в США так же, как они подходят ко всем вопросам: подчиняя интересы людей требованиям советской внешней политики. Достаточно рассказать лишь одну историю.

В 1941 г. великий лидер черных А. Филип Рандолф был занят организацией первого марша на Вашингтон, целью которого было добиться работы для черных в оборонной промышленности нашей страны. Первоначально коммунисты поддерживали его усилия, и не потому, что их интересовало обеспечение черных работой, но потому, что тогда действовал пакт между Гитлером и Сталиным, Советский Союз был против американской поддержки военных усилий союзников, а марш представлялся способным подорвать эти усилия. Например, 16 мая 1941 года, за месяц до нацистского вторжения в СССР, «Дейли Уоркер» заявляла: «Нельзя защищать права негров, не борясь против войны». Немедленно после вторжения в СССР коммунисты объявили о своей оппозиции маршу на Вашингтон, и их новым лозунгом стало: «Не поддерживая войну, негры не смогут подлинно защитить свои интересы».

Теперь, как и всегда, коммунистическая пропаганда по вопросу о правах и нуждах американских черных должна рассматриваться с той иронией, которой она заслуживает. Черные не нуждаются в иностранных инструкциях, чтобы сформулировать свои интересы. В результате, они последовательно улучшили свое положение в американском обществе.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ КАРЛА ГЕРШМАНА НА АТАКУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 13 СТРАН СОВЕТСКОГО БЛОКА

14 октября

В то короткое время, которым я располагаю, нет возможности ответить *всему* советскому блоку. Но нескольких замечаний будет достаточно. Я слушал комментарии по вопросу о самоопределении, сделанные делегатами Афганистана, Венгрии и Чехословакии, с чувством ужаса и изумления — ведь все эти страны подверглись советскому вторжению. Делегат Афганистана говорит о Советском Союзе как о «дружественном соседе». Вряд ли кто-то порадуется такому дружественному соседу, г-н председатель, особенно когда этот сосед, по словам Андрея Сахарова, «вооружен до зубов». Венгерский делегат говорит теперь о самоопределении народов. Мы помним, что случилось с народом его страны, когда он пытался осуществить это право в 1956 году. Я приветствую его заявление в пользу свободных выборов, но нам остается лишь пожалеть, что таких свободных выборов нет в Венгрии. Это почти неприлично — слышать делегата Украины, говорящего об отсутствии самоопределения в Пуэрто-Рико и Микронезии, где это право уже осуществлено. Украинцы составляют лишь 20% населения СССР, но 50% советских политзаключенных — украинцы. Украинская Католическая Церковь была жестоко разгромлена, а храмы на Украине почти полностью уничтожены, священники брошены в лагеря, а церкви превращены в музеи атеизма. За попытку осуществлять свои законные права члены Украинской Группы-Хельсинки оказались в тюрьмах или психиатрических больницах.

Я бы хотел заключить свои замечания, просто рассказав одну историю, которая, как мне кажется, будет полезным комментарием к замечаниям кубинского делегата, так же, впрочем, как и к замечаниям других коммунистических делегатов. Она как раз касается вопроса угнетения. Г-н председатель, вы, возможно, помните, что в октябре прошлого года Кастро освободил 33 американца, находившихся в кубинских тюрьмах, — ход, который большинство наблюдателей истолковало как попытку повлиять на американские выборы. Один из этих 33-х — человек по имени Тони Брайант, черный из Сан-Франциско, который присоединился к Черным Пантерам в конце 60-х годов. В 1969 г. он угнал самолет на Кубу, заявив, что его цель — донести послание Черных Пантер личному секретарю Фиделя Кастро. Он при этом верил, что бежит в рай.

Его приключения на Кубе весьма поучительны и, добавлю, отнюдь не уникальны. На Кубе он был арестован на 6-й день пребывания и приговорен к двум годам тюрьмы. Оказавшись в тюрьме, он, к своему удивлению, обнаружил, что 60-80% заключенных — черные, несмотря на то, что они составляют только около 20% населения Кубы. Ему не позволили ни писать, ни получать письма, ни вообще иметь какие-либо контакты с некубинцами. Он не был освобожден по истечении двух лет. В конце концов, вместе с другими заключенными он пытался бежать. Один из них бежал, один был убит, а Брайант — пойман. Оказавшись снова в тюрьме, он был впихнут в телегу вместе с 60-ю другими заключенными и отправлен на сахарные плантации. Если в тюрьме условия были тяжелыми, на плантациях они оказались невыносимыми. Заключенных подымали в 4 часа утра, они начинали уборку тростника на рассвете и возвращались в лагерь только после заката. Избиения заключенных были частыми. Например, сразу же после прибытия в лагерь один заключенный, у которого нашли банкноту в 5 песо, спрятанную в куске мыла, был раздет донага, избит и брошен в маленькую камеру, где его обливали ледяной водой — обычная в кубинских тюрьмах форма наказания.

Брайант объявил голодовку протеста. Когда, в конце концов, ему разрешили встретиться с представителем швейцарского посольства, представляющего интересы США в Гаване, он сказал чиновникам, что даже если бы по возвращении в США его тут же посадили на электрический стул, он «сегодня же поехал бы в США».

Чем дольше он оставался в тюрьме, тем более убеждался, что коммунистическая система на Кубе глубоко репрессивна. Он встречал политзаключенных, дискутировал с ними, начал писать по-испански стихи политического протеста. В 1974 г. один из американцев, с которым он находился в тюрьме, был выволочен из своей камеры и вернулся с затылом, вспухшим от ударов. На следующее утро его забрали в тюремную больницу, где он умер на операционном столе. Брайант организовал группу из 12 человек, протестовавшую и требовавшую встречи с чиновником из Гаваны. Протест был подавлен, а заключенные избиты и изранены ударами мачете. Одному из них, черному, угнавшему самолет из Милуоки, выдавили глаз. Брайанта унесли на носилках.

После этого он в течение 17 суток был закован в цепи и помещен в одиночку на 14 ме-

сяцев. Но он продолжал сопротивление, присоединяясь к другим политзаключенным в их частых голодовках, одна из которых продолжалась 19 дней.

После того как в прошлом году Брайант был в конце концов освобожден, он сказал, что его заключения на Кубе были, по-видимому, необходимы, «чтобы чуть-чуть прозреть». Он заметил, что поиски его и других черных радикалов в конце 60-х годов были тщетны, потому что — я цитирую: «Ответы можно было найти только в аду. Кто-то, действительно, должен был сойти в ад и вернуться назад, чтобы реально осознать происходящее там. Это как раз то, что я сделал».

По прибытии в Майами, направляясь к фургону, который должен был забрать его в федеральную тюрьму, он сказал: «Я безумно счастлив. Соединенные Штаты — величайшая страна в мире». На следующий день в суде он осудил коммунизм словами, которые я предпочту не повторять здесь, щадя тонкую чувствительность некоторых делегатов. Его слова были значительно менее изысканны, чем слова Артура Кестлера, Стефена Спендера, Ричарда Райта и других представителей более раннего поколения западных радикалов, которые прошли через свой собственный опыт познания «Голого бога». И все же опыт этот, в основном, тот же. Это опыт глубочайшего разочарования — более того, отвращения, возникающего, как только реальность коммунизма предстает в ее истинном свете. Достойно сожаления, что многие люди не могут понять этой реальности, пока сами не испытают ее. Но такой опыт поучителен, поскольку он прорывается через ложь и пропаганду, слышанную нами в этом комитете, единственной целью которой является сокрыть истинное лицо системы угнетения.

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)
40.— ДМ, или 23.— US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8.— ДМ, или 5.— US\$
от розничной цены!

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком ☐ почтовым переводом ☐
через банк ☐

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804





Господи, Господи, ночь и туман
на них опустились.
Господи, что даровал Ты нам,
кроме бессилья,
кроме свободы голос срывать:
«Вольна Польска!»
и сквозь кордоны атаковать
двери посольства.

Крик мой, хрип мой жалок и тих:
«Сестры и братья!»
Видно, Господь чересчур возлюбил
эту равнину.
Видно, у Господа Бога для них
— то же, что Сыну, —
нету иных проявлений любви,
кроме распятия.

Н. Горбаневская

Париж, 23 дек. 1981

СНОВА ПОЛЬША

Для истинно русского человека Польша — кровото-чащая рана: соучастие в четырех разделах этой страны, предательство Варшавского восстания, Катынь и вот теперь — инициатива в удушении «Солидарности».

Зародившееся в августе 1980 года и кровью и арестами пресеченное в декабре 1981 года, всенародное движение поляков со всей очевидностью доказало полную несостоятельность коммунистической диктатуры в стране, которая ее не хочет. Полуфиктивная, разъеденная коррупцией мафия, хотя и называвшаяся Польской Объединенной Рабочей Партией, по прямому указанию Москвы спровоцировала выступление беззастенчивой военной хунты.

Подлинная картина того, что происходит сейчас в Польше, известна нам только в общих чертах или из тех отрывочных сведений, которые просачиваются сквозь герметические закрытые границы. По ту сторону Буга знают еще меньше. О пролитой крови, тюрьмах, лагерях ни «Правда», ни «Известия», само собой, не сообщают, предпочитая писать о «коварных заговорах капиталистических держав».

Мы, русские, оказавшиеся на Западе, среди них и те, кто в сорок четвертом году «освобождал» Польшу, всем сердцем и душой на стороне польского народа, его рабочего класса, сумевшего бесстрашно и вопреки всему показать миру, как надо бороться за свои права. Мы на стороне «Солидарности»! Мы с гордостью повторяем сегодня клич, родившийся сто пятьдесят лет назад в дни Польского восстания 1830 года: «За нашу и вашу свободу!»

Да здравствует свободная, независимая Польша! Да здравствует «Солидарность»!

Русские члены французского отделения
Международного ПЕН-клуба.

*В. Некрасов,
В. Максимов, В. Буковский, А. Гинзбург,
В. Делоне, Э. Кузнецов, Н. Горбаневская*

Декабрь 1981